

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 2

ФЕВРАЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1928

ГЛАЗАНТ № А—10179

Тип. газеты „Правда“. Москва, Тверская, 48.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Г. Зайдель.—К Восьмидесятилетию „Коммунистического Манифеста“ К. Маркса и Ф. Энгельса	5
Ю. Стеклов.—Был ли Чернышевский утопистом?	39
Роза Люксембург.—Разбитые надежды.	57
А. Панекум.—Философские основы ревизионизма.	66
А. Панекум.—Первый отпор ревизионизму.	81
—	
М. Спектатор.—Теория кризисов Маркса.	91
З. Аппас.—Роль кредита и границы кредитной экспансии при капитализме.	118
—	
Ц. Фрицланд.—Два шага назад (о книге проф. Д. М. Петрушевского „Очерки из экономической истории средневековой Европы“)	147
—	
А. Зивельчинская.—Конгресс по эстетике и искусствознанию.	162

Критика и библиография.

Ник. Карев.—А. Топорков. Элементы диалектической логики	148
К.—А. Варьяш. Диалектика у Ленина	172
И. Альтер.—А. Тальгеймер. Теоретический кризис соц.-дем.	175
Ф. Тележников.—„Социологический ежегодник“	181
Ю. Стеклов.—Н. Г. Чернышевский. „Литературное наследие“, т. I	184
Ф. Капалюш.—Экономика и идеология (М. Рейснер.—Идеология Востока)	189
А. Реуэл.—К методологии современной буржуазной полит. экономии (Аммон)	197
З. Аппас.—А. Герценштейн.—Теория капиталистического рынка	208
Н. Алачко.—С. Понятковский.—Очерки истории России XIX—XX в.	214
В. Егоршин.—Джонс и Эддингтон. Современное развитие космической физики	221



К восьмидесятилетию „Коммунистического Манифеста“ К. Маркса и Ф. Энгельса.

(1848—1928).

Г. Зайдель.

1. „Принципы коммунизма“ Энгельса и „Коммунистический манифест“.

«Обдумай немного «Исповедание веры»,—писал Энгельс Марксу (24 ноября 1847 г.), посылая ему набросок будущего манифеста,—мне кажется, что было бы лучше отбросить форму катехизиса (курсив мой.—Г. З.) и назвать эту вещь Коммунистический манифест. Так как в нем придется,—продолжает Энгельс,—более или менее, коснуться истории, то теперешняя форма мало годится». Предложение Энгельса было принято Марксом: после тщательной работы над текстом,—почти накануне февральской революции 1848 г. во Франции вышли в свет чеканные строки великого произведения Маркса и Энгельса.

Вопрос о форме будущего манифеста был поднят Энгельсом не случайно. Форма катехизиса была излюбленной формой просветителей, философов и утопистов XVIII и первой половины XIX вв. Катехизисы, излагающие принципы нового общества, заполняли литературный рынок до и во время Великой Французской революции; «Катехизис рода человеческого»¹⁾ — так называется произведение одного из первых и малозученных утопистов-социалистов той же эпохи, Буасселя; коммунисты 30-х и 40-х гг., т.-е. как раз того периода, когда Маркс и Энгельс выступили на общественную арену, также писали свои произведения в форме катехизиса; укажем, хотя бы, на произведения двух коммунистов (бабунистов) Ляготьера и Шорона «Маленький катехизис»²⁾, или на работу одного из интереснейших утопистов-коммунистов сороковых годов Дезами «Кодекс коммунизма»³⁾ и пр. и пр. Насколько форма катехизиса была живуча в истории социализма, видно хотя бы из того, что Жюль Гэд начал свою социалистическую пропаганду произведением, носящим назва-

¹⁾ F. Boissel, Le Catéchisme du genre humain pour l'établissement essentiel et indispensable du véritable ordre moral et de l'éducation sociale des hommes, Paris 1789.

²⁾ Lahautière et Choron, Petit catéchisme de la réforme sociale. Paris 1839.

³⁾ Th. Dézamy, Code de la Communauté, Paris 1843.

«Опыт социалистического катехизиса»¹⁾. Живучесть «катехизической» формы изложения объясняется, конечно, не только традицией главным образом, тем, что эта форма была чрезвычайно удобна для установления «вечных и неизменных законов», лежащих в основе человеческого общества, для точной формулировки абсолютных идей подвизающегося мировоззрения, покоившегося на принципах «естественного права». А социалисты-утописты выводили все свои понятия из этих «вечных и неизменных законов» «естественного права», нравных и исковерканных, как им казалось, современным миром; стоит только,—думали они,—показать человечеству во всей первоначальной чистоте эти законы, чтобы люди отказались от путах собственнической скверны и установили всеобщее равенство.

Когда Энгельс писал свое «Исповедание веры» (набросок этот сейчас известен под названием «Принципы коммунизма», опубликованные Бернштейном), ему приходилось выдерживать борьбу с истинными социалистами типа Грюна, а главное, проводить свои взгляды в среде немецких эмигрантов-ремесленников, которые, по мнению самого Энгельса, «еще не были настоящей пролетарией» и все еще представляли лишь переходную ступень к современному пролетариату, придавок мелкой буржуазии, который пока не стоял в прямом противоречии с буржуазией, т.е. с крупным капиталом»²⁾. Неудивительно, что сторонники Грюна и Прудона имели вначале некоторый успех в рядах немецких эмигрантов³⁾. Перед самым написанием «Принципов коммунизма» Энгельсу пришлось выдержать бой с колебавшимся Мозесом Гессом. «Ему удалось провести,—пишет Маркс 26 октября 1847 г.,—исправление «Исповедания веры». В прошлую пятницу я в районе разобрал его пункт за пунктом, и успел еще добраться до половины, как все со мной согласилось. Мы предложили составить другое исповедание веры, которое будет диктоваться в ближайшую пятницу, и отправлено будет непосредственно в Лондон, помимо здешней общины»⁴⁾.

Повидному, именно тем обстоятельством, что Энгельсу пришлось «конкурировать» с Мозесом Гессом, который выкладывал свои взгляды в наиболее понятной и приемлемой форме людям, привыкшим к догматическому мышлению,—в виде «Исповедания веры»,—и можно объяснить то, что первый набросок манифеста вышел из-под пера Энгельса в форме катехизиса. Насколько способ изложения связан

¹⁾ Jules Guesde, Essai de catéchisme socialiste, Bruxelles 1878.

²⁾ Ф. Энгельс, К истории Союза Коммунистов (К. Маркс и Ф. Энгельс, Собрание сочинений, т. III, Гиз, 1921 г., стр. 410).

³⁾ См. письмо Энгельса к Марксу из Парижа от 23 октября 1846 г. Энгельс излагает свою борьбу со сторонниками Грюна—«штраубенбергерами» (и зрительная кличка «сталых ремесленников»). «Письма М. и Э.», русский пер. ред. Адоратского, Москва 1923 г., стр. 231.

⁴⁾ Цитировано по Д. Рязанову, Очерки истории марксизма, изд. 4-е, Риб., 1923 г., стр. 93.

полет мысли Энгельса, насколько «катехизис» не соответствовал новому мировоззрению, к которому пришли Маркс и Энгельс к этому времени,—мировоззрению, в основе которого лежали материалистическая диалектика, как метод мышления, и исторический материализм, как метод исследования общественных явлений,—видно из самого беглого сравнения «Принципов коммунизма» с окончательной редакцией «Коммунистического манифеста». Впоследствии Энгельс подчеркивал, что основным автором манифеста является Маркс. «Основная мысль «Манифеста», что экономическое производство и неизбежно обуславливаемое им строение общества составляет основу политической и устной истории данной исторической эпохи; что, соответственно этому, вся история с тех пор, как разложилось первобытное общественное землевладение, была историей классовой борьбы, т. е. борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития; что эта борьба достигла той ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат) не может освободить себя от эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не освободив в то же время и навсегда всего общества от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы,—эта основная мысль принадлежит единственно и исключительно Марксу»¹⁾. Что Энгельс «приближался», по его собственному выражению, к этой мысли, независимо от Маркса, «в течение нескольких лет до 1845 г.»—видно, хотя бы, из его книги «Положение рабочего класса в Англии». «Когда же весной 1845 г.,—продолжает Энгельс,—я снова встретился в Брюсселе с Марксом, он уже вполне разработал эту мысль и изложил мне ее в такой же ясной формулировке, в какой я передал ее выше»²⁾. Таким образом, в 1847 г., когда Энгельс писал свои «Принципы коммунизма»,—основные черты нового мировоззрения—того, что мы называем теперь революционным марксизмом,—Энгельсу были не только известны, но и продуманы в достаточной мере глубоко и самостоятельно.

И, однако, в какой мере недостаточно яркими, мы бы сказали, пухлыми, выглядят основные положения «Принципов коммунизма» по сравнению с «Коммунистическим манифестом»? Вложить огромное содержание революционной теории марксизма в «прокрустово ложе» катехизиса было не под силу и Энгельсу. Его «Принципы коммунизма» являются последним³⁾ из «катехизисов», в котором новый мир отдавал дань старой форме, уже изжившей себя, и совершенно несоответство-

¹⁾ Ф. Энгельс, Предисловие к последнему изданию (Комм. маниф.) 1883 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Коммунистический Манифест, с введением и примеч. Д. Рязанова, 2-е доп. изд., Гиз, 1923 г., стр. 49. В дальнейшем все цитаты из «Комм. маниф.» по этому изданию).

²⁾ Ibidem, стр. 49.

³⁾ Мы говорим «последний», т. к. «Опыт соц. катехизиса» Гюда очень далек от марксизма и является в известной мере запоздалым продолжением догматического способа изложения и утопической формы мышления.

вавшей многостороннему, охватывающему всю совокупность общественной жизни и исторического развития диалектико-материалистическому методу мышления.

Конечно, острота анализа, отточенность мысли и фразы, широкий, всесторонний охват вопроса Марксом в «Коммунистическом манифесте» являются, прежде всего, следствием гения Маркса—одного из величайших мыслителей всех времен и народов. Отбросив форму катехизиса и постулирования, форму вопросов и ответов, Маркс оставил себе достаточно свободы для того, чтобы изложить свои идеи. Как всегда это бывает, содержание определяло форму: «Коммунистический манифест» является шедевром и со стороны способа изложения; после него писать в форме катехизиса стало анахронизмом. Это не значит, что «Коммунистический манифест» не имеет своих предшественников. Достаточно вспомнить—«Манифест равных» Бабефа или «Манифест демократии XIX в.» Консидерана, в котором исторические экскурсы играют значительную роль,—чтобы понять, что Маркс только воспользовался достижениями своих предшественников в области формы изложения, как он пользовался достижениями мысли у современных и старых мыслителей,—но воспользовался, как всегда, переработав по-своему, доведя и форму и содержание до совершенства, обогатив не только оригинальным стилем и расположением материала, но и новыми, скажущими идеями ¹⁾.

Какой гигантской, всемирно-исторической предстает перед нами революционная роль буржуазии в изложении Маркса, какими философией и, вместе с тем, какой трезвостью и страстной ненавистью к капитализму дышат строки «Комм. манифеста» о «бессердечном чуждании», «беззащитной свободе торговли» и «голом интересе» современного буржуа. Сравните эти строки с изложением пунктов II, I «Принципов коммунизма» Энгельса ²⁾, в которых также рисуется историческая роль буржуазии. Здесь не только разница в стиле: исторические экскурсы Маркса делают его мысли более доказательными; приходят к новым, четким формулировкам. Энгельс пишет о представителем строе буржуазных государств, о том, что буржуазия, экономически закрепившись, овладела также политической властью,—Маркс, в основании всего предшествующего анализа, констатирует уже ставший классическим: «Современная государственная власть есть не что иное, как комитет, заведущий»

¹⁾ Ниже мы коснемся вопроса о «плагиате» Маркса у Консидерана, но всю глупость утверждений наших отечественных ревизионистов. Бесспорно, что Консидеран, как и Фурье, перерос, в известной степени, своих современников: об этом свидетельствует не только форма, но и некоторые из консидерановского «манифеста», остающегося при всем этом реакционным документом.

²⁾ Комм. манифест, стр. 309—311.

щий общественными делами буржуазии»¹⁾. Энгельс, связанный формой катехизиса, вынужден сухо и протокольно отвечать на вопросы, чем отличается пролетарий от раба, крепостного, ремесленника, рабочего в мануфактуре²⁾. Маркс дает исторический, наполненный плотью и кровью, обзор зарождения пролетариата и пройденных им этапов. В заключение,—точно сформулированное положение, ставшее также классическим: «с развитием крупной промышленности вырывается, следовательно, из-под ног буржуазии то самое основание, на котором она производит и присваивает себе продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее поражение и победа пролетариата одинаково неизбежны»³⁾. Энгельс в целом ряде мест констатирует основное противоречие капиталистического строя, возмущение производительных сил—против производственных отношений; Маркс иллюстрирует это положение на конкретном примере перехода обществ от феодализма к буржуазному строю и формулирует свой закон, который впоследствии получил свое классическое завершение, в известном предисловии Маркса к «Критике политической экономии». Вот как этот закон сформулирован в «Коммунистическом манифесте»: «На известной ступени развития этих средств производства и сообщения, условия, среди которых совершались производство и обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности,—словом, феодальные имущественные отношения оказались несоответствующими вызванному к жизни производительным силам. Они мешали производству, а не способствовали ему. Они превратились в столь же многочисленные оковы. Они должны были быть разорваны и они были разорваны»⁴⁾. Развивая дальше описание кризисов, данное Энгельсом в «Принципах коммунизма», Маркс набрасывает сочными мазками картину обнищания рабочего класса, формулируя следующий закон: «Чем более труд теряет свою привлекательность, тем более падает и заработная плата. Даже более: в той же степени, в которой возрастает применение машин и разделение труда, вырастает и тяжесть труда. Это достигается либо при помощи удлинения рабочего дня или путем увеличения напряжения, требуемого от рабочего в данное время, посредством ускорения машин и так далее». К основным мыслям, набросанным Энгельсом, Маркс прибавляет также описание процесса рекрутирования пролетариата из нищающих и «опускающихся в ряды пролетариата» средних слоев: мелких промышленников, купцов, рантье, ремеслен-

¹⁾ Комм. манифест, стр. 64. Курсив везде мой.—Г. З.

²⁾ Ibid., стр. 307—308. 7, 8, 9, 10 вопросы в «Принципах коммунизма».

³⁾ Ibid., стр. 77.

⁴⁾ Комм. манифест, стр. 68.

иков и крестьян. Не говоря еще о диктатуре пролетариата, Маркс гочяет некоторые выражения Энгельса и говорит, что «первым шагом рабочей революции должно быть возвышение пролетариата на степень господствующего класса, завоевание демократии». Что под завоеванием демократии Маркс понимает не просто буржуазную демократию, а пролетарскую, что двит роль классового господства пролетариата, ему совершенно ясно, видно из следующих строк: «Пролетариат воспользуется своим политическим господством, чтобы постепенно отнять у буржуазии капитал, чтобы централизовать все орудия труда в руках государства, организованного в качестве господствующего класса пролетариата и, по возможности, скорее увеличить массу производительных сил. Конечно, сначала это может совершиться только путем деспотических вторжений в права собственности и в буржуазные условия производства, путем мероприятий, которые, с экономической точки зрения, кажутся недостаточными и ненадежными, но которые в ходе движения перерастут самих себя и неизбежны, как средство для преобразования всего способа производства»¹⁾.

Энгельс говорит о роли всемирных рынков, создавших интернациональные связи,—о значении интернационализма для пролетариата,—Маркс формулирует свое известное положение: «Рабочие не имеют отечества».²⁾ Несколько догматическое изложение сути будущего строя в «Принципах коммунизма» Маркс заменяет разбором возражений буржуазных апологетов против коммунизма и доказательством того, что «коммунистическая революция есть сущий радикальный разрыв с существующими материальными отношениями»; неудивительно, что она «самым радикальным образом,—заключает Маркс,—разрывает с традиционными идеями». Анализ, который дает Маркс в «Коммунистическом манифесте» идеологическим явлениям, остается до сих пор непреходящим. И вновь Маркс формулирует ставший классическим закон: «Что же доказывает история идей, если не то, что умственная деятельность преобразуется вместе с материальной? Господствующим идеям данного времени всегда были тольк идеи господствующего класса»³⁾.

— Есть, однако, одно место в «Принципах коммунизма» Энгельса показывающее, как осторожно должен был он формулировать некоторые положения, которые шли в разрез с господствующими представлениями утопического (мирного и заговорщического) социализма. Он ответ на вопрос 16: «Можно ли провести отмену частной собственности мирным путем?» Вот что отвечает Энгельс: «Это было бы желательно, и коммунисты менее всего намерены

¹⁾ Ibid., стр. 87.

²⁾ Ibid., стр. 85.

³⁾ Ibid., стр. 87.

возражать против этого. Коммунисты прекрасно знают, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны. Они прекрасно знают, что революцию нельзя делать по произволу и по заказу, а что они всюду и везде являлись необходимыми последствием обстоятельств которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Но вместе с тем они видят, что развитие пролетариата почти во всех цивилизованных странах насильственно подавляется и что тем самым противники коммунистов стараются всячески вызвать революцию. Если, таким образом, угнетенный пролетариат в конце концов будет вынужден произвести революцию, то коммунисты сумеют защищать интересы пролетариев на деле так же, как они защищают их на словах¹⁾). Насколько гораздо более решительно и ясно звучат следующие заключительные строки «Комм. манифеста»: «Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения современного общественного строя. Пусть господствующие классы содрогнутся перед коммунистической революцией. Пролетарии могут потерять в ней только свои цепи, приобретут же они целый мир». Эти слова звучат, как набат, как пламенный призыв к революции. И последний аккорд этого набатного звона «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» органически и естественно вытекают из всего предыдущего: не даром эта фраза стала лозунгом для всего международного пролетариата вплоть до наших дней и останется таковым вплоть до победы пролетарской революции во всем мире.

Таким образом, если по форме «Принципы коммунизма» Энгельса являются безусловной уступкой остаткам догматического мышления ремесленников-винегретов, среди которых Энгельсу приходилось действовать, то, как в этом легко убедиться из предыдущего, он вынужден был сделать некоторую уступку и в идеологическом смысле: формулировка по вопросу о насильственной революции была им несколько смягчена. В окончательной редакции «Коммунистического манифеста» тоже имеются места, носящие компромиссный характер: это—вопросы тактики, в частности, вопросы, касающиеся задач коммунистов в Германии, как это было прекрасно показано тов. Рязановым²⁾). Но в принципиальных вопросах Маркс (как, впрочем, впоследствии и Энгельс) никогда не шел на компромисс. И «Коммунистический манифест» является в смысле чеканности и точности основных формулировок произведением исключительного значения. Как писал в свое время Ленин, в «Коммунистическом манифесте» «с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как

¹⁾ Ф. Энгельс, Принципы коммунизма («Комм. манифест», под ред. Рязанова), стр. 314.

²⁾ См. «Комм. манифест». Комментарий, стр. 264—266.

но более всестороннее и глубокое учение о развитии, теории классовой борьбы и всемирно исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества»¹⁾. Вот почему «Коммунистический манифест» стал величайшим документом в истории рабочего класса, в истории борьбы пролетариата за уничтожение капиталистического строя.

II. „Коммунистический манифест“ и рабочее движение.

«Коммунистический манифест» своим происхождением обязан Марксу и Энгельсу,—не только мыслителям, но и действительным революционерам, тесно связанным с рабочим движением своей эпохи и возглавлявшим передовую его отряд—«Союз коммунистов». Плеханов в многочисленных своих работах превосходно нарисовал «филиацию идей», из которых вырос «Коммунистический манифест»: утопический социализм, истории эпохи реставрации—в части, касающейся классовой борьбы, философия Гегеля и Фейербаха—в части, касающейся основ мышления, английская политическая экономия—в отношении к принципам, характеризующим основные законы экономического развития буржуазного общества. Резюмируя как бы всю работу, проделанную Плехановым, Ленин писал следующее о «трех источниках» марксизма: «Учение Маркса всецело, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное мировосприятие, не приемлимое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией буржуазного гнета. Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма»²⁾.

Таким образом, манифест предстает перед нами, после труда Плеханова (отчасти Лабриолы и др.), как синтез всех передовых идей к которым пришло человечество до Маркса, как вершина «социальной философии», как любил выражаться Плеханов³⁾, до которой когда-либо добралось мыслящее человечество. Однако, если из этих трудов основоположника русского марксизма Маркс вырисовывается перед нами, как мыслитель во всем своем величии, то в значительно меньшей степени менее освещена вторая сторона деятельности Маркса: в связи с революционным движением своей эпохи. Д. Б. Рязанову принадлежит та заслуга, что он показал, как Маркс и Энгельс, непосредственно соприкасаясь, организуя и возглавляя рабочее движение эпохи кануна революции, в частности «Союз коммунистов», пришли к

¹⁾ Ленин, Карл Маркс,—Энци. словарь Граната, т. 28, Собр. соч., изд. т. XII, ч. 2, стр. 318.

²⁾ В. Ленин, Три источника и три составных части марксизма, Собр. соч., т. XII, ч. 2, изд. 1, стр. 55. Курсив мой.—Г. З.

³⁾ Г. Плеханов, Предисловие к «Комм. манифесту». Соч., под ред. Рязанова, т. XI, стр. 277.

необходимости написать «Коммунистический манифест». «Всю эту организационную работу Маркса, — пишет тов. Рязанов, — исследователи совершенно не замечали, превращая его в кабинетного мыслителя. Просмотрели, таким образом, роль Маркса, как организатора, просмотрели одну из интереснейших черт его личности». Деятельностью Маркса по организации «Союза коммунистов», освещенного тов. Рязановым, роль Маркса, как революционера-практика, выдвигается на первый план. В этой плоскости чрезвычайно интересно проследить отношение Маркса к деятельности революционных организаций не только Германии, но и других стран, главным образом, Франции и Англии. Известно, что, именно, во Франции революционный коммунизм делал свои первые шаги: вслед за Бабефом и под безусловным влиянием его идей в тридцатых годах во Франции развились организации бланкистских — тайных — обществ. После неудачного восстания 1839 г. преемником бланкистских обществ являлись тайные общества, в которых важнейшую роль играли бабувисты, возглавлявшиеся мало изученными, но представляющими большой интерес для предистории марксизма коммунистами-бабувистами Пильо и Дедами. Мы видели, что в «Принципах коммунизма» Энгельс осуждает заговорщические методы борьбы. Однако это обстоятельство не мешало Энгельсу н, как мы увидим, Марксу тщательно следить за развитием этих тайных бабувистских обществ. В частности, еще в 1844 году Энгельс в одной из своих корреспонденций, напечатанных в «New Moral World», отмечал одно тайное общество, которое в истории рабочего и коммунистического движения сороковых годов играло немаловажную роль: «Общество рабочих-эгалитарцев». «Коммунизм, — пишет Энгельс, — быстро распространялся в Париже, Лондоне, Тулузе и других больших и фабричных городах государства; некоторые тайные общества сменяли друг друга; между ними наиболее значительным было общество «Travailleurs-Egalitaires», эгалитаристы и гуманитаристы¹⁾. Здесь не место вдаваться в подробности, касающиеся этого тайного общества. Укажем только на то, что общество это было преемницей «Времен года» Бланки, что отдельные члены его были замешаны в покушениях на короля и королевскую семью в 1840—1841/гг., что некоторые из его деятелей имели также отношение к большой стачке рабочих почти всех отраслей производства, разразившейся в Париже в 1840 г.²⁾ Интересно, что общество состояло из рабочих и что организационно оно строилось на основе производственных ячеек: основой был цех (métier), состоящий из 7 членов, начальник цеха назывался рабочим, цехи объединялись в мастерские (ateliers), мастерские по фабрикам (fabriques), фабрики по отделениям (divisions); мастерские

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. II, стр. 290. Статьи Энгельса: «Прогресс за соц. реформу на континенте».

²⁾ См. O. Festy, Le mouvement ouvrier à Paris en 1840 («Revue des sciences politiques» 1913, т. XXX).

ставлялись из четырех цехов, начальник мастерской назывался м-ром (contre-maitre)¹⁾.

Мы не имеем точных сведений, знал ли Энгельс об этом производственном принципе, на котором строилось о-во «Рабочих-эгалитариев». Скорее всего не знал, так как в упомянутой статье он говорит, что эгалитаристы были юные студенты, подобно бабунистам великой революции²⁾. Между тем, общество это состояло в большинстве из рабочих, а не из студентов. Но знал или не знал Энгельс о всех деталях строения общества «Рабочих-эгалитариев», интерес, проявленный к нему, весьма характерен. Энгельс анализирует идеологию этого общества и приходит к следующим выводам: «Они хотели превратить коммунальную общину рабочих, хотели уничтожить цивилизацию, искусство и т. п., как бесполезную, опасную и аристократическую роскошь,—предрасудок, который неизбежно должен был вырасти в юморе их полного незнакомства с историей и политической экономией»³⁾.

Что Маркса идеология бабунистов весьма занимала и что прежде чем прийти к своим выводам, он вынужден был преодолеть и критически пересмотреть их учение,—видно из многочисленных заметок Маркса в недавно опубликованных тов. Рязановым «Подготовительных работах для «Святого семейства»». Часть указанных заметок посвящена т. н. «грубому коммунизму», т. е. коммунизму бабунистов, который критикует и Энгельс. «... Коммунизм,—пишет Маркс,—есть положительное выражение уничтоженной частной собственности, являясь на первых порах всеобщей частной собственностью. Рассматривая частную собственность в ее всеобщности, а 1) является в своей первой форме только обобщением и завершением ее. В качестве этого завершения он имеет двойной смысл: с одной стороны он так переоценивает роль и господство вещной собственности, что он хочет уничтожить все, что может стать достоянием частной собственности всех; он хочет из сильнейшим образом устранить таланты и т. д. Непосредственное финансовое обладание является в его глазах единственной целью жизни; форма деятельности рабочего здесь не учитывается, а распространяется на всех людей⁴⁾. Смысл критики бабунизма, как мы видим, совпадает у Энгельса и Маркса. Критикуется здесь, главным образом, философский примитивизм бабунистов—«грубый коммунизм». Революционные методы борьбы, выдвинутые бабунистами, не подвергаются критике, хотя мы знаем, что Маркс и Энгельс уже в те времена относились отрицательно к заговорщикам

¹⁾ См. «Cour de Pairs». Attentat du 15 Oct. 1840. Rapport fait à la cour par M. le baron Girod (de l'Ain). Paris 1841. Устав (Reglement constitutif) о-ва, стр. 2-4.

²⁾ Энгельс, ук. статья.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ «Архив Маркса и Энгельса», т. III, стр. 250. Курсив Маркса.

методам «тайных обществ», что они прекрасно понимали необходимую связь между конечной целью революционной борьбы и преходящими интересами рабочего класса (а это понимание, именно, чуждо бабувистам). Но характерно, что у Энгельса нельзя найти ни одной строчки против насильственной революции, выдвинутой бабувистами (и бланкистами). В «Святом семействе» Маркс прямо указывает на Бабефа, как основоположника «идеи нового мирового порядка». «Революционное движение,—пишет Маркс,—которое началось в 1789 г. в «Cercle sociale», которое в середине своего пути имело своими главными представителями Леклера и Ру и, наконец, потерпело на время поражение вместе с заговором Бабефа,—движение это вызвало к жизни коммунистическую идею, которая после революции 1830 г. снова введена была во Франции другом Бабефа, Буонаротти. Эта идея, последовательно разработанная, и есть идея нового мирового порядка»¹⁾.

И завершением этого отношения Маркса и Энгельса к бабувистам, как революционерам действия, явилась характеристика бабунизма в «Коммунистическом манифесте» в следующем абзаце, который мы считаем необходимым привести полностью: «Мы не говорим здесь о литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата (сочинения Бабефа и т. д.). Первые попытки пролетариата доставить непосредственное торжество своим классовым интересам, имевшие место во время всеобщего возбуждения умов, в период низвержения феодального строя, необходимо должны были развиться вследствие неравного состояния самого пролетариата и недостатка материальных условий его освобождения, которые сами являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопутствовавшая этим первым движениям пролетариата, по своему содержанию необходимо является реакционной. Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнивательность»²⁾.

Таким образом, Маркс признает бабунизм, как пролетарское течение. Чрезвычайно важно вспомнить в этой связи отношение Маркса к одному из современных ему бабувистов-коммунистов, упомянутому Дезами (одному из руководителей общества «Travailleurs-Egalitaires», о котором пишет Энгельс). Маркс называет Дезами и его последователей «более научными французскими коммунистами», которые «развивают, подобно Оуэну, учение материализма, как учение реального гуманизма и как логическую основу коммунизма»³⁾. Дезами в 1840 году в своей газете «Egalitaire» проповедовал

¹⁾ Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx, F. Engels und F. Lassale, herausgegeben von Franz Mehring, Zweiter Band, Stuttgart 1902, стр. 225.

²⁾ Комм. манифест. Курсив мой.—Г. З.

³⁾ Aus dem literarischen Nachlass..., стр. 226.

революционные методы борьбы. «Не будем терять из виду,—пишет он,—что... в критические эпохи надо действовать не только посредством гигиены, но и посредством хирургии... Мы должны подняться и идти вместе! Не при помощи жалких lamentаций, не при помощи постыдных уступок может несчастный улучшить свое положение и разбить свои цепи... Нет, нет!.. угнетатель никогда не уступит пустым словам!..¹⁾». Несколько позже, когда обнаружился крах попыток прийти к королевской семье, Дезамы приступил к пропаганде среди рабочих, выпустив «Коммунистический календарь», в котором он отказывался от заговорщических методов борьбы. «Как бы мы ни ненавидели власть,—писал он в статье «Призыв к рабочим»,—которая нами управляет, мы все же не зовем вас свергнуть ее при помощи тайных заговоров, которые оканчиваются только поддержкой деяний развращенных министров²⁾». В противоположность другим коммунистам своей эпохи, для которых вопросы пропаганды играли второстепенную роль, Дезамы делает на нее главный упор. У него попадаются на этот счет выражения, делающие его, несмотря на общую догматичность его философских взглядов (Дезамы все еще выводит свой коммунизм из «вечных и неизменных законов» природы) одним из замечательнейших просветителей Маркса. «Осеяйте, осеяйте истинной головы пролетариата,—пишет он в своей основной работе «Кодекс коммунизма»,—он нуждается в этом крещении» (*versez, versez la vérité sur la tête du prolétariat, vous lui devez ce baptême*³⁾). «Пропганда, пропаганда, пропаганда!—восклицает он в другом месте,—истина и пропаганда, и цель освобождения будет достигнута». Когда пролетариат «перестанет обманываться, откажется от иллюзий некоторых легких измений, непонимая реформы», когда он осознает необходимость «полной и радикальной реформы», «полной реорганизации общества», когда он узнает «единственную общественную науку», тогда он сделает «последнюю революцию»: «эта революция будет последней,—повторяет Дезамы,—так как общество будет тогда прямо сконструировано для прогресса⁴⁾». И как последний штрих осознания Дезамы важности пропаганды,—то лозунг: «Необходимо, чтобы философия и литература проникли в рабочие кварталы⁵⁾». Если при этом принять во внимание, что Дезамы был крайним материалистом и эгоистом и являлся сторонником революционной диктатуры, то становится очевидным, что революционные стороны учения Дезамы, тесно связанного в начале 40-х годов с рабочим движением,—не могли пройти бесследно для Маркса.

¹⁾ Th. Dezamy, *Egalitaire* № 2.

²⁾ Th. Dezamy, *Almanach de la communauté*, стр. X—XI.

³⁾ Th. Dezamy, *Code de la communauté*, эпиграф.

⁴⁾ Dezamy, *Almanach de la communauté*, стр. 19.

⁵⁾ Dezamy, *Calomnies et politiques de M. Cabet. Refutation par des faits et par sa biographie*, Paris 1842, стр. 6.

Преодолевая те стороны «всеобщего аскетизма в грубой уравни-тельности» бабувистов, о которых говорится в «Коммунистическом манифесте», отбрасывая реакционную шелуху «вечных и неизменных за-конов» в учении Дезам и др. бабувистов, Маркс брал у последних не-обходимость соединения пролетариата с филосо-фией, революции и пропаганды. Маркс шел к этому дву-мя путями: через преодоление философии Фейербаха и через очище-ние «грубого коммунизма» от его реакционных, догматических черт. Вот почему в «Подготовительных работах к «Святому семейству»» Маркс так много места уделяет идеологии бабувистов.

Еще ближе был Марксу б л а н к и з м. Мы имеем теперь документ, пролежавший, по словам Рязанова, больше 30 лет у Бериштейна, устав «Всемирного общества коммунистов - революционеров», относящийся к эпохе революции 1848 г., подписанный бланкистами, с одной сторо-ны, и Марксом и Энгельсом—с другой ¹⁾. Стоит только сравнить статью первую «Устава союза коммунистов» с той же статьей в уставе «Всемир-ного общества коммунистов - революционеров», чтобы убедиться, на-сколько близок был бланкизм марксизму уже в годы, предшествовав-шие революции. Вот параллельные тексты статей в обоих документах:

УСТАВ СОЮЗА КОММУНИСТОВ.

Статья 1. Целью союза является свер-жение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение ста-рого, основанного на антаго-низме классов буржуазного об-щества, и основание нового об-щества без классов и без част-ной собственности.

ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММУ-НИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ.

Статья 1. Целью общества является из-ложение привилегированных классов, подчинение этих клас-сов диктатуре пролетариев пу-тем поддержания перманентной революции вплоть до осуществлеия ком-мунизма, который должен явиться последней формой организации (constitution) человеческого рода (famille humaine).

Как видно из этих параллельных текстов, в устав «Всемирного общества коммунистов - революционеров» введена только одна новая мысль о «перманентной революции», мысль, принадлежащая целиком Марксу, выражение «диктатура пролетариев» заменило «господство пролетариата»,—в остальном мысли те же, только несколько иначе вы-раженные в каждом из документов. Выражение «диктатура пролета-риата»,—пишет Д. Рязанов,—явилась только в результате опыта фе-вральской революции..., Маркс и Энгельс начинают употреблять его только после июньского поражения французского пролетариата, когда для них начало выясняться, что пролетариат не может ограничиться только захватом политической власти, что он должен разрушить ста-рый государственный аппарат и создать новый, что необходима, как переходная ступень, классовая диктатура пролетариата, которая одна только в состоянии сломить сопротивление эксплуататоров. Только таким образом он сможет превратить буржуазное государство в проле-

¹⁾ См. «Бюллетень Института Маркса и Энгельса» № 1, стр. 11.

тарское, свергнуть организованную в качестве господствующего класса буржуазию и поставить на ее место себя, пролетариат, в свою очередь организованный в качестве господствующего класса. Этот революционный социализм, коммунизм, для которого сама буржуазия изобрела название бланкизма, Маркс противопоставляет «доктринерскому социализму, который устраивает в своей фантазии революционную борьбу классов с ее необходимыми прозвучаниями посредством мелких кулишников или крупного саентиментализма»¹⁾. Таким образом, Маркс взял у бланкистов выражение «диктатура пролетариев»: крики буржуазии и мелкобуржуазных подголосков из тогдашнего «социалистического» лагеря против «анархических» устремлений революционных коммунистов-бланкистов (крики, повторяемые, как мы увидим, и в наше время ревизионистами),—не могли послужить препятствием к тому, чтобы Маркс, отбрасывая утопическое у бланкизма, взял научную, прогрессивную сторону этого учения, оправданное ходом революционной борьбы рабочего класса против буржуазии.

Маркс и Энгельс не только были связаны с немецким и французским рабочим движением: они теснейшим образом связались также и с английским. «С революционной частью английских чартистов,—пишет Энгельс,—мы поддерживали сношения через Юлиана Гарнея, который был редактором центрального органа этого движения «The Northern Star», сотрудником которого состоял и я»²⁾. Подпись Юлиана Гарнея мы находим (на ряду с подписями бланкистов) и на цитированном нами уставе «Всемирного общества коммунистов - революционеров».

Что следует из всего нами изложенного? Маркс использовал только достижения мыслителей, его современников и предшественников, но он был связан с революционным движением всех стран Западной Европы, внимательно следил за опытом действий революционеров - бабунистов, бланкистов и чартистов. «Коммунистический манифест», таким образом, является детищем рабочего революционного движения, тесно с ним связан и вне его не может быть правильно понят. Вот почему «Коммунистический манифест» стал не просто изложением «социальной философии», нового мировоззрения Маркса и Энгельса, а одним из величайших революционных документов нашей эпохи, документом, выросшим из рабочего движения и сопровождавшим это рабочее движение вплоть до наших дней.

В свое время еще Энгельс отмечал эту тесную связь между судьбой «Коммунистического манифеста» и рабочего движения. «Манифест имел свою судьбу,—писал Энгельс в 1890 г.,—при своем появлении он был с восторгом встречен передовым отрядом сторонников научного социализма..., но вскоре затем он был отнесен реакцией, начавшей

¹⁾ Комм. маниф., Комментарий Д. Рязанова, стр. 199—200. Курсив мой.—Л.

²⁾ Ф. Энгельс, К истории Союза коммунистов, стр. 412.

вслед за поражением парижских работников в июне 1848 года, и объявлен вне закона после осуждения кельнских коммунистов в ноябре 1852 года». В эпоху I Интернационала основные идеи манифеста были изложены в документе, имеющем огромное значение для рабочего движения, — в «Учредительном адресе» I Интернационала. Уходя в историю, Энгельс мог с гордостью констатировать, что «в настоящее время он («Коммунистический манифест».—Г. З.), несомненно, представляет собою наиболее распространенное, наиболее международное произведение во всей социалистической литературе, общую программу многих миллионов рабочих всех стран от Сибири до Калифорнии»¹⁾. Эти строки писался Энгельсом в первый год существования II Интернационала. Историк было угодно, чтобы ревизионистско-центристское большинство этой международной рабочей организации изменило основные принципы, начертанные в «Коммунистическом манифесте». Но идеи последнего живут в детище Ленина — в Коммунистическом Интернационале, являющемся верным хранителем и преемником заветов Маркса. «Коммунистический Интернационал, — говорится в «Программе Коммунистического Интернационала», принятой за основу V конгрессом, — объединяя все коммунистические партии и сам являясь боевой пролетарской партией, ставит своей целью освобождение трудящихся от ига капитала; он пропагандирует и организует всестороннее и полное разрушение буржуазного строя путем коммунистической революции, продолжая при этом революционные традиции Союза коммунистов и Первого Интернационала, основанных Марксом»²⁾.

Так история «Коммунистического манифеста» тесно связана с историей рабочего движения. Чтение этого произведения для такого деятеля рабочего движения, как Плеханов, было эпохой в его жизни. «Лично о себе могу сказать, — писал он, — что чтение «Коммунистического манифеста» составляет эпоху в моей жизни»³⁾. Бебель, который прежде, чем притти к Марксу, прошел через Лассалля, познакомился с «Коммунистическим манифестом» только в конце 60-х гг., когда он стал известен в Германии. Основные идеи «Манифеста» он почерпнул в «Учредительном адресе», который он считал с наслаждением». «Это было, — пишет он, — в начале 1865 года, а в конце 1866 года я уже стал членом Интернационала»⁴⁾. Так действительно на людей, имеющих соприкосновение с рабочим движением, могут идеи Маркса, впервые изложенные им в «Манифесте». Неудив-

¹⁾ Ф. Энгельс, Предисловие к немецк. изд. 1890 г., «Комм. манифест», под ред. Рязанова, стр. 54.

²⁾ «Программа Коммунистич. Интернац.» в сборнике «Программный вопрос на пятом конгрессе Коминтерна», Гиз, Москва 1924, стр. 49.

³⁾ Из статьи Плеханова: «Начало с.д. движения в России», напечатанной в «Vorwärts» от 31 марта 1909 г. См. «Воинствующий материалист» № 3, стр. 112.

⁴⁾ А. Бебель, Из моей жизни, т. I, стр. 112.

тельно, что все те, которые отходили от революционного движения, которые изменяли рабочему классу, начинали с ревизии марксизма, а частности, с ревизии «Коммунистического манифеста».

III. «Коммунистический манифест» и ревизионизм.

В недавно вышедшей своей автобиографии отец ревизионизма Бернштейн, рассказывает о причинах, приведших его к мысли о пересмотре учения Маркса. Он прямо указывает на идеологические источники своего ревизионизма: на известные работы Шульца-Геверница и Юлиуса Вольфа, появившиеся в 90-х гг. прошлого столетия в Германии¹⁾. «Книгу Шульца-Геверница я рецензировал в первом томе девятнадцатого года издания «Neue Zeit»,—пишет Бернштейн,—а работу Вольфа в первом томе одиннадцатого года издания, рассматривая работы обоих профессоров, главным образом, с той точки зрения, чтобы расставить произведению ими критику Маркса. Мне удалось указать обоим на ошибки их критики. Однако и тогда я не скрывал от себя, что не возмущения, сделанные в упомянутых работах, могут быть полностью отброшены. Я говорил себе, что они должны быть серьезно доказаны, а потому предпочел вначале охотнее молча обойти их, чем признать их бездоказательными при помощи диалектического искусства. Чем больше я внутренне им сопротивлялся, тем более одолевали меня сомнения по поводу положений (Sätzen), которые я до сих пор считал неопровержимыми,—а ближайшие годы приносили многое, что еще больше усиливало эти сомнения»²⁾. Окончательно толкнули Бернштейна, по его словам, на путь ревизионизма дебаты по аграрному вопросу, происходившие в годы 1892—1894 в рядах германской с.-д., и, наконец, появление в 1894 г. третьего тома Маркса, который иллюстрировал ревизионисту Бернштейну, как он картину выражается, не критическим, задним числом, «борьбу Маркса-социалиста, которого не удовлетворяла ни одна из найденных им формул с его (Маркса же.—Г.З.) научной совестью (wissenschaftlichen Gewissen)»³⁾.

Таким образом, «отец ревизионизма» сам поведал теперь нам историю, которая им в свое время тщательно скрывалась; Бернштейн почерпнул свои ревизионистские премудрости из трудов буржуазных ученых. После войны об этом можно говорить с полным голосом; благо, сам Каутский, некогда выступавший против Бернштейна, ныне объявил, как мы увидим из дальнейшего, свой спор с ревизионизмом «недоразумением». Но в свое время и Бернштейн

¹⁾ Prof. Gerhard von Schulze-Gewernitz, Zum sozialen Fortschritt (Leipzig 1890, 2 B.); его же, Der Grossbetrieb, ein wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt (Leipzig 1892), и prof. Julius Wolf, Socialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung (Stuttgart 1892).

²⁾ Edward Bernstein, Entwicklungen eines Sozialisten's (Leipzig 1924, стр. 21).

³⁾ Ibid, стр. 22.

и его полупопонент Каутский тщательно скрывал буржуазный источник ревизионизма Берштейна. В этой связи бесполезно вспомнить письмо Плеханова к Каутскому, написанное последним в 1898 г., в котором критикуется половинчатость Каутского и, в частности, фраза последнего: «Берштейн не обескуражил нас, но заставил нас размышлять, будем ему за это благодарны». Плеханов, со свойственным ему чутьем в те времена, сразу раскусил, что за этой фразой скрывается полупризнание ревизионизма, и совершенно ясно установил буржуазное происхождение взглядов Берштейна.

«Чтобы побудить кого-нибудь к размышлению,—пишет Плеханов,—необходимо им указать новые факты, или известные уже факты выставить в новом освещении. Берштейн не сделал ни того, ни другого. Поэтому он и не мог никого побудить к размышлению»¹⁾. И далее, анализируя работы Шульце-Геверница и Юлуса Вольфа, то-есть те самые, на которые ные указывает Берштейн, как на свой источник, Плеханов пишет: «Усвоив взгляды Шульце-Геверница и других гармонистов, будто ход развития социальной жизни в Англии опроверг воззрения Энгельса и Маркса, Берштейн чувствует тяготение к описанному тем же Шульцем-Геверинцем «практически-политическому» социализму, с точки зрения которых конечная цель—огосударствление всех средств производства,—является, действительно, чем-то почти безразличным, если даже не совершенно утопическим. И вот, проникнутый духом такого социализма, Берштейн поспешил объявить во всеуслышание о своем новом отношении к конечной цели, при чем вышеприведенное замечание Шульце-Геверница о конечной цели определило не только направление его мысли, но и способ выражений»²⁾.

«Тайна», поведанная нам сейчас Берштейном, оказывается, была давно раскрыта Плехановым, но замолчана Каутским, уже тогда смягчившим свою «ортодоксию» молчанием и экивоками там, где надо было громко кричать об измене. Ленини, который умел всегда называть вещи своими именами, дал следующую четкую формулировку ревизионизму: «Диалектика истории такова, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его переодеваться марксистами. Внутренне сгнивший либерализм пробует оживить себя в виде социалистического оппортунизма»³⁾. Итак, Берштейн выступил с буржуазной критикой, прикрытой социалистической фразеологией; и поскольку в «Коммунистическом манифесте» заключалась вся концепция Маркса: диалектический материализм, теория классовой борьбы, теория прибавочной стоимости, теория кризисов и обнищания, теории революции (катастрофы) и даже in пусе теория диктатуры пролетариата—

¹⁾ Г. В. Плеханов. За что нам его благодарить? Открытое письмо к Каутскому, Соч., под ред. Д. Рязанова, т. XI, стр. 24.

²⁾ Ibid., стр. 29—30.

³⁾ В. Ленин, Исторические судьбы учения Карла Маркса, Собр. соч., изд. 1, т. XII, ч. 2, стр. 44. Курсив Ленина.—Г. З.

та, впоследствии только отчетливее развитая Марксом,—то само собой понятно, что «критика» Берштейна должна была в первую очередь обращаться против основных положений «Коммунистического манифеста».

В письме, присланном из Лондона, которое Бебель считал и Штуттартском партийтаге (1898) германской с.-д. партии,—Берштейн говорит следующее о смысле своих ревизионистских выступлений: «Я выступил против взгляда, что мы стоим накануне ожидающейся катастрофы буржуазного общества, и что социал-демократия должна определять свою тактику в зависимости от перспективы на подобную предстоящую, великую социальную катастрофу. Сторонники подобной теории катастрофы (Katastrophentheorie) в существенном опираются на вывод «Коммунистического манифеста»¹⁾.

Таким образом, Берштейн в своем письме прямо указывает, что он «опровергает» основные пункты «Коммунистического манифеста». Прикрытие социалистической фразеологией состоит в том, что Берштейн делает сначала комплимент по адресу «Коммунистического манифеста». «Прогноз, который ставит «Коммунистический манифест»,—говорит Берштейн,—развитию капиталистического общества, был правилен, поскольку этот прогноз начертил общие тенденции этого развития». Но сейчас же Берштейн переходит в атаку и начинает отмечать «ошибки» манифеста, которые от марксовской теории не оставляют и следа. «Прогноз ошибался,—продолжает Берштейн,—в отношении различных, особых последствий, прежде всего в отношении оценки времени, которое должно занимать развитие. Последнее обстоятельство косвенно (rückhaltlos) было признано соавтором манифеста в предисловии к «Классовой борьбе во Франции». Но отсюда следует, что, поскольку экономическое развитие займет гораздо больший промежуток времени, чем это предвиделось, постольку оно должно принять такие формы, привести к таким образованиям (Gestaltungen), которые не были и не могли быть предусмотрены «Коммунистическим манифестом»²⁾.

Ссылка Берштейна на предисловие Энгельса к «Классовой борьбе во Франции» Маркса, в оправдание своего ревизионизма, столь излюбленной формой «доказательства» неправоты Маркса, что буквально не было ни одного ревизиониста, который не ссылался на это злополучное предисловие. Каутский недавно, в общем, повторил положение Берштейна, характеризую ревизионизм, в котором надо различать две стороны: «тактическую и теоретическую». Что в тактической стороны, то Каутский ничего не имеет против Берштейна, так как надо различать два периода в развитии классовой борьбы

¹⁾ Protokoll über der Verhandlungen des Parteitag des socialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Stuttgart vom 3 bis 8 Octobre 1898, стр. 3. Курсив в протоколах.—Г. З.

²⁾ Ibid., стр. 123.

до 80—90-х гг. XIX в., когда «пропаганда соц.-дем. партий европейского континента сосредотачивалась на борьбе с военной монархией». Поэтому тактика с.-д. партий основывалась на воспоминаниях времен Великой Французской революции, либо переворотов 1848 года ¹⁾. «Наша мысль, наша пропаганда, наша тактика,—продолжает Каутский,—была полностью во власти мысли о политической революции, как неизбежного условия социалистического подъема. Но после амнистии осужденных коммунаров во Франции в 1880 г. и после падения закона против социалистов в Германии в 1890 г., были уже получены демократические условия для пропаганды и организации путем мирного приобретения государственной власти. Это не могло, конечно, остаться без влияния на наш язык и тактику. Это было осознано в дальнейшем во время партийного кризиса. Энгельс сам указал на это в своей последней публикации, в своем известном предисловии к новому изданию «Классовой борьбы во Франции» Маркса» ²⁾.

Таким образом, задним числом Каутский вполне солидаризируется с Бернштейном, при чем не стесняется сослаться на предисловие Энгельса, которое, как теперь доказано документально Д. Рязановым ³⁾, было сфальсифицировано при благосклонном участии Бернштейна и немецкого ЦК вообще. Уже после опубликования тов. Рязановым полностью всех выпущенных мест из предисловия Энгельса, Каутский пытался рядом софизмов доказать, что вновь опубликованные места ничего не меняют в общем смысле строк Энгельса. Между тем, Энгельс как раз утверждает, что революционные методы борьбы необходимы для свержения капитализма, в частности, что уличная борьба будет, но что только условия этой будущей борьбы изменятся, поэтому инсургенты «предпочтут тогда, как и во время всей Великой Французской революции или 4 октября или 31 октября в Париже, открытое наступление пассивной баррикадной тактике» ⁴⁾. Далее Энгельс пишет: «способствовать, не покладая рук, этому росту (партийного влияния.—Г. З.), пока он не перерастет через голову господствующей правительственной системы, не дать этой, с каждым днем укрепляющейся массовой силе убывать в передовых схватках, а сохранять ее в неприкосновенности для решающего дня,—вот наша главная задача» ⁵⁾. Но Бернштейну, выступающему от имени буржуазии с «критикой» Маркса, и Каутскому, благодарившему Бернштейна за эту «критику», а потому очень неохотно выступавшему против последнего,—было необходимо спрятать эти строки от масс, чтобы изобразить «Коммунистический

¹⁾ К. Kautsky, Автобиография, в цитиров. сборнике, изд. Felix Meiner, стр. 13.

²⁾ Ibid., стр. 14.

³⁾ «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», под ред. Д. Рязанова, т. I.

⁴⁾ «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I, стр. 259.

⁵⁾ Ibid., стр. 260.

«манифест» устаревшим, а ее авторов—Маркса и Энгельса—бланкистами.

Для Бериштейна бланкизм является синонимом бабунизма: в этом он отчасти прав, если принять во внимание только революцию 18-го века, хотя, как мы видели, была все же большая разница между первыми и вторыми,—бланкисты в эпоху 30-х годов являлись сторонниками заговорщических методов борьбы, бабувисты несколько пересматривали это положение, у бланкистов не было так ярко выраженных черт «грубого материализма», как у бабувистов и пр., и пр. Но в общем, и те, и другие были за революционные, насильственные методы борьбы, и, именно, за это их ценил Маркс и Энгельс. Но это обстоятельство и возмущает Бериштейна. «В «Коммунистическом манифесте»,—пишет Бериштейн,—из всей социалистической литературы одни лишь писания Бабефа остаются без критики (?!—Г. З.), о них говорится только, что они в Великой революции «выражали требования пролетариата»—утверждение, во всяком случае противоречащее эпохе (?!—Г. З.). Революционная программа действия манифеста насильственно проникнута бланкизмом»¹⁾.

Социал-демократы типа Бериштейна и до сих пор изображали одного из величайших революционеров человечества, Бланки, в виде пугала. На самом деле, у Бланки был целый ряд чрезвычайно ценных черт, как у бабувистов, вообще: Маркс охотно брал эти революционные стороны их учения, отбрасывая заговорщичество, «грубый материализм», непонимание учета экономических и политических условий, необходимых для успеха восстания. Маркс не только использовал революционные стороны бланкизма и бабунизма, но, как мы показали в предыдущей главе, критиковал их довольно жестоко. Бериштейн необходимо скрыть эту критику Маркса, чтобы полностью отождествить бланкизм и марксизм и этим запугать добродушных центристов типа Каутского: помыслите, Маркс—бланкист, он проповедует программу, иллюзорнее которой не мог бы составить никакой клубный революционер»²⁾. И Каутские приходили в ужас от этого крика мешан, пугающихся революции. А Бериштейн продолжает кричать, что Бабеф получил от Маркса незаслуженное звание пролетарского революционера, что бланкисты в 1848 г. вовсе не были «состоящей в сущности пролетарской партией», как писал об этом Маркс в «Классовой борьбе», и в «18-м Брюмере», а в особенности в «Преддверии Союза коммунистов»³⁾. Кто же был пролетарским революционером в эпоху Великой Французской революции,—мы так и не узнаем у Бериштейна, зато по Бериштейну «пролетарскую партию» французы составляли в 1848 году рабочие, группировавшиеся вокруг Люксембург»⁴⁾. Конечно, Бериштейну было приятнее объявить «дундуба»

¹⁾ Э. Бериштейн, Социальные проблемы, Спб. 1906, стр. 42.

²⁾ Ibid., стр. 41.

³⁾ Ibid., стр. 42.

⁴⁾ Ibid.

щину» пролетарской программой и тактикой: Луи Блан, действительно, являлся предтечею соглашательского социализма, прототипом будущих Берштейнов. Что указание на Луи Блана является не меньшей фальсификацией, чем подделка предисловия Энгельса,—это, ведь, не сразу бросается в глаза социал-демократическому середняку-рабочему. Оглушительные крики Берштейна о бланкизме Маркса должны были служить той дымовой завесой, за которой скрывается выхолащивание всех революционных черт из марксизма. И Берштейн, засучив рукава, продолжал действовать и вещать: «Марксизм,—заключал он,—перерос бланкизм лишь в одном пункте—в методе. Что же до другого,—до преувеличенной оценки творческой способности революционной силы в деле социалистического преобразования современного общества,—то он никогда вполне не освободился от бланкистских воззрений. То, что он в них исправил, как, например, идея о более строгой централизации революционной силы, касается более формы, нежели сущности» ¹⁾).

Мы видели, что Маркс, действительно, взял у Бланки выражение «диктатура пролетариата», уточнив слова «Коммунистического манифеста»: это—заслуга Маркса, который всегда умел синтетически использовать достижения современников и предшественников. Отречься от родства марксизма с бланкизмом мы ни на одну минуту не намерены: мы предпочитаем революционное наследство Бланки соглашательству Луи Блана ²⁾, но «путчистское» в бланкизме было отброшено Марксом как вообще все реакционное в нем. Берштейн же хотел изобразить дело так, что программа «Коммунистического манифеста» и есть бланкистская программа, чтобы оглушить и затуманить мысль рабочих. Лицемерно высказываясь будто бы за метод Маркса, Берштейн на самом деле от него отказывался. Он приходил к идеализму, подновляя Канта и отрекаясь в первую голову от диалектического материализма Маркса и Энгельса. По словам Берштейна «поставить диалектику на ноги» Марксу не удалось: «Как это всегда происходит в действительном мире, лишь только мы покидаем почву доступных опытного констатирования фактов и переходим мыслью за их пределы, мы сразу оказываемся в мире произвольных понятий, и, если иногда будем следовать законам диалектики, как их выставил Гегель, то попадем, прежде чем успеем осмотреться, опять в тенья саморазвития понятия» ³⁾. Как раз Берштейн и попадал в объятия, правда, не Гегеля, а Канта с его «категорическим императивом». Но оспорить диалектику Берштейну было необходимо, так же, как было необходимо представить Маркса бланкистом чистой воды. Ибо Бер-

¹⁾ Ibid., стр. 45.

²⁾ Кстати, Луи Блан кончил реакционером, выступив на стороне Нац. Собрания против Коммуны 1871 г.: его биография сродни биографии Берштейна в Каутского, предпочитавшими юнкерско-империалистическую Германию Советам. Берштейн правильно определил своих идеологических предков.

³⁾ Эд. Берштейн, Соц. проблемы, стр. 31.

штейн прекрасно понимал связь гегелевской диалектики с Великой Французской революцией, великолепно представлял себе, что из возмозженной Марксом и обоснованной им материалистической диалектики вытекает ряд революционных законов, открытых Марксом, следовательно, закономерность и неизбежность социальной революции.

А вот этого-то Берштейну, по заказу буржуазии, признавать не хотелось. В уже цитированном нами его письме из Лондона говорилось: «Завоевание политической власти рабочим классом, экспроприация капиталистов—не являются сами по себе конечной целью, только средством к проведению определенных задач и стремлений. Как таковые они являются требованиями соц.-дем. программы и в нем не оспариваются. Но условия их проведения не могут быть заранее предсказаны, вопрос идет только о борьбе за них. К овладению политической властью относятся политические права, а важнейшим вопросом тактики, который должна в ближайшее время решить немецкая с.-д., кажется мне именно вопрос о лучшем пути дальнейшего расширения политических и экономических прав немецких рабочих ¹⁾». Или, так выразился в свое время Берштейн: «Движение—все, цель—ничто».

Так, занявшись «критикой» основных положений «Коммюнистического манифеста», Берштейн пришел к отказу от социализма вообще. Его ученики и последователи, ныне проводящие в Германии вместе со своими хозяевами—капиталистическими магнатами—«свободную демократию», договаривают то, что в свое время было во всеуслышание сказать Берштейн: они считают необходимым выбросить даже из Гейдельбергской программы, недавно принятой германской с.-д., всякое упоминание о «конечной цели». «Резкое подчеркивание в восьмом пункте ²⁾ конечной цели кажется, по своей несовместимости с программой действия, чужеродным телом в своей общности—анахронизмом. На кого внутри партии, а кого в рядах профсоюзов могут глубоко влиять эти общие мысли так восклицает один из послевоенных теоретиков немецкого revisionизма, Лютар Эрдман ³⁾. Требуя выбросить из с.-д. программы упоминание о конечной цели, Эрдман протестует также против интернационалистских фраз, так как соц.-дем. должен быть фактором общенациональной политики Германии: ученики Берштейна перешеголяли своего учителя.

¹⁾ «Protokolls» Штуттартского партийтага, стр. 125. Курсив протоколов.—(Л)

²⁾ Дело идет о «восьмом пункте» Гейдельбергской программы, в которой, между прочим, говорится, что «цель рабочего класса может быть осуществлена только путем превращения капиталистической частной собственности на орудия производства в общественную собственность». Это — единственное воспоминание о социализме, сохранившееся в Гейдельбергской программе.

³⁾ L. Erdman, Gewerkschaften und Socialismus в журнале «Die Arbeit» № 11 за 1926 г. См. мою статью в «Большевике» за 1926 г., №№ 1 и 2: «Наследство и борьба с ней».

Но и Каутский не отстает от своего бывшего противника. Мы уже выше показали, как он задним числом солидаризуется с Бернштейном. Но он оговаривается, что дело идет о солидарности в тактических вопросах: «Наши (с Бернштейном.—Г. З.) тактические разногласия того времени,—пишет он,—потеряли смысл после революции вследствие новой создавшейся ситуации, которая придала тактическим проблемам новый вид»¹⁾. Отделив тактику от принципов, практику от теории, Каутский, проповедующий сейчас крестовый поход против Советской республики, против практически осуществляющейся диктатуры пролетариата,—с невинным видом заявляет, что «он улет, как и жил, неисправным марксистом»²⁾.

Но вот перед нами последний, чисто-теоретический труд Каутского: его недавно вышедшая в свет двухтомная работа «Материалистическое понимание истории». Здесь не место подробно излагать «замечательные» идеи этого непомерно разбухшего произведения Каутского,—но даже ознакомление с некоторыми мыслями его последней работы показывает, как наш «ортодокс» и «антибернштейнианец» благополучно погряз в болоте вулгарнейшего ревизионизма. Противопоставление Маркса эпохи после революции 1848 года Марксу эпохи написания «Коммунистического манифеста» является в этом труде столь же излюбленным приемом Каутского сейчас, как в свое время Бернштейна. Большевикам—Ленину и его ученикам—вишенется в вину, главным образом, то, что они возвращаются к идеям «Коммунистического манифеста». Ленин и его приверженцы (seine Leute) утверждают,—пишет Каутский,—что «то, чему они учат и проповедуют в жизнь, является ничем иным, как первоначальным чистым коммунизмом «Коммунистического манифеста»³⁾. Каутский готов над этим посмеяться и беззубо острит над большевиками, сравнивая их с Лютером и его учениками: большевики, мол, догматики, не желающие считаться с новыми фактами, которые видели Маркс и Энгельс, и сами делали из этих фактов соответствующие выводы. Доказательство «ревизионизма» Маркса и Энгельса Каутский видит в том, что они «оправдывали тактику современной им социал-демократии»⁴⁾. Что социал-демократия эпохи героической пропаганды Гёда и подпольной работы германских революционных социал-демократов в годы «исключительных законов» была столь же похожа на соц.-демократию сегодняшнего дня, как выживший из ума старик на молодого и полного сил юношу—об этом Каутский умалчивает. Молчит он и о том, как Маркс жестоко критиковал «эйзенахцев» за их уступки «лассальянцам», как Маркс и Энгельс исправляли оппортунистическую линию немецкого ЦК в первые годы исключительных законов, как

¹⁾ К. Kautsky, Автобиография, op. cit., стр. 20.

²⁾ Ibid., стр. 34.

³⁾ К. Kautsky, Die materialistische Geschichtsauffassung, Erster Band, Natur und Gesellschaft, Berlin 1927, стр. 674.

⁴⁾ Ibid.

Энгельс, наконец, «оправдывал» все оппортунистические грешки, допущенные Каутским в Эрфуртской программе. При таком приеме «умолчания» можно и Маркса и Энгельса превратить в добродетельных мелких буржуа. И Каутский не стесняется. Он пересматривает теорию классовой борьбы, кризисов, обнищания, революционного низвержения капитализма¹⁾. Он доказывает, что основные положения материалистического понимания истории, развитые Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом манифесте», и уточненные Марксом в 1859 году в предисловии к «Критике политической экономии», ныне устарели.

Указывая на то, что Маркс рассматривал всю историю человечества вплоть до социальной революции, как «предисторию человечества», Каутский заявляет, что надо принять во внимание примечание Энгельса к фразе из «Коммунистического манифеста»: «История всего предшествующего общества есть история борьбы классов». Примечание Энгельса, как известно, гласит: «Говоря точно, та история, о которой существуют письменные свидетельства». Сделав это примечание, Энгельс имел в виду доклассовую историю человечества вплоть до разложения первобытной родовой общины. Но Каутский считает необходимым идти дальше и утверждает, что формула Маркса должна быть и дальше ограничена: его понятие неизбежности социальной революции не может быть распространено и на все исторические эпохи античного мира и Древнего Востока. Почему? А потому, что в античных и древне-восточных государственных образованиях не происходило социальных революций: «Революция исходила в крайнем случае из того, чтобы разрушить крупную собственность и раздробить ее на крестьянские парцеллы. Это естественно не означало социального прогресса. Через несколько лет, максимум десятилетия, вновь образовывались старые классовые различия и старый строй вновь восстанавливался, изменялись только лица»²⁾. Таким образом, заключает Каутский: «то, что Маркс в 1859 году рассматривал, как всеобщий закон общественного развития, сегодня нам представляется собственно (streng genommen) только, как закон развития с момента возникновения индустриального капитализма... В первый раз в мировой истории после падения средних веков новые производительные силы вступают в коллизии с устаревшим строем собствен-

¹⁾ K. Kautsky, *ibid.*, Zweiter Band, Der Staat und die Entwicklung der Menschheit, стр. 8, 514, 542. В главе «Победа пролетариата» Каутский определяет победу, как приход с.д. к государственной власти через парламент. Он отвергает большевистский эксперимент, как «правление социалистической секты, которая опирается на диктатуру полиции и армии над народными массами». Считаю, что даже буржуазии ясно, что пролетариат способен взять власть — доказательством многочисленные «рабочие» правительства в разных странах после войны. Каутский пишет: «Сейчас важнейшим вопросом для соц.-дем. является вопрос не о том, как они придут к власти, а каким способом они сумеют удержать эту власть. Таким образом, Каутский категорически высказывается против революционного низвержения буржуазного господства. *Ibid.*, стр. 525.

²⁾ *Ibid.*, стр. 618.

ности. Сначала—с феодальным строем собственности, а со времени прошедшего столетия с новым строем, основанным на товарном производстве¹⁾.

Что в античных и древне-азиатских государствах не было класса пролетариев²⁾, способного на место старого строя с частной собственностью основать новое коммунистическое общество,—на это неоднократно указывал Маркс,—и это стало общим местом в марксистской литературе, но что конфликты между производительными силами и производственными отношениями происходили и в древности, при чем приводили, конечно, к революциям, как и в эпоху европейской истории,—это доказывается многочисленными фактами из истории предшествующих европейской государственности общественных образований. «Ограничение» закона Маркса, произведенное Каутским, является ревизией марксизма, вступающей в конфликт с историческими фактами. Но первое «ограничение» это необходимо Каутскому для того, чтобы и дальше «ограничить» Марксов закон, в особенности то известное положение, что «ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора», и превратить марксово понимание социальной революции в филлистерское мирное завоевание политической власти пролетариатом. В самом деле «капитализм,—пишет Каутский,—пережил столько кризисов, он сумел приспособиться к столь различным и противоречивым обстоятельствам, что он мне кажется сейчас, чисто экономически, гораздо более жизнеспособным, чем пятьдесят лет тому назад»³⁾. Но раз современный капитализм кажется Каутскому сильнее, чем в прошлом, то отсюда надо сделать прямой вывод, что дело пролетариата безнадежно, и дело социальной революции должно быть отложено в долгий ящик. Вместо того, чтобы сказать это прямо, Каутский выдумывает новое «ограничение» марксова закона. Дело в том, что «одновременно пролетариат гораздо ближе подошел в некоторых отдельных крупных государствах к тому, чтобы стать господствующим классом». А это обстоятельство показывает, что под социальной революцией, под концом капитализма, вовсе не надо понимать того, о чем писал Маркс в «Капитале»: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторы экспроприируются». «Мы также,—пишет Каутский,—этого ожидаем. Но мы ожидаем конца капитализма не от конфликта между производительными силами, для которых условия

¹⁾ Ibid., стр. 620.

²⁾ Кстати, Каутский, повидимому, склонен отождествлять люмпен-пролетариат древности с современными пролетариями,—по крайней мере, он, некогда об этом много рассуждавший, теперь употребляет термин «пролетариат» без оговорок и для античного мира: «Пролетариат,—пишет он,—захватывают политическую власть и экспроприируют владельцев, собственность которых они себе присваивают». Ibid., стр. 618.

³⁾ Ibid., стр. 623. Курсив мой. — Г. З.

капиталистического способа производства стали слишком узким, капиталистической собственностью; мы ожидаем этого конца не тогда, когда «капиталистическая монополия становится оковом слова производства», мы имеем все основания верить, что конец наступит гораздо раньше»¹⁾.

В приходе к власти отдельных с.-д. партий в разных странах Каутский и видит начало такого конца капитализма. Под «социальной революцией» он вовсе не хочет понимать «экспроприации экспроприаторов», а мирное овладение государственным буржуазным аппаратом, которое подготовит все необходимые предпосылки для социализма. Но этот вывод и есть собственно тот, к какому приходил в свое время Берштейн. Как и последний, прицепившись к фразе Энгельса (примечанию к «Комм. мани.», будто бы ограничивающему закон Маркса), Каутский стремится и дальше теоретически «ограничить» закон общественного развития Маркса и превратить марксизм в вульгарное, либеральное учение. Через восемьдесят лет после издания «Комм. манифеста» «ортодокс» Каутский отрывается от самой основы его — материалистического понимания истории и от пролетарской революции.

«Коммунистический манифест» подвергался и подвергается, однако, не только критике справа, так сказать, со стороны оппортунистов, но также и слева, со стороны анархистов и синдикалистов. Всего беззубее и просто глупой оказывалась «критика» наших отечественных анархистов. Из них особенно прославился Черкезов, который просто обвинял Маркса в том, что последний списал свой «Коммунистический манифест» у Виктора Консидерана. Черкезов не позволил «подсчитать», что в произведении Маркса и Энгельса «на каждые 11 строк приходится одно заимствование»²⁾. Даже Каутского в это время стошнило от подобных подвигов наших анархистов, и он ответил на «открытие» Черкезова уличив его «в идиотстве, в неискренности и абсолютном незнакомстве с французской социалистической литературой 40-х гг.»³⁾. Насколько нелепо обвинение Маркса в «плагиате» у Консидерана, видно, хотя бы, из того, что Консидеран из раз коммунистов революционеров называет «ложной демократией» и характеризует ее следующими словами: «Ложная демократия, это — революционный дух, дух зависти, ненависти и войны, дух анархической свободы, насильственного и завистливого равенства, исключительной и властвующего патриотизма, дикой разнузданной, вооруженной враждебной независимости»... Себя же Консидеран считает апостолом «мирной демократии», лозунги которой следующие: «Братство в единство — вот альфа и омега социального знания, основа и сумма всего»

¹⁾ Ibid., стр. 624.

²⁾ Черкезов, Предтечи Интернационала, Доктрины марксизма, изд. для Труда», 1919, стр. 165.

³⁾ См. «Neue Zeit» № 47 от 18 авг. 1906 г.

ловеческой политики... Мы все братья одного бога, члены одной семьи». Дальше идут рассуждения о «новом христианстве», о «коллективном единстве человека с богом», о том, что «весь политический и социальный дух современности во всем, в чем бы он ни вырвался,— не что иное, как чистый дух Христа»¹).

Только людям, лишенным всякой способности к разумному мышлению, может прийти в голову идея обвинить Маркса в списывании у Консидерана. И, однако, Черкезов имеет сторонников в лице нашего отечественного «селянского министра» В. Чернова, который недавно повторил обвинение Черкезова в самом новейшем труде²). Но можно дискредитировать «Коммунистический Манифест», и анархисты вкупе со всеми страшными «социалистами-революционерами» поступают по старому правилу: «клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется!» Конечно, «писатели» стиля Черкезова не могут, скорее делают вид, что не могут понять одного: что Маркс воспользовался всеми завоеваниями предшествующей и современной ему мысли, что он отбрасывал от нее всю реакционную шелуху и брал только ее научные стороны. В частности, «Манифест демократии» Консидерана мог послужить, как мы уже указывали, в известной степени прототипом в смысле формы изложения для «Коммунистического манифеста». Но последний в смысле содержания так же далек от работы Консидерана, как проверенный научный закон от робкой, полной старых заблуждений, рабочей гипотезы. Что у Консидерана есть признание борьбы классов, кипящей в современном ему обществе, что он отмечает зарождение «индустриального феодализма», что он говорит о прогрессирующей нищете беднейших классов,—это бесспорно. Но эти положения, как прекрасно показал Плеханов, мы можем найти и у иных современников Консидерана и у целого ряда его предшественников. Дело идет вовсе не об этом только, а о главном стержне «Коммунистического манифеста» — неизбежности революционного свержения капиталистического строя. Как бы предвидя эти потуги будущих своих «критиков» «разоблачить» заимствования Маркса, последний писал в письме к Ведемейеру 5 марта 1852 года: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими формами борьбы, свойственными развитию производства; 2) что классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре

¹) V. Considerant, Principe du socialisme. Manifeste de la démocratie du XIX siècle, Paris 1848, стр. 52, 61, 64.

²) В. Чернов, Конструктивный социализм, т. I, 1921 г., стр. 3. См. мою статью «Конструктивное убожество» в сборнике «Ионистующий Материалист» № 3.

питалистического способа производства стали слишком узким, капиталистической собственностью; мы ожидаем этого конца не тогда, когда «капиталистическая монополия становится оковом социального производства», мы имеем все основания верить, что конец наступит гораздо раньше»¹⁾).

В приходе к власти отдельных с.-д. партий в разных странах Каутский и видит начало такого конца капитализма. Под «социальной революцией» он вовсе не хочет понимать «экспроприации экспроприаторов», а мирное овладение государственным буржуазным аппаратом, которое подготовит все необходимые предпосылки для социализма. Но этот вывод и есть собственно тот, к какому приходил в свое время Каутский. Как и последний, прицепившись к фразе Энгельса (примечанию к «Комм. ман.», будто бы ограничивающему закон Маркса), Каутский стремится и дальше теоретически «ограничить» закон общественного развития Маркса и превратить марксизм в вульгарное, мертвое учение. Через восемьдесят лет после издания «Комм. манифеста» Каутский отрекается от самой основы его — материалистического понимания истории и от пролетарской революции.

«Коммунистический манифест» подвергался и подвергается, однако, не только критике справа, так сказать, со стороны оппортунистов, но также и слева, со стороны анархистов и синдикалистов. Каутского безудное и просто глупой оказывалась «критика» наших отечественных анархистов. Из них особенно прославился Черкезов, который просто обвинял Маркса в том, что последний списал свой «Коммунистический манифест» у Виктора Консидерана. Черкезов не только не попытался подсчитать, что в произведении Маркса и Энгельса «на каждые 11 строк приходится одно заимствование»²⁾. Даже Каутского в это время стоило от подобных подвигов наших анархистов, и он пишет на «открытие» Черкезова уличил его «в идиотстве, в некомпетентности и абсолютном незнакомстве с французской социалистической литературой 40-х гг.»³⁾. Насколько нелепо обвинение Маркса в «плагиате» у Консидерана, видно, хотя бы, из того, что Консидеран сам называет революционеров «ложной демократией» и характеризует ее следующими словами: «Ложная демократия, это-революционный дух, дух зависти, ненависти и войны, дух анархической свободы, насильственного и завистливого равенства, исключительный патриотизм, дикой разнузданный, вооруженный и враждебной независимости»... Себя же Консидеран считает апостолом «мирной демократии», лозунги которой следующие: «Братство и единство—вот альфа и омега социального знания, основа и сумма всей»

¹⁾ Ibid., стр. 624.

²⁾ Черкезов, Предтечи Интернационала, Доктрины марксизма, изд. «Известия», 1919, стр. 165.

³⁾ См. «Neue Zeit» № 47 от 18 авг. 1906 г.

ловеческой политики... Мы все братья одного бога, члены одной семьи». Дальше идут рассуждения о «новом христианстве», о «коллективном единстве человека с богом», о том, что «весь политический и социальный дух современности во всем, в чем бы он ни выражался,— не что иное, как чистый дух Христа»¹).

Только людям, лишенным всякой способности к разумному мышлению, может притти в голову идея обвинить Маркса в списывании у Консидерана. И, однако, Черкезов имеет сторонников в лице нашего отечественного «сельского министра» В. Чернова, который недавно повторил обвинение Черкезова в самом самоиовейшем труде²). Но важно дискредитировать «Коммунистический Манифест», и анархисты вкупе со всеми страшными «социалистами-революционерами» поступают по старому правилу: «клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется!» Конечно, «писатели» стиля Черкезова не могут, скорее делают вид, что не могут понять одного: что Маркс воспользовался всеми завоеваниями предшествующей и современной ему мысли, что он отбрасывал от нее всю реакционную шелуху и брал только ее научные стороны. В частности, «Манифест демократии» Консидерана мог послужить, как мы уже указывали, в известной степени прототипом в смысле формы изложения для «Коммунистического манифеста». Но последний в смысле содержания так же далек от работы Консидерана, как проверенный научный закон от робкой, полной старых заблуждений, рабочей гипотезы. Что у Консидерана есть признание борьбы классов, написанное в современном ему обществе, что он отмечает нарождающийся «индустриальный феодализм», что он говорит о прогрессирующей нищете беднейших классов,—это бесспорно. Но эти положения, как прекрасно показал Плеханов, мы можем найти и у иных современников Консидерана и у целого ряда его предшественников. Дело идет вовсе не об этом только, а о главном стержне «Коммунистического манифеста» — неизбежности революционного свержения капиталистического строя. Как бы предвидя эти потуги будущих своих «критиков» «разоблачить» заимствования Маркса, последний писал в письме к Ведемейеру 5 марта 1852 года: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими формами борьбы, свойственными развитию производства; 2) что классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре

¹) V. Considerant, Principe du socialisme. Manifeste de la démocratie du XIX siècle, Paris 1848, стр. 52, 61, 64.

²) В. Чернов, Конструктивный социализм, т. I, 1921 г., стр. 8. См. мою статью «Конструктивное убожество» в сборнике «Воснивающий Материалист» № 3.

пролетариата; 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к установлению общественного строя, в котором не будет места делению на классы¹⁾.

Синдикалисты, в частности школа Сореля, так-наз. «неомарксты», которые, к их чести, никогда не опускались до детского прищипывания в стиле Черкезова, заявляли, что они восстаивают Маркса, фальсифицированного его учениками; но и синдикалисты как раз также и признавали важнейшего, что есть в «Коммунистическом манифесте» — необходимости пролетариату стать «господствующим классом», захватить политическую власть, того, что впоследствии Маркс формулировал, как диктатуру пролетариата. Усвоив учение о классовой борьбе — заслуга, которую Маркс справедливо приписывал и своим предшественникам, — синдикалисты заменили учение о диктатуре пролетариата учением о «всеобщей стачке», которая пропагандировалась, как революционный метод низвержения капитализма и передачи всех хозяйственных функций в руки синдикатов. Однако то, что важнейший теоретик синдикализма, Жорж Сорель, сделал из понятия «всеобщая стачка», показывает, что, по существу, синдикалисты выхолащивали из учения Маркса его революционность и делали, под прикрытием левых фраз то же, что и ревизионисты. Уже в «Падении древнего мира» Сорель пытался применить метод исторического материализма к одной из сланейших эпох, показал, что он психологический «фактор», элемент в эры, ставит на первый план, считает важнейшей движущей силой общественного развития²⁾. Говоря о «Коммунистическом манифесте», Сорель различает в нем две части: одну — эмпирическую, научную, другую — мифологическую. Бериштейн, собственно, тоже с невинным видом «очищал» «Коммунистический манифест» и учение Маркса от «утопических» остатков — от революционности, материализма и пр., Сорель, полемизирующий с Бериштейном, делает то же самое. Приведя знакомое место — первые строки «Коммунистического манифеста» о борьбе классов, Сорель указывает, что в дальнейшем Маркс научно отделяет борьбу классов в современном обществе, когда различает только буржуазию и пролетариат, но и промежуточные классы. Однако сам Маркс пишет в Манифесте, — заявляет Сорель, — что общество все больше и больше разделяется на два враждебных лагеря, и два прямо противоположных великих класса: буржуазию и пролетариат». По мнению Сореля, это «дихотомическое» (*dichotomique*) раз-

¹⁾ «Письма Маркса и Энгельса», под ред. В. Адоратского, изд. 1923 г., стр. 4.

²⁾ См. G. Sorel, *La Ruine du monde antique*. В своей работе, посвященной Ренану («Système historique de Renan»), Сорель пишет, что важнейшее значение в истории укрепления христианства имел вопрос о «расколе», «чистоте» и «продовании», которым подвергались первые христиане. Проблема раскола была важнейшей в истории происхождения христианства» (Стр. 207—208). Что проблема раскола важна — это верно, но что были другие важнейшие, действительно, важнейшие предпосылки для победы христианства, — об этом Сорель умалчивает, оставаясь идеалистом в истории.

ление необходимо Марксу потому, что массы иначе «не поймут революционной идеи, подобно тому, как без описания идеала будущего нельзя продвинуть в сознание масс понятия моральной катастрофы»¹⁾. Без этого понимания «моральной катастрофы» пролетариат попадает в руки «интеллектуалов». А потому необходимо в развитии учения Маркса, предпринятого им в «Коммунистическом манифесте», экзальтировать массы при помощи идеи, которая была бы им еще более понятна. Такой идеей является «миф о всеобщей стачке». «Всеобщая стачка синдикалистов и катастрофическая революция Маркса являются мифами», — утверждает Сорель²⁾. Маркс вовсе не занимался, подобно утопистам, детальным описанием «катастрофы», так как для него понятие «социальная революция» есть только идея, при помощи которой пролетариату становится яснее его роль. Подобно этому, миф о «всеобщей стачке», которая, собственно, никогда полностью не осуществится, важен тем, что он сообщает рабочему классу идею, которая поднимает его сознание и является, таким образом, огромной «воспитательной ценностью»³⁾.

Но если идея революции, «катастрофы» Маркса, так же, как и идея «всеобщей стачки» является неосуществимой мечтой, «мифом», то от революционной концепции Маркса, конечно, ничего не остается. Поэтому мы можем найти у Сореля строки, воспевающие капитализм, наряду с революционными призывами к насилию, критику утопизма и в духе буржуазного философа Бергсона «инстинктивные» размышления. Поэтому амплитуда колебаний самого Сореля была чрезвычайно велика: от монархического католицизма в стиле «Action Française»⁴⁾ до большевистской революции — до признания Ленина⁵⁾. А ученики Сореля, особенно Эдуард Берт, принявший в начале Октябрьскую революцию, увидел в ней не что иное, как доказательство справедливости теории Сореля о «мифах». «Возрождение марксизма больше не могло совершиться в Германии, — писал Берт, — необходимо было, чтобы оно совершилось в стране, которая, подобно некогда Палестине для римского мира, оставалась бы архаической страной, где душа толпы остается еще могущественно примитивной, страстной и мифологической — в этой России Толстого и Достоевского, которая в противоположность нашему сверхмерно рационализированному и интеллектуализированному (intellectualisé) Западу, обладает столь удивительным характером непосредственности (spontaneté) и свежей оригинальностью»⁶⁾.

¹⁾ G. Sorel, Matériaux d'une théorie du prolétariat, Paris 1921, стр. 188.

²⁾ G. Sorel, Réflexions sur la violence, 6 éd., Paris 1925, стр. 32.

³⁾ Ibid., стр. 200.

⁴⁾ См. Ed. Berth, Guerre des Etats et guerre des classes, Paris 1924, где исторические писания реакционеров накануне войны, посвященные Сорелю.

⁵⁾ G. Sorel, Réflex. sur la viol., 6 éd., Appendice III, «Pour Lénine», стр. 427.

⁶⁾ Ed. Berth, op. cit., стр. 434.

Эти строки Берта указывают на то, что даже революционные синдикалисты не поняли смысла русской революции: если они ее признали, что свидетельствует о их революционном чутье, то вид, который они ей придают, совершенно не соответствует действительности. Неудивительно, что синдикалисты при первых серьезных затруднениях, которые испытывает наша революция, склонны шарахаться в сторону от преемника программы «Коммунистического манифеста» Маркса, в сторону от III Интернационала.

Беглый обзор ревизии основных положений Манифеста лучше всяких других фактов и доказательств свидетельствует о том, что «Коммунистический манифест» является величайшим документом новой эпохи. Подобно юноше, стоит он, полный сил, несмотря на свои восемьдесят лет, и возбуждает вокруг себя страстные споры, так же, как он возбуждал их при своем рождении. И никакие атаки «ученых мужей» «справа» и «слева» неспособны развеивать творение Маркса и Энгельса, являющиеся и до сегодняшнего дня высшим проявлением человеческого творчества.

IV. „Коммунистический манифест“ и тактика пролетарских партий.

Теоретические положения «Коммунистического Манифеста», как мы видели, сохраняют свою силу и актуальность до сегодняшнего дня. В 1872 году авторы Манифеста констатировали это в следующем извлении: «Как ни сильно изменились условия в технике последнего 25-летия, но развитые в этом «Манифесте» общие положения в целом сохранили все свое значение и по настоящее время»¹⁾. Одновременно Маркс и Энгельс констатировали, что «некоторые частности нуждались бы в поправке». На эти частности указывают сами авторы манифеста, сводя их к «практическому применению этих общих положений», т.е. к тактике. По мнению Маркса и Энгельса, устарела глава, трактующая о революционных и пролетарских коммунистов, критика утопического социализма (так как она доведена только до 1847 г.) и отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям. Что касается до последнего положения, то авторы Манифеста констатируют, что в общем смысле они остаются верными и устарели только в деталях: «Замечания об отношении коммунистов к различным оппозиционным партиям, и теперь еще верные в общем, уже потому оказываются устаревшими в подробностях своих, что политические отношения теперь сове-

¹⁾ «Предисловие к немецкому изданию 1872 г.» («Комм. манифест», под ред. Рязанова, стр. 47). Необходимо оговориться, что Маркс заменил термин «цена труда» и пр. выражениями «рабочая сила», «цена рабочей силы» и пр. Эта поправка имела, конечно, не только терминологическое, но и методологическое значение. Однако смысл, который Маркс и Энгельс вкладывали в «Комм. манифест» и понятие «труд», совпадает с их позднейшим представлением о рабочей силе.

шнюю изменлись, и большая часть перечисленных там партий самым ходом исторического развития устраниена с общественной арены» ¹⁾.

Этим заявлением Маркс и Энгельс подчеркивали, собственно говоря, неоспоримость общетактического положения, которое в наше время выдвинуто Коммунистическим Интернационалом в виде идеи единого фронта. В «Коммунистическом манифесте» эта идея единого фронта выражена в следующих словах: «Одним словом, коммунисты подчеркивают посязку всякое революционное движение, направленное против существующих общественных и политических отношений. Во всех этих движениях они выдвигают на первый план, как основной вопрос всего движения, вопрос о собственности, независимо от того, приобретает ли он более или менее развитую форму» ²⁾. Таким образом, уже в «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс, указывая на использование всякого революционного движения, одновременно подчеркивали необходимость выдвигать на первый план конечную цель движения — уничтожение капитализма. Насколько это похоже на проповедываемые Бернштейном, а теперь и Каутским, отделение друг от друга тактической стеной тактики и теории (программы), предоставляем судить непредубежденному читателю.

Идею единого фронта Маркс мастерски проводил на всем протяжении своей практической политической деятельности. Особенно это видно в документах I Интернационала, принадлежащих перу Маркса: в «Учредительном адресе» и в «Уставе» Интернационала. При составлении «Коммунистического манифеста» Марксу приходилось писать программу и определять тактику, имея перед собой разнообразные по уровню и развитию партий, начиная от приверженцев расплывчатых формул Луи Блана и Прудона и кончая сторонниками более или менее четких положений устава «Союза коммунистов». При написании «Учредительного адреса» и «Устава I Интернационала» Маркс должен был считаться с христианским мистицизмом сторонников Мадлен, декларациями о «правах человека и гражданина» французских революционных деятелей и их же приверженностью к прудонизму, кривыми утопическими традициями оуизма и начавшей получать широкое распространение агитацией Лассалля за производительные товарищества. Несмотря на это, Маркс сумел подчеркнуть и выдвинуть на первый план конечную цель коммунизма, одновременно удовлетворив важнейшие практические требования упомянутых политических групп. Подчеркнув, что завоевание билля о десятичасовом рабочем дне было «не только практическим успехом, но в одно и то же время торжеством самого принципа», так как «в первый раз в открытом бою буржуазная политическая экономия потерпела поражение от полити-

¹⁾ Ibid., стр. 48.

²⁾ Комм. манифест, стр. 103.

ческой экономии рабочего класса»¹⁾, Маркс одновременно на основе фактических данных констатирует, что этим обстоятельством не снимается вопрос о продолжающемся обнищании рабочего класса «во всех странах Европы ни усовершенствования машин, ни применения науки к производству, ни открытие новых путей сообщения или новых колоний, ни переселения, ни создание новых рынков, ни свобода торговли, ни все эти условия вместе взятые совершенно не способны уничтожить бедствия рабочего класса». А отсюда следует, что в рамках капиталистического строя освобождение рабочего класса невозможно. «Наоборот, до тех пор, пока социальное устройство будет покоиться на своих старых и ложных основах, всякое новое развитие производительной силы труда только шире и глубже проведет ту пропасть, которая разделяет теперь между собою различные сословия и ярче выставит существующий между ними антагонизм»²⁾.

Указав на чрезвычайную практическую важность кооперативных организаций рабочего класса, Маркс констатирует, что «кооперативное производство, если оно ограничивается одними случайными и разрозненными усилиями небольшого круга рабочих, никогда не будет в силах ни остановить растущую в геометрической прогрессии непопулярность, ни освободить рабочие массы, ни даже хоть несколько облегчить тяжесть их положения». Отсюда вывод: «Итак, завоевание политической власти есть важнейшая задача рабочего класса».

Не меньший интерес представляет написанный Марксом «Устав I Интернационала», в который вставлены слова о «праве и справедливости» и о «правах человека и гражданина» — явная уступка фразеологии французских демократов и итальянских «мадзинистов» и который одновременно подчеркивает основную цель Интернационала — овладение рабочими политической властью в целях уничтожения всякого классового господства. Знаменитая фраза из этого «Устава», которую впоследствии исковеркали французские переводчики, гласит: «Экономическое освобождение рабочего класса есть великая цель, и любой политическое движение должно быть подчинено как средство».

Насколько жизненно важнейшие положения «Устава I Интернационала», видно из того, что Устав Коммунистического Интернационала начинается с повторения основных положений, написанных Марксом для I Интернационала. Вот как начинается «Устав Коммунистического Интернационала»: «В 1864 году в Лондоне было создано первое Международное Товарищество Рабочих — Первый Интернационал. В уставе этого Международного Товарищества Рабочих говорилось, что освобождение рабочего класса есть дело самих рабочих, что, борясь за свое освобождение, рабочие должны стремиться не к созданию ю-

¹⁾ За неимением под рукой подлинника, цитируем по Браславскому «Материалы к истории I и II Интернационалов», «Новая Москва», 1926 г., стр. 1.

²⁾ Ibid., стр. 35—36.

ных привилегий и монополий, но к установлению равных для всех прав и обязанностей и к уничтожению всякого классового господства...» и т. д.¹⁾

Коммунистический Интернационал утверждал свой устав в окончательном виде на V конгрессе, в 1924 году, т.-е. тогда, когда входившие в его состав секции были уже достаточно однородными—коммунистическими,—и не надо было в целях единого фронта вставлять какие бы то ни было уступки в принимаемый устав. Маркс писал свои положения, имея перед собой разнокалиберные элементы, и, однако, даже слова о необходимости «равных для всех прав и обязанностей» так мастерски были вставлены Марксом, что в общем контексте они звучат совершенно приемлемо и для современных коммунистов.

В этом блестящем умении сочетать полное сохранение основных теоретических и программных положений с тактическими уступками, в зависимости от исторических условий времени и места, заключается тайна огромного влияния Маркса на умы рабочих. Принимая в Интернационал прудонистов, бакуинистов, лассальянцев, Маркс стремился обезвредить их для масс и в этих целях даже шел на уступки словесного свойства, лишь бы привлечь массы к основному лозунгу освобождения рабочего класса посредством уничтожения капитализма. Он перепелово разъярил теоретическую путаницу сектантов, но лишь только бакуинисты, например, подняли знамя восстания против принципиальных, организационных основ Интернационала, Маркс выступил во всей своей непримиримости и отмежевался окончательно от бакуинистов. При жизни Лассалья Маркс не выступал против него в Германии, хотя в частных письмах жестоко критиковал его мероприятия: Марксу было ясно, что, несмотря на свои ошибки, Лассаль делает великое дело, организуя немецких рабочих в особую партию. Но лишь только он увидел, что «эйзенахцы» идут на уступку «лассальянцам» в принципиальных, программных вопросах, Маркс выступил с своей знаменитой «Критикой готской программы».

Так осуществлял Маркс основные положения идеи единого фронта, начертанные им еще в «Коммунистическом Манифесте». Насколько сектантски поступало центристское большинство II Интернационала (и даже Плеханов), когда, выступая против революционных синдикалистов, напр., оно не в состоянии было ухватиться за его сильные стороны и идти с ними единым фронтом. Своим оппортунистическим толкованием программы и тактики Интернационала, своим соглашательским пониманием вопросов завоевания политической власти, парламентаризма и пр. II Интернационал отбрасывал революционные элементы рабочего класса в лагерь анархистов и суживал свою базу, облегчая этим свое перерождение в сторону мелкобуржуазного либерализма²⁾.

¹⁾ Пятый всемирный конгресс Коммунист. Интернационала. Тезисы, резолюция, постановления, Гиз, 1924, стр. 87.

²⁾ См. мою статью «Организационные принципы II Интернационала», где эти вопросы освещены подробно. («Под Знам. Маркс» 1926 г., кн. XII).

Тактику единого фронта в марксовом, т. е. революционно-пролетарском, ее понимании проводит сейчас Коммунистический Интернационал. Объединяя в своих рядах крепко спаянные коммунистические партии, Коминтерн ни на одну минуту не забывает о своих задачах по отношению ко всему рабочему классу, ко всему угнетенному человечеству. Вот почему, несмотря на то, что реформисты типа Каутского все усилия употребляют, чтобы расколоть мировое профессиональное движение, коммунисты всюду борются за его единство. Вот почему национально-революционные движения во всех колонизованных странах мира встречают поддержку со стороны Коминтерна. Не забывая ни на минуту об основной цели коммунистического движения, современные коммунисты помнят также завет Маркса, начертанный им в «Коммунистическом Манифесте» поддерживать «всякое революционное движение, направленное против существующих общественных и политических отношений».

Таким образом, «Коммунистический манифест» остается документом, сохраняющим до сегодняшнего дня свое значение и ценность не только в области развитых им теоретических положений, но и в области тактики. Неудивительно, что возврат к манифесту об- является ревизионизмом догматизмом и анахронизмом. Для тех, кто- рые желают остануться не только на уровне вершины человеческой мысли, до которой поднялись Маркс и Энгельс, но и передовыми бой- цами за освобождение рабочего класса и всего человечества от- гиета и страданий капитализма, какими всю жизнь были Маркс и Энгельс,—для революционеров, ставящих себе целью «передел- мир», возвращение к идеям «Коммунистического манифеста» являет- ся необходимым условием. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Соединяйтесь для революционного низвержения капитализма и уст- новления диктатуры пролетариата. Этот огненный призыв, который ко- нчается «Коммунистический манифест», подхваченный Лениным и его последователями, все еще звучит, как трубный глас грядущей ми- рной революции.

Был ли Чернышевский утопистом? ¹⁾

Ю: Стеклов.

(Окончание).

Повторяем, об утопии Чернышевского следует говорить с *gravio salis*. Строгий реалист, он брал из утопический систем, главным образом, их критику частной собственности и капиталистического строя, а также общие принципы будущего строя, как, например, ассоциация, соединение промышленности с земледелием, организация производства и т. п.; но он прекрасно видел недостатки утопических систем и блестяще критиковал многие их положения. Так, например, Чернышевский разоблачает утопизм знаменитой формулы «право на труд», и более чем скептически относится к законодательным попыткам повысить заработную плату,—конечно, при современных общественных условиях ²⁾. Его отношение к Луи Блану и Прудону ³⁾ было скорее отрицательным (в частности он не мог простить Луи Блану его оглашательского поведения в 1848 г.), весьма строго относится он также к утопиям Сен-Симона, доказывая, что сен-симонизму присущи многие реакционные черты ⁴⁾. Но вместе с тем он высказывает глубокую

¹⁾ Редакция оговаривает свое несогласие с оценкой т. Ю. Стекловым утопичности элементов во взглядах Н. Г. Чернышевского. Ред.

²⁾ В капиталистическом обществе,—говорит Чернышевский,—«право на работу» было бы мыслимо лишь при законодательном ограничении разномыслия. Другая «паллиативная мера», рекомендуемая Миллем (наделение части рабочих жиды, чтобы повысить плату остальным), привела бы лишь к тому, что капиталисты более передовых стран стали бы усиленно выписывать дешевых рабочих из-за границы. Все такие меры ни к чему не могут привести до тех пор, «пока иждение промышленных дел остается в руках предпринимателей, которым выгодна немота рабочей платы» («Примечания к Миллю», стр. 380—388).—Вспомним, что Фурсе, в отличие от своих учеников, также доказывал несуществование права на труд в пределах «цивилизации». В этом пункте Чернышевский стоял ближе к Фурсе, чем к Консидерану.

³⁾ Прежде Чернышевский считал Прудона недоучкой и был недоволен его нападками на коммунизм, но относился к нему все-таки мягко и даже считал его представителем пролетариата (подобно Марксу, первоначально тоже высоко ценившему Прудона). Но позже Чернышевский резко изменил свое отношение к этому мелкобуржуазному софисту. Вот как он характеризует его в письме из Сибири от 24 ноября 1873 года: «Один из прогрессивных глупцов, имеющих очень сильное мнение на асек глупцов без различия, был Прудон. Быть может, и дворянский от природы; быть может, и бескорыстный (хоть это известная маера со времени Чатакова Сиркузовского: пренебрегать светскими приличиями и не выбирать себе дема; маера множества честолюбцев). Но, каков бы ни был он от природы, он был несежа и нахал, кричавший без разбора всякую чепуху, какая забредет ему в голову из какой газеты ли, идиотской ли книжонки, умной ли книги,—этого различия он не мог по недостатку образования. И теперь он—один из оракулов людей всяческих мнений. И удобно ему быть им: какая кому нравится глупость, какая есть у этого оракула! Кому-нибудь кажется, что $2 \times 2 = 5$? Ищи у Прудона; кажется подтверждение с прибавкою: «мерзавцы асе те, кто в этом сомневаются»; другому кажется, что $2 \times 2 = 7$, а не 5; ищи у Прудона: найдется и это с той же прибавкой. И дальше: «А кто-нибудь вроде Прудона проповедует без разбора и без скупости на ругательства—и оракул» («Чернышевский к Сибири», вып. I, стр. 82—83).—Не сказано ли в этом более резко отношение к Прудону влияние Маркса, «Квинта» которого был получен Чернышевским в 1872 году? Высказывая это в виде простой догадки.

⁴⁾ «Июльская монархия», loc. cit., стр. 131 и сл.

мысль, впоследствии выраженную и Энгельсом ¹⁾. Он решительно протестует против огульно-отрицательного отношения к так называемым утопиям, которые при всех своих крайностях и преувеличениях заключали в себе здоровое ядро, а именно констатирование того положения, что в своем историческом развитии человечество идет от принципа вражды и соперничества к коллективизму и товариществу. Серьезный человек, говорит Чернышевский, будет обращать внимание не на частности и не на ошибочные гипотезы, а на общий смысл системы ²⁾. Чернышевский знает, что главная ошибка утопистов заключалась в том, что они со своими планами обращались не по адресу, надеясь, что господствующие классы из чувства гуманности возьмут на себя инициативу социального преобразования. Такой naïвности Чернышевский, прекрасно понимавший роль классовых интересов в истории, допустить, конечно, не мог. Точно так же Чернышевский понимал инаковость убеждения утопистов, что человечество спасется только исполнением их планов, выработанных в тиши кабинетов. Он говорил: «Энтузиасты прогресса ошибаются в одном: в том, что цель их будет достигнута их путем; но они правы, не сомневаясь в том, что она будет достигнута» ³⁾.

Вместе с тем Чернышевский не раз определенно высказывал ту мысль, что социалистическое переустройство общества будет достигнуто только путем самостоятельного исторического действия рабочего класса. Утопические системы он осуждал именно за непонимание этой основной истины. В частности по поводу сен-симонизма, который он характеризовал как галлюцинацию, не свободную от реакционных черт, он заметил: «Называя приторной ту форму, которую имело первое проявление мысли о преобразовании общества, мы, конечно, должны ценить историческую важность этого первого ее проявления. Оно важно как признак того, что пришла пора обществу заняться идеями, выразившимися на первый раз в этой неудовлетворительной форме. Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бываю уже не восторженной забавой, а делом собственной надобности; а когда это нет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, к которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда вероятно будет ему лучше жить на свете, чем теперь» ⁴⁾.

¹⁾ «Философия, политическая экономия, социализм», стр. 373 и сл.

²⁾ Ср. его отзыв об утопических системах в «Очерках гоголевского периода». Указывая на те влияния, которые действовали на кружки Столетнича и Герцена, Чернышевский пишет: «В то время во Франции возникали, как противоречие бо- лее или менее к учению экономистов, новые теории национального благо- состояния. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными и буждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном виде их недостатки, которых вначале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы невинные. Но под видимыми странностями и под фантастическими указаниями скрывались в этих системах истины и глубокие, и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей, и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой идеи, все смеялись над несбыточными утопиями, и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их» (Соч., т. II, стр. 194). Это очень важно на отношение Маркса и Энгельса к утопическому социализму.

³⁾ «Июльская монархия», I. с., стр. 134.

⁴⁾ Ibid., стр. 150.—По поводу этих, казалось бы, столь недвусмысленных слов Плеханов (Соч., т. VI, стр. 8—9) замечает: «В своих рассуждениях о будущем западно-европейского социализма Чернышевский очень близко подошел к теории борьбы классов... В своих рассуждениях о французских событиях 1848 года, равно как и в только что приведенных нами строках, он как будто»

Чернышевский очень хорошо понимал, что преобразование капиталистического строя в социалистический зависит в первую голову от сознательности и самостоятельности пролетариата, и высказывал эту мысль во всех своих работах, затрагивавших этот вопрос. Между прочим, насмехаясь над вульгарными экономистами, рекомендовавшими рабочему классу «благоразумие» в мальтузианском смысле, он, указав, что при капитализме никакое улучшение положения пролетариата невозможно, независимо от роста или сокращения населения, прибавляет: «Если под благоразумием работников понимать не одну умеренность, о которой говорит Милль, а вообще ясное сознание о качествах существующего экономического устройства и о том, как оно должно быть изменено, то, конечно, все зависит от благоразумия самих работников, потому что все в обществе зависит от характера мысли у населения страны» («Примечания к Миллю», стр. 538—539). Этого мало. Будучи сторонником так называемых «теорий обнищания» и «теорий катастроф» и подобно Марксу доказывая, что капиталистический строй ведет к пролетаризации и социальной деградации трудящихся, Чернышевский, с другой стороны, подчеркивал, что «число пролетариев все увеличивается и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их понятие о своих потребностях»¹⁾.

При этом Чернышевский отмечал, что самостоятельное движение пролетариата только начинается; оно только делает свои первые робкие шаги, «это еще только зародыш, который развивается, а когда он разовьется, так еще не то будет»²⁾.

Склоняется к той мысли, что освободительное движение пролетариата делается теперь главным двигателем общественного прогресса в Западной Европе (Чернышевский говорит здесь не о каком-то туманном «общественном прогрессе», а о социальной революции.—Ю. С.). Но эта мысль остается у него одним из зачатков интервистического объяснения истории. И Плеханов, на этот раз уже категорически, уверяет, будто Чернышевский смотрел на борьбу классов «скорее как на великое (!) препятствие для прогресса, нежели на необходимое его условие в обществе, разделенном на классы»! При этом он снова ссылается на решение о «Письмах из Испании» Боткина, где Чернышевский в слабом развитии частовой борьбы в Испании будто бы «видел одно из ручейств за прогрессивное развитие этой страны в будущем». Но ведь Чернышевский в «Искривленной» рецензии говорил только о том, что отсутствие непримиримой вражды между классами в Испании поможет им скорее добиться низвержения монархии. Допустим, что мысль эта ошибочна. Но ведь никто иной, как именно Плеханов в 1906 году держался того мнения, что в борьбе с самодержавием пролетариат должен выступать в союзе с либеральной буржуазией, и даже после Февральской революции, когда Россия была уже республикой, он высказывался против классовой борьбы пролетариата с буржуазией во имя войны до победного конца. Зачем же обвинять Чернышевского в собственных грехах? Впрочем, даже за рецензии и статьи других авторов Плеханов делает ответственным Чернышевского и подает им для изобличения его идеализма или утопизма (см., напр., т. V, стр. 104 и 124; т. VI, стр. 10—12).

¹⁾ «О поземельной собственности»,—Соч., т. III, стр. 455 (1857 год).—Ровно 10 лет спустя Маркс писал: «На ряду с постоянным уменьшением числа изгнанных чужаков, которые узурпируют и монополизуют все выгоды этого процесса (капиталистической эволюции), растет масса нищеты, гнета, порабощения, вымогательства и эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, непрерывно увеличивающегося, вышколенного, объединенного и организованного силой механизма капиталистического процесса производства» («Капитал», т. I, стр. 724). А ровно за 10 лет до вышеприведенных слов Чернышевского в «Коммунистическом манифесте», на ряду с описанием роста эксплуатации и угнетения, указывалось на то, что «с развитием промышленности пролетариат не только численно растет, но и концентрируется в более значительных массах; растет сила пролетариата, к оной начинают сознать эту силу».

²⁾ А Плеханов, игнорируя все эти определенные заявления, уверяет, будто Чернышевский «не рассчитывал на народную инициативу ни в России, ни на Западе. Инициатива прогресса и всяких полезных для народов перемен в общественном устройстве принадлежала, по его мнению, «лучшим людям», т.-е. интелли-

Вообще истолковывать все те места у Чернышевского, где он единичный намекает на важное значение революционной пропаганды, и ысле доказательств его исторического идеализма (как это обычно лает Плеханов), это—прием далеко не убедительный. По этому по- ду мы хотим обратить внимание читателя на следующее. В пред- овни к немецкому изданию «Коммунистического манифеста» 1890 г. егельс говорит: «Для Маркса единственной (слышите: единствен- й!) гарантией окончательной победы выставленных в «Манифесте» ложений являлось умственное развитие рабочего ласса как необходимый результат совместной деятельности и об- ждения. События и перипетии борьбы с капиталом, победы, а еще лее поражения непременно должны были раскрыть перед бор- имися полную недостаточность тех панaceй, которых они придер- ивались, и сделать их головы более доступными для сновательного понимания истинных условий сво- ждения рабочих. И Маркс был прав» («Коммунистический анифест», Гиз, 1923, стр. 63; курсив мой.—Ю. С.). При желании можно это место объяснить свидетельством исторического идеализма егельса. А ведь мысль Чернышевского по существу была именно та- ова, как и мысль Энгельса...

Сопоставляя все, что нам известно о политических и исто- ко-философских взглядах Чернышевского, мы с полным основ- нием можем утверждать, что социальную революцию он представил себе как внезапный переворот, подготовленный тяжелым положени- абочего класса, вызванный какими-нибудь серьезными осложнениями международных отношениях и сопровождающийся захватом власти революционной диктатурой социалистической партии¹⁾. Но как он мотрел на условия постепенного приготовления этого социального атаклизма,—на этот вопрос ответить гораздо труднее. Его надежды а производительные ассоциации, а в России на общинное земледе- ение, как на факторы, способные облегчить переход к организации оллеktивного производства в национальном масштабе, нам уже известны. Но мы почти ничего не знаем о том, как он смотрел на рабpичное законодательство, на профессиональные союзы и на юрбpу за улучшение условий труда, на потребительные тов- ищества и пр.²⁾. Об этих предметах Чернышевский почти ничего из-

еничил. И объясняет это Плеханов тем обстоятельством, что взгляды Черны- кого сложились в эпоху разочарований, последовавших за крушением надежд оубужденным революцией 1848 года. На самом деле взгляды его сложились 1848—1849 гг. и к началу 60-х гг. принял еще более революционный уклон. Д- ие выражение «лучшие люди» Чернышевский употреблял вовсе не по отношению : одной интеллигенции. Наконец, одно дело—инициатива (да и ее Чернышевский е приписывал только интеллигенции), а другое дело—выполнение планов и инициаторов. Как мы видели, Чернышевский далек был от той наивности, какие илится навязать ему Плеханов.

¹⁾ «Как это по всему видно,—говорит Плеханов (т. VI, стр. 237),—он бы убежден, что решение социального вопроса «частными образом» невозможно в б- иинстве европейских стран. Есть основания думать, что и само государство имело бы в этих странах представлялось ему в виде вмешательства про- ельства, выдвинутого «скачком» (т. е. революцией.—Ю. С.). На это предположи- заводят и средние у него отступления, где он старается решить, насколько требо- иния здравой теории обязательны для правительства, поставленного историей : необходимость исключительно руководствоваться принципом: «salus populi ls suprema lex» (т. е. благо народа—высший закон).—Вот это и надо было помн- : не рассказывать сказки, будто Чернышевский, подобно утопистам начала 19 века, считал классовую борьбу вредной для общественного развития и тем самым представляла себе связь между экономическими и политическими задачами соци- листического движения.

²⁾ Потребительным товариществам не придавал значения и I Интернациона-

говорит: «о профессиональных союзах он упоминает чуть ли не один раз в статье «Капитал и труд»¹⁾. Конечно, известную роль сыграли при этом цензурные условия. В пример такого цензурного препятствия мы можем привести тот факт, что Чернышевский собрался посвятить особую статью забастовке английских строительных рабочих 1859 года за 9-часовой рабочий день, которую он характеризовал как один из грандиознейших конфликтов между трудом и капиталом (это кстати показывает, что иногда он придавал большое значение стачкам, а значит и профессиональным союзам рабочих); но не только статья эта не появилась, но и вообще в дальнейших политических обзорах Чернышевскому удалось обмолвиться об этой забастовке парой ничего не говорящих слов о том, что она еще не закончилась. Ясно, что здесь была вина не его, а цензурных препон. Но если цензура мешала, допустим, нашему автору много распространяться на тему о борьбе рабочих союзов, то о таких вопросах, как законодательство по охране труда и его социальное значение, он мог бы говорить довольно подробно²⁾. Остается допустить, что он не придавал ему особого значения, как одному из паднативных средств, к способных произвести серьезного улучшения в положении рабочего класса при сохранении современных общественных отношений, что он мечтал о революции, которая сразу положит конец капиталистическому строю без дальних проволочек. С другой стороны, здесь, несомненно, сказалось влияние русской обстановки, при которой этот вопрос не играл в то время особенной роли вследствие малочисленности фабрично-заводских рабочих и отступал на задний план в сра-

¹⁾ «В Англии мы видим, что работники составляют между собою громадные союзы для самостоятельного действия в политических и особенно экономических вопросах... В практике промышленные союзы (trades unions) работников представляют очень много соответствующего теории, которые у французов называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких имен, эти союзы подвергаются упрекам и коммунистических стремлениях только в особенных случаях, какковы, напр., колоссальные отказы от работы для прилюдения фабрикантов к выполнению заработной платы (Соч., т. VI, стр. 29). И это все. Насколько мало значения Чернышевский, повиднмому, вообще придавал деятельности профессиональных союзов, видно из его рассуждений о тенденции капиталистической эволюции понизить благосостояние рабочих масс. Пролетаризация самостоятельных производителей, говорит он, ведет к тому, что в составе рабочего класса пропорция наемных работников увеличивается, а самостоятельных хозяев уменьшется; а так как, при прочих равных условиях, в работнике-хозяине непременно (?) будет больше самоуважения, чем в наемном рабочем, то заработная плата последнего не удержится на уровне дохода наемного самостоятельного производителя. А, раз ичавшись, падение продолжается безостановочно (характерно, что и здесь Чернышевский не касается вопроса о «железной рабочей армии», дающей на уровень заработной платы). Но вышеуказанная тенденция капиталистического развития может парализоваться и даже переицаться другими противоположными влияниями. Однако и тут Чернышевский имеет в виду не роль организационной борьбы рабочего класса. Он указывает на «прогресс понятий и знаний», благодаря которому улучшаются законы и учреждения, и на связанное с этим развитие в рабочих чувства самоуважения («Примечания к Миллю», стр. 523—525).

²⁾ Даже в статье, казалось бы, специально посвященной этому вопросу («Экономическая деятельность и законодательство»), дается довольно абстрактный разбор вопроса о законности и неизбежности государственного вмешательства в экономические отношения. Можно подумать, что Чернышевскому осталась чужда точка зрения Маркса, провозгласившего закон о 10-часовом рабочем дне еще только крупным практическим успехом, но и победой принципа: впервые при ярком дневном свете политическая экономия буржуазии была побеждена политической экономией пролетариата» (Манифест Интернационала 1864 г.). А между тем, Чернышевский вовсе не относился абсолютно отрицательно ко всем реформам безразлично.

нению с вопросами о земле, задевавшими интересы подавляющего большинства населения ¹⁾).

Но дает ли нам все это право причислить Чернышевского к утопистам tout court? Мы отнюдь этого не думаем.

Что Чернышевского нельзя причислить к представителям «мелкобуржуазного социализма», ясно из всего предыдущего изложения «Коммунистический манифест», имея в виду Сисмонди, Пенкера, Видаля и других выразителей радикально-социалистической мелкой буржуазии ²⁾), указывает на следующие исторические заслуги мелкобуржуазного социализма: он с большой глубиной проанализировал противоречия, присущие капиталистическим отношениям производства; он разоблачил все лицемерие их апологетов-экономистов; неоспоримо доказал губительное влияние машинизма и разделения труда на рабочих, выяснил значение концентрации капиталов и поземельной собственности, перепроизводства, кризисов, нищеты пролетариата, анархии производства, вопиющего неравенства в распределении богатств, истребительной промышленной войны между нациями; он обнаружил разложение старых нравов, семейных отношений и национальностей. Но, наряду с этими достоинствами, мелкобуржуазный социализм страдал глубокими недостатками. Он критиковал капиталистическую систему с точки зрения устраняемых ею классов, мелких самостоятельных хозяев, — крестьян, ремесленников и лавочников. Его положительная программа сводилась либо к восстановлению старых способов производства и обмена, а вместе с тем старых имущественных и социальных отношений, либо к стремлению насильственно вогнать современные способы производства и обмена в тесные рамки старых производственных отношений, которые были ими разбиты и неизбежно должны были быть разбиты. В том и другом случае этот социализм был реакционным и утопическим. Для него последние словом в области промышленности была система ремесленных цехов, а в области земледелия — патриархальные отношения. Он верил в жизнеспособность мелкого хозяйства и идеализировал отношения «добротного старого времени». Но по мере того, как историческое развитие разбивало его иллюзии, он утратил бодрый тон и впал в слезливую меланхолию.

Все эти отрицательные черты мелкобуржуазного социализма были органически чужды нашему Чернышевскому. От идеализации патриархального варварства он был совершенно свободен; жизнеспособность мелкого производства он категорически отрицал; положительная же его программа сводилась отнюдь не к восстановлению мелкого ремесла или земледелия, а к планомерной общественной организации производства на началах коллективизма.

Но есть ли основания причислить нашего автора к представителям критически-утопического социализма? Посмотрим.

Прежде всего отметим два характерные факта. Первый состоит в том, что «Коммунистический манифест», переходя к критике уто-

¹⁾ Это обстоятельство отмечает и Плеханов (т. VI, стр. 134—135). «Наш автор нигде не касается вопроса о продолжительности рабочего дня и о фабричном законодательстве... (Дополнение 1910 года). Но понятно, что в России, едва развивавшейся с крепостным правом и обладавшей лишь очень мало развитой капиталистической промышленностью, вопрос о фабричном законодательстве не мог иметь такого практического значения, какое он имел в Англии уже с начала XIX века. Поэтому он и в теории не привлекал к себе внимания Чернышевского (характерная поправка через 20 лет!).

²⁾ Прудон, который в «Ничетте философии» характеризуется как выразитель тенденций мелкой буржуазии, в «Манифесте» отнесен уже к представителям «сервативного и буржуазного социализма».

ческого социализма, отказывается говорить о той литературе, которая в периоды всех значительных революций новейшей истории формулировала требования пролетариата (сочинения Бабефа и др.); равным образом он ничего не говорит о Бланки и его последователях, игравшим такую крупную роль в тогдашнем французском социалистическом движении. Очевидно, что бабунистов и бланкистов Маркс считал истинными выразителями интересов и стремлений рабочего класса¹⁾.

Другой факт заключается в следующем: Маркс, столь строго отнесшийся к писаниям и деятельности таких представителей европейского социализма, как, например, Прудон и Лассаль (из них последний был его собственным учеником), и таких представителей русского социализма, как Герцен, Бакунин и Нечаев, отнесся к Чернышевскому с величайшим уважением и глубокой симпатией. Крайне сдержанный в похвалах и скупой на лестные отзывы, творец научного социализма в послесловии ко второму немецкому изданию первого тома «Капитала» признал нашего автора великим ученым и критиком, мастерски обнаружившим банкротство буржуазной экономики. Такой же лестный отзыв о работах Чернышевского Маркс дает и в письме к русской секции Международного Товарищества Рабочих от 24 марта 1870 года, напечатанном в № 1 «Народного Дела» за этот год. «Такие труды,—пишет Маркс,—как Флеровского («Положение рабочего класса в России».—Ю. С.) и вашего учителя Чернышевского делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века»²⁾.

О глубоком уважении автора «Капитала» к Чернышевскому свидетельствует и лично знавший Маркса Лопатин. В письме к генерал-губернатору Восточной Сибири Синельникову от 15 февраля 1873 года, сданный под стражей Лопатин, рассказав, что Маркс, изучив русский язык, ознакомился с примечаниями Чернышевского к Миллю и с некоторыми другими статьями его, продолжает: «Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем, как остальные, суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли, и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы и т. д., и т. д.»³⁾.

Надо при этом заметить, что Маркс судил о Чернышевском не только на основании слухов и рассказов его учеников, а—как это Марксу обыкновенно было свойственно,—на основании личного знакомства с его сочинениями. «Значительная часть его сочинений мне известна»,—пишет Маркс Николаю—оному 18 января 1873 года. Полу-

¹⁾ Это подтверждается договором, который в 1850 году подписан был Марксом, Энгельсом и Видлихом от имени «Союза коммунистов», Адамом и Видликом—от бланкистов и Ю. Гэрри—от чартистов, и согласно которому основывалось «Всемирное общество революционных коммунистов». Документ опубликован в № 1 «Бюллетеня Института Маркса и Энгельса». М. 1926, стр. 10—11.

²⁾ В. А. Гурехов, Русская секция Первого Интернационала, М. 1925, стр. 40.

³⁾ Гертман Александрович Лопатин, Петр., Гиз., 1922, стр. 71.—Эти разговоры с Марксом несомненно повлияли на решение Лопатина добиться освобождения Чернышевского.

ив от Николая—она рукопись «Писем без адреса» Чернышевского, Маркс находит ее «очень интересной» и, видимо, хлопочет об ее опубликовании (письмо от 12 декабря 1872 г.). В том же письме Маркс выражает желание «напечатать что-нибудь о жизни и деятельности Чернышевского, чтобы вызвать сочувствие к нему в Западной Европе», и просит доставить ему фактические данные. К сожалению, этому намерению Маркса по каким-то причинам не суждено было осуществиться, но все это показывает, как высоко он ставил Чернышевского, и притом, что особенно важно, на основании изучения его произведений ¹⁾.

«Примечания к Миллю» Маркс читал внимательно, что доказывают многочисленные пометки, сделанные им на имевшемся у него экземпляре книги ²⁾. Впрочем, текстовых примечаний Маркса там немного: большая часть ограничивается вопросительными и восклицательными знаками. Естественно, что двойственный характер работы Чернышевского вызывает у Маркса попеременно то одобрительные, то отрицательные отзывы. С одной стороны, мы встречаем там такие замечания на полях, как «глупо», «какое заблуждение!», «дичя», «Чери. польтия не имеет о капиталистической производительности», а с другой—«хорошо», «браво!» (по поводу рассуждения Чернышевского об историческом характере невольничества и наемного труда; см. Сок. т. VII, стр. 213). Внимательно Маркс читал и «Статьи об общинном владении земель», изданные в Женеве в 1872-году, и статью «Трудли выкуп земли?» ³⁾.

Впрочем, на основании одних этих пометок на полях книг, делаемых при чтении для себя, нельзя умозаключать об отношении Маркса к Чернышевскому. Это—первоначальные наброски, отмечавшие и положительное, и отрицательное,—последнее естественно чаще и резче, чем первое. О действительном отношении Маркса к Чернышевскому можно судить по его печатным отзывам о нем, а, как мы видели, отзывы эти всегда носили похвальный и редкий у нашего строгого критика характер. Особенно же показательна в этом отношении та оценка, какую Маркс дал в беседах с Лопатиным эконоическим трудам Чернышевского, признавая его единственным оригинальным экономистом своего времени, мысли его—полными силой и глубины, а произведения его—единственно достойными изучения (а ведь Маркс вряд ли знаком был в тот момент, т.-е. в 1870 году, с замечательными историческими работами Чернышевского, а главное с его блестящими политическими обзорами, показывающими, как близко он подошел к новейшему коммунизму). Ясно, что этот лестный отзыв, чуть ли не единственный в устах сурового Маркса, имел некие-нибудь серьезные основания,—особенно, если сопоставить его со строгими отзывами Маркса о других крупных представителях социалистической мысли. И такие основания несомненно имелись. ⁴⁾

¹⁾ «Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю—опус». «Известия Госизда» 1908, № 1, стр. 50, 56, 57.

²⁾ Ф. Гизабург. Русская библиотека Маркса и Энгельса, в № 4 сборника «Группа Освобождение Трудя», Гиз, 1926, стр. 384 сл. Отметим досадный промах в статье Ф. Гизабург: ею не оговорено, что резкое замечание Маркса «глупо» (осел), сделанное к одному месту, находящемуся на стр. 623 т. VII Сочинений Чернышевского, относится не к нашему автору, а к Миллю, слова которого там приводятся.

³⁾ Отметим кстати, что из сочинений Добролюбова особенное внимание Маркса привлекало «Тениное царство», испещренное многочисленными замечаниями.

⁴⁾ Из переписки Маркса с Энгельсом видно, с каким вниманием Маркс отнесся к трагической судьбе Чернышевского, к суду над ним, к его ссылке покаторме в Вильюяск и пр. («Briefwechsel», т. IV, стр. 293 и 353). Для меня лично Я

Ленин также относился к Чернышевскому с величайшим уважением и любовью. Он называет его «великим русским гегельянцем и материалистом» и «великим русским писателем» ¹⁾, даже гением ²⁾. Признавая Чернышевского «главою немногочисленных тогда революционеров», Ленин восторгается не только его глубиной и непримиримой революционностью, но и его необыкновенной проицательностью, помогшей ему правильно разобраться в характере и взаимоотношениях русских общественных сил, разобраться в действительном характере «крестьянской реформы» 1861 года, оценить и заклеить историческую роль российского либерализма. В отличие от Плеханова, приписавшего Чернышевскому готовность пойти на уступки царизму в интересах крестьянского дела и склонность к мирному решению социального вопроса, Ленин правильно подчеркивает «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности», его желание полного провала правительственной политики и либерального обмана, провала, который «вывел бы Россию на дорогу открытой борьбы классов». Предсказанные Чернышевским результаты крестьянской реформы Ленин называет «гениальными прозрениями» ³⁾. После приведенной выше цитаты об утопических надеждах Чернышевского на общину (как мы показали, на самом деле ошибочно истолкованных) Ленин продолжает: «Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя—через препоны и рогатки цензуры—идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Крестьянскую реформу» 1861 года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже пропавляли, он назвал м е р з о с т ь ю, ибо он ясно видел ее крепостнический характер. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал «болтунами, хвастунами и дурачьем», ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед властью и мушши» ⁴⁾.

Итак, Ленин считал политическую тактику Чернышевского правильной, подчеркивая выдвинутую им идею революционной борьбы масс за свержение всех старых властей. А уже в вопросах революционной стратегии Ленин знал толк...

Вообще можно сказать, что других отзывов, кроме положительных, мы у Ленина о Чернышевском не находим. Единственное место, где он говорит об утопизме Чернышевского, спеша, впрочем, тут же снять свой отзыв, в связи с отношением нашего автора к вопросу о грядущих судьбах русской общины, не является в данном случае характерным и вдобавок, как мы видели, основано на недоразумении, получившем, к сожалению, право гражданства в нашей литературе.

Сей пор остается спорным вопрос о том, знал ли Маркс о планах Лопатина основать Чернышевского. Во всяком случае, весьма вероятно, что высокое мнение Маркса об основоположнике русского коммунизма не осталось без влияния на решение Лопатина, стоявшего тогда близко к Марксу и беседовавшего с ним о Чернышевском, сделать попытку к увозу последнего из Сибири.

¹⁾ «Материализм и эмпириокритицизм» (Собр. соч., т. X, стр. 304); цитату из этой книги Ленина мы приняли в статье «Философские взгляды Чернышевского», напечатанной в «Под Знаменем Марксизма» 1927, № 5.

²⁾ «Что такое друзья и врады?» (Собр. соч., т. I, стр. 194—195). Так как это—первая крупная работа Ленина, то мы вправе заключить, что в сформировании его взглядов сказвалось влияние не только Маркса, но и Чернышевского.

³⁾ Ibid., стр. 193—195.

⁴⁾ Соч., т. X, ч. 2, стр. 263.

Но присущи ли были Чернышевскому те специфические черты, которыми отличались основатели утопических систем и их последователи?

Авторы этих систем прекрасно сознавали существование антагонизма классов ¹⁾, а также элементов разложения внутри современного общества; они безжалостно разоблачили материальное и моральное ожесточение буржуазного мира, противоречия современного строя, расширяющее действие капитализма, обнищание производителей и неспособность буржуазии использовать производительные силы современного человечества. Поэтому в свое время они дали весьма ценный материал для пробуждения сознания рабочих, а впоследствии и для построения системы научного социализма. Но они не видели в союзе с пролетариатом никакого самостоятельного исторического действия и не понимали значения его политического движения. Самодеятельность рабочего класса должна была таким образом уступить место деятельности их собственного критического ума; материальные условия эмансипации, подготовляемые историческим процессом капиталистической эволюции, — условиям, придуманным с помощью воображения; а вся будущая история человечества сводилась для них к пропаганде и к попыткам практического осуществления придуманных ими в кабинетной тиши проектов общественного переустройства.

Сочиняя свои утопии, они сознавали, что защищают интересы рабочего класса. Но в пролетариате они видели только наиболее страдающий, обездоленный и заслуживающий сожаления класс, не понимая его исторического призвания и значения его классовой борьбы, окая, что сами они стоят выше классового антагонизма, над классами, общая всем классам безразлично улучшение их участи, для осуществления придуманных ими планов обращались к человеческому разуму вообще, ко всему обществу и даже преимущественно к правящим классам, как обладающим силой, богатством и просвещением. Поэтому они отвергали всякую политическую деятельность, особенности деятельность революционную, способную только привлечь внимание общества от важных социальных задач и перепутать все расчеты основателей утопических систем. Эти системы должны были осуществлены в стороне от шумных исторических передовых конфликтов, испробованы на опыте, на устройстве отдельных коммунистических общин, колоний или фаланстеров, успех которых должен убедить все общество в справедливости утопических планов. Потому утописты, особенно зпигоны утопизма, ожесточенно противились всякой политической деятельности рабочего класса, в которой они видели только результат политической невоспитанности и некультурности ²⁾.

¹⁾ Фурье и Консидеран, но особенно Сен-Симон и Базар, подготовили почву для умения о борьбе классов. В этом отношении Сен-Симон оказал влияние на Маркса и на Чернышевского.

²⁾ В «Манифесте социетарной (т.е. фурьеристской) школы» 1841 года говорится, что революционные идеи, как основанные на насилии, суть идеи лживые. Подчеркивается, что социетарная школа не есть какая-нибудь политическая партия. Консидеран в своей книге «Destinée Sociale» доказывает, что социальная реформа есть дело науки, а не революции, которая способна только противопоставлять один интерес другому, а не примирять враждебные силы. Фурьеристы при всяком удобном случае выставляли на вид свой политический шовинизм и свое отрицательное отношение к политической борьбе; их доктрина предполагала не только чисто промышленную, но и абсолютную мирную. Там же: Сен-симонистов, Базар, в этом отношении не отставал от них. «Гора умножит свою высоту и лагуны призывом к оружию!» — говорит он в своем «Манифесте сен-симонистской доктрины». Оузи, представлявший свои проекты на конгрессе

И опять-таки, все эти черты утопистов совершенно чужды были Чернышевскому. И даже если допустить, что он думал о практической осуществимости своего «плана» (чего, как мы показали выше, и думать не приходится), если даже признать, что он, подобно утопистам, видел в основании производительных ассоциаций способ доказать преимущества товарищеского хозяйства над капиталистическим и орудие пропаганды новых идей, то здесь нужно будет констатировать колоссальную разницу между ним и утопистами. Во-первых, он никогда не объявлял основание ассоциаций единственно и единственным средством социального преобразования, не пытался доктринерски наказать рабочему классу эту единую форму и не противопоставлял ее историческим формам рабочего движения; во-вторых, он не только не отрицал политической борьбы и политических задач пролетариата, наоборот, упрекал социалистов в рабости и непоследовательности при осуществлении этих задач, в частности по вопросу о захвате политической власти и революционной диктатуре¹⁾. Политический индивидуализм, узкая исключительность изобретателя философского шара, кабинетного мыслителя, мечтающего облагодетельствовать «глухое человечество» своими гениальными выдумками и свысока поглядывающего на беспомощное барахтанье непросвещенных масс в путях исторического водоворота,—словом, сектантская самоуверенность и педантизм были ему абсолютно чужды²⁾.

Как всякий политический деятель и социальный новатор, он, конечно, придавал большое значение пропаганде, но в отличие от утопистов он ничуть не верил в абсолютную силу идей, способную перебить и заглушить голос классовых интересов. Поэтому он меньше всего думал обращаться со своей проповедью к господствующим классам, никогда не апеллировал ни к их сердцу, ни к кошельку и не

подарил, участников Священного Союза, также отличался политическим безразличием; он признавал одинаково безумными и существующие правительства, и революционных социалистов. А оутисты в Англии боролись против чартистов и решительно отвергли союз с людьми «физической силы». Для политического индивидуализма утопистов характерно, что сен-симонисты удалились в свою сектскую колонию, в Мендильмонтском предместье, в тот самый день, когда на соседних улицах Парижа происходило республиканское восстание, вызванное похоронами генерала Ламарка, а первый авангард икаррийцев отплыл в Америку для основания коммунистического поселения за три недели до февральской революции 1848 года!

¹⁾ Сен-симонисты он осуждает между прочим, и за их политический индивидуализм, за сектантский исход в новый Иерусалим: «Торжественное вступление сен-симонистов в новый порядок жизни происходило 6 июня 1832 года, в тот самый день, когда соседние кварталы Парижа были театром республиканского восстания, возбужденного процессиею похорон Ламарка. Безмятежно приступая к делу внутренней организации среди грома пушек, истреблявших малочисленные отряды инсургентов, сен-симонисты как будто показывали, что нет ни никакого дела до старых радикальных партий, идущих к преобразованию общества путем, который сен-симонисты считали ошибочным, и даже непонимающим, какие реформы нужны для общества; отрекаясь от старого мира, они отреклись даже и от людей, которые больше всех других в старом мире хотели добра простоявшему (Французская монархия, I с., стр. 146).

²⁾ Это же существо признает и Плеханов (т. VI, стр. 28—30): «Несмотря на эмпирический характер своей социалистической мысли, Чернышевский, при своем живом уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности, и не принадлежал к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже вредными все острые экономические реформы... В общем, можно, однако, сказать, что, так как идеалом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он готов был поддерживать все, в чем видел малейший наметок на принцип ассоциации... С точки зрения большей легкости устройства ассоциаций отставал Чернышевский в своем обычном землевладеии».

мечтал о притуплении классовых противоречий или о примирении противоположных интересов. Напротив, все свои надежды он возлагал на классовые интересы трудящихся, на развитие их сознательности и на их политическую активность. И, несмотря на свое идейное одиночество, он никогда не верил, как это при аналогичных условиях делал Сен-Симон,² в необходимость кучки просвещенных избранных, которые должны думать и действовать за народ³).

На практическую программу Чернышевского имела влияние деятельность чартистов и французских социалистов 40-х годов. Те и другие стремились к преодолению капитализма посредством политического переворота, концентрированного политического действия и добивались всеобщего избирательного права как орудия, обеспечивающего влияние трудящихся масс на государство; те и другие обращались не к состраданию и доброй воле правящих классов, а к эксплуатируемым массам, к пролетариату; те и другие смотрели на государство, на организованную силу общества, как на орудие, с помощью которого им удастся, предварительно наложив на него руку, осуществить свои социальные требования. И если в области научной критики капитализма Чернышевский во многом был учеником Фурье, Оуэна и Сен-Симона, то в области практических действий и методов политической борьбы он примыкал скорее к бланкистам и чартистам.

И, применяя к нему известные слова Маркса, мы должны сказать, что в его руках «наука становится сознательным продуктом исторического движения; она перестает быть доктринерской, она становится революционной»⁴).

Наше мнение в этом пункте расходится с мнением Плеханова, который считает Чернышевского утопистом. К сожалению, указанный стремлением во что бы то ни стало доказать утопизм Чернышевского, Плеханов иногда невинмательно его читает и делает из его слов произвольные выводы. Выше мы видели уже несколько примеров такого неправильного подхода к Чернышевскому. Приведем здесь еще один.

Указав на то, что в исключительных случаях правительство, по мнению Чернышевского, должно руководствоваться принципом «закона народа — высший закон», Плеханов (т. VI, стр. 237—238) продолжает: «Вот, например, теория безусловно осуждает чрезмерные выпуски бумажных денег. По теории выходит, что лучше прямое, открытое решение вопроса — налог. Так и должно поступать правительство, чувствующее себя прочным. Но бывают исключительные положения, бывают исключительные события, в роде событий 1848 года во Франции. В этом (?) шатком положении приходится лавировать, сообразоваться с господствующими предрассудками, принимать не тот способ действия, который сам по себе лучший, а тот, который произведет наименее тяжелое впечатление на общество. Что делать? Тут задача исполняется не такими (?) людьми, которые спокойно могут рассчитывать на свою будущность⁵, а такими (?), жизнь которых висит на волоске, а волосок этот оборвется непременно (?), оборвется, не имея, завтра (?) оборвется, и погибнет с ними их дело, если волосок оборвется ныне, — во что бы то ни стало надобно продержаться нынешний день, чтобы уметь хотя что-нибудь

¹) По Чернышевскому, — говорит Плеханов (т. VI, стр. 22), — раз открыта истина становится доступной всем людям, имеющим материальную выгоду и понимание. Это — утопический взгляд на вопрос. Вот уж несколько!

²) Ницше, Философия, стр. 117.

³) Смысл наставленных нами вопросов читатель поймет ниже.

сделать. Да, представьте себе это положенное, и вы поймете мысль о неограниченном выпуске бумажных денег для произведения коренных реформ экономического быта» (Чернышевский, Соч., т. VII, стр. 475—476).

Вы поняли, о чем здесь говорится, читатель? Нет, не поняли, ибо из книги вырван отдельный пассаж, и вырван довольно произвольно. Плеханов сам чувствует, что в таком виде читатель ничего не поймет, и он подносит ему новую цитату, поставленную, правда, на изнадлежащее место,—в конце, вместо того, чтобы стоять в начале. Итак, он поясняет: «Выпуск бумажных денег предполагается здесь необходимым, в видах организации рабочих товариществ (как увидим, у Чернышевского говорится вовсе не об «организации рабочих товариществ»: это догадка Плеханова.—Ю. С.): «разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами; но, чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег».

Теперь дело стало несколько яснее, но не вполне, и смысл поставленных нами выше вопросительных знаков еще будет выяснен дальше. Однако Плеханов спешит сделать вывод: «Замечательно, что у Чернышевского правительство, начинающее коренное изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистов» (вот и третий обрывок разорванного зачем-то на части пассажа, тот обрывок, который Плеханов выше интерпретировал, как «организацию рабочих товариществ», что совсем не одно и то же.—Ю. С.), старается не запугать общество, т. е. этих (?) капиталистов, не привести на них тяжелого впечатления».

Действительно «замечательно». Каким же чудачком был этот Чернышевский! Но Плеханов не успокаивается на достигнутом триумфе. Книга его подходит к концу (это—последняя страница его сочинения о Чернышевском), и нужно на прощанье окончательно ялболбить в голову читателя, что Чернышевский был утопистом и, как выходит, довольно-таки отсталым. И вот Плеханов на одну цитату нанизывает другую, столь же произвольно вырванную из контекста. Приводим эту цитату, взятую из того же тома сочинений Чернышевского, стр. 566:

«Мы приводили основания, по которым некоторые экономисты находят наилучшим порядком такой быт, который существенно разнится от нынешнего; содействовать введению этого лучшего быта можно, не нарушая заметным образом никаких существенных интересов; а прогрессивный налог значительного размера был бы явно противоположен интересу богатых классов, которые всеми силами боролось бы против него, между тем, как прочное и благоразумное правительство могло бы, несколько не раздражая их, вести дело коренной реформы быта» (подчеркнуто оба раза у Плеханова).

И Плеханов делает свой заключительный вывод: «Одни эти строки могли бы убедить нас, что в лице Чернышевского мы имеем дело с социалистом-утопистом».

Нам кажется, что вывод этот, сделанный из двух цитат, пристрастных на самый конец книги, даже слишком слаб. Чернышевский оказывается не только социалистом-утопистом, но даже весьма ограниченным и слишком умеренным социалистом-утопистом, да еще социалистом ли вообще, это—тоже вопрос!

Но не так страшен чорт, как его малюют. В действительности, у Чернышевского сказано в обоих случаях не совсем то, что вычитал

него предубежденный Плеханов, обычная проициательность которого на сей раз отступила перед предвзятой мыслью о характере оценок Чернышевского. Вот как обстоит здесь дело.

Случай первый.

Чернышевский, указав на вред чрезмерного выпуска бумажных денег, прибавляет, что имеется тем не менее много замечательных теоретиков, допускающих такие выпуски в целях проведения важных экономических реформ. Для некоторых из таких предприятий, так, напр., для постройки железных дорог, устройства орошения и т. п., выгодных для господствующего класса, правительство найдет нужные средства в биржевых кругах. «Но,—продолжает он,—если улучшения совершенно иного рода, которых никогда не захотят совершить собственными средствами господствующие над экономическим бытом силы. Это—реформы, которыми бы изменились принципы устройства, выгодного для них. При малейшем подозрении, что правительство намерено заняться такими реформами, коммерческий мир тревожится, наступает торговый кризис, и деньги исчезают с бирж. Так было во Франции в 1848 г.; тогда страх и озлобление коммерческого мира были совершенно напрасны: во Временном правительстве господствовали люди, решительно не желавшие никаких важных перемен в экономическом быте (теперь подчеркивать будем мы,—Ю. С.). Но предположим, что оно действительно желало бы совершить какие-нибудь перемены. На всякое дело нужны деньги; на такое большое дело, как изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистам, нужно очень много денег. Разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами, но чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег. Это—один из тех экстренных случаев, которыми оправдывается заключение долгов: требуется поставить на ноги миллионы людей, забитых нуждой, избавить их от бедственной судьбы. Чтобы прекратить постоянное несчастье, тяготящее над массой населения, на это и должен был бы поспешить кредит с своим пособием. Но кредит не может пособить тут, потому что кредита нет. Откуда же взять деньги?»

Сообразнее всего с экономической теорией было бы прямое, открытое решение вопроса, которое рекомендуется теорией и для всяких экстренных государственных расходов: взять нужные для дела деньги посредством налога. Так, если правительство чувствует себя прочным. Но вспомним, что мы говорим о временах, подобных 1848 году, и во Франции, когда правительство едва-едва держалось против партий, желавших возвращения к старому порядку. В этом шатком положении и т. д. (как у Плеханова).

Собственно говоря, все это рассуждение Чернышевского о чрезмерном выпуске кредитных билетов дано вовсе не для разъяснения теории денег, а для проведения под носом цензуры мысли о том, что в интересах социальной революции не следует останавливаться на перед как на исключительных мерах. Говоря о деньгах, Чернышевский думает совершенно о другом. Это ясно из замечаний, которые он поминутно вставляет в якобы отвлеченное рассуждение о бумажных деньгах. «Нечего жалеть ничего,—говорит он,—для улучшения судьбы народа: *salus populi lex suprema est*». И кончает главу словами: «Если дело стоит пожертвований, люди, не отступая

ше перед ними, оправдываются историей». Дело ясно. Рассуждение о деньгах Чернышевский использовал для своей постоянной цели — для доказательства, что революция осуществляется с помощью героических решений и нарушения всех общепринятых норм, которые не должны связывать волю революционеров.

Но оставим эту сторону вопроса. Подойдем к рассуждению Чернышевского так, как к нему подошел Плеханов. Можно ли и в этом случае сделать из слов Чернышевского тот вывод, к которому пришел его критик? Думаем, что нет.

В чем заключается исключительность положения, о которой говорит Чернышевский? В том ли только, что мы имеем дело с революционной эпохой, как следует из положения Плеханова? В этом ли революционному характеру эпохи заключается шаткость положения, как выходит по изложению Плеханова? Ничего подобного. Шаткость положения, по точному смыслу слов Чернышевского, заключается в характере правительства, висящего в воздухе, и не опирающегося прочно ни на один класс общества. Так как эта центральная фраза пропущена Плехановым, не обратившим на нее внимания, то все его изложение стало поэтому неясным. Именно эти объясняются те вопросительные знаки, которые мы наставили в приводимой им цитате. Чернышевский говорит о колеблющемся, шатающемся, непостоянном правительстве, с трудом держащемся против буржуазных партий, принуждением с ними считаться, принужденном набегать мер, способных задеть интересы буржуазного общества, не смеющем прямо взять у него нужные деньги и т. д. Для такого правительства, если оно хочет хоть что-нибудь сделать для пролетариата, Чернышевский считает дозволительным прибегнуть к такой мере, как экстренный выпуск кредитных денег. А Плеханов отсюда заключает, что Чернышевский рекомендует революционному социалистическому правительству не запугивать общество, относиться бережно к капиталистам и т. п. На самом же деле Чернышевский, как никто, постоянно бичевал нерешительность революционных партий, останавливавшихся перед крайними мерами, считавшихся с предрассудками, не готовых идти до конца для доставления успеха революционному делу, и колебаниями революционеров объяснял систематические неудачи революций. Это, впрочем, ясно даже из тех вставок, которые он там и сям делает в изложенное рассуждение о выпуске бумажных денег.

Случай второй.

Вторая выдержка, приводимая Плехановым из Чернышевского¹⁾, еще скандальнее для последнего. Но и здесь дело обстоит не так, как можно было бы думать по этой цитате без обращения ко всему контексту подлинника. Цитата взята из главы «Налог». Говорится о прогрессивном налоге, его достоинствах и недостатках. Многие публицисты, говорит Чернышевский, высказываются за прогрессивный налог ввиду того, что он может, дескать, способствовать более равномерному распределению богатств. Чернышевский, признавая некоторые положительные качества прогрессивного налога, однако, прибавляет, что он «имеет совершенно иной недостаток: он — не радикальная, а только паллиативная мера,

¹⁾ Кстати, в Сочинениях Плеханова (т. VI, стр. 238) здесь вкралась опечатка: ссылка сделана на т. IV Сочинений Чернышевского; нужно: т. VII. Но это, вероятно, ошибка издательства.

притом установить его в значительном разре было бы гораздо труднее, чем принять еры, прямее и полнее ведущие к той же цели. ыльше идут слова, приведенные Плехановым и послужившие ему нованием для вынесения строгого приговора Чернышевскому, после го у Чернышевского есть еще и продолжение, Плехановым не при- димое, а именно: «Надобно предпочитать реформы более легкие и лее существенные прогрессивному налогу, который, не уничто- ая источников нынешнего зла, только стал бы убым, образом обрезать крайние его про- вления».

Милль указывает такую меру—ограничение права завещания вестной суммой. Но Чернышевский и ее находит паллиативной и ьедовольно решительной».

«Мы,—говорит он,—совершенно согласны с Миллем в том, что ьраздо лучше действовать на самый источник невыгодных для обще- ва явлений, чем только бороться с их результатами. Но ведь пред- лагаемые Миллем меры относительно наследства точно так же, как прогрессивный налог, прилагаются к невыгодному явлению в сли- зи поздней поре его развития, к факту уже выросшему, а не к зары- шу этого факта. Очевидно, что они, подобно прогрессивному злогу, имеют только характер паллиативного средства, и реко- ендовать их принятие надобно только в тех лучаях, когда нет надежды на проведение мер олее широких. Только в подобных случаях надобно рекомендо- вать и прогрессивный налог. Он годится, как переходная мера, при- агаемая к такому быту, который не соответствует условиям эконо- мической выгоды и который нельзя же в один день заменить бытом, ьответственным требованиям теории». Изменить нужно «самую эконо- мическую обстановку»,—говорит он далее и заключает: «Словом казать, вопрос о налогах последовательным образом разрешается тот вывод, что удовлетворительное его решение не- озможно при существующем быте... Другое заклю- ение—то самое, к какому приводил нас и всякий другой частный ьпрос: должны измениться самые основания эконо- мического быта»²⁾.

Итак, ясно, что Чернышевский отвергает все паллиативные меры, направленные к смягчению классовых противоречий, настаивая на еобходимости радикального преобразования буржуазного общества, а отмене самого принципа частной собственности. Он—за меры более ьирокое, более радикальные, чем прогрессивный налог, ограничение ьследства, специальный налог на ренту и т. п. При таких условиях лова насчет «нераздражения богатых сословий» являются просто ьронией. Зачем раздражать капиталистов такими пустяками, как про- ьессивный налог и пр.?—как бы говорит Чернышевский. Ведь они ьдут недовольны и такими мерами, хотя они не задевают источника х господства. Давайте уж просто покончим с режимом частной со- ьственности: это будет вернее. Умное и твердое революционное пре- ьительство так и должно действовать—ударить по самым корням ка- ьпиталистического строя.

Вот что говорит Чернышевский в этой главе о налогах, как и о ьсех других.

²⁾ Чернышевский, Соч., т. VII, стр. 562, 565—566, 567, 574, 581.

Однако в очень близкое наступление социализма и притом без переходной стадии Чернышевский не верил. В этом отношении он смотрел на вещи более сдержанно, чем, например, Маркс и Энгельс в конце 40-х годов (впрочем, при впечатлении печальной российской обстановки того времени это вполне естественно). В статье «Экономическая деятельность и законодательство» (1859 г.) он говорит, что мы еще очень далеки от социализма, «быть может, и не на тысячу лет, но, вероятно, больше, нежели на сто или на полтораста»¹⁾. Вот почему надежды Чернышевского на общину не следует истолковывать в таком смысле, будто он допускал возможность внезапного скачка в русского варварства с его безграмотностью и деревянными колесами сразу в коммунистическое тысячелетие. Вероятно, он полагал, что если история, которая, «как бабушка, страшно любит младших внуков», сложится особенно благоприятно для русского народа, то получится нечто в роде того, что за последние годы называлось у нас «трудовой республикой», а в таком случае сохранение общины даст возможность постепенно переходить к настоящему коллективному хозяйству с применением машин.

Но, не веря в непосредственную близость социализма, Чернышевский полагал, что необходимо уже теперь изучить социалистический строй в его основаниях, «иначе мы будем сбиваться с дороги»²⁾. Если сейчас нелегко полное и окончательное осуществление социалистического строя, то теоретически, быть может, мыслимо частичное осуществление некоторых сторон будущего строя. «Разве не случается,—говорит Чернышевский,—что мыслитель, развивающий свою идею с одной заботой о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одною частью своей системы, удобоисполнимую и для настоящего?» Вот почему Чернышевский считает не бесполезным, сохраняя целостность своих социалистических стремлений, «поговорить и о возможном в современной действительности». И дальше Чернышевский повторяет свои или производимые ассоциации, составленный по Фурье и Луи Блану, оговариваясь, что это лишь одно из «предположений, имеющихся в виду границы возможного для нынешней эпохи»³⁾.

Не следует полагать, будто Чернышевский допускал частичное осуществление социализма при господстве буржуазии. Об этом свидетельствует тот факт, что, повторив свой план в «Примечаниях к Миллю», он снова указывает на неосуществимость даже столь широкого проекта при настоящих условиях. Следовательно, он имел в виду промежуточную стадию между капитализмом и полным ком-

¹⁾ Соч., т. IV, стр. 450.

²⁾ Ibid., стр. 329.

³⁾ «Примечания к Миллю», стр. 634 и сл.

⁴⁾ В этом отношении на Чернышевского, несомненно, оказало влияние учение Фурье о гарантизме, как промежуточной стадии между капиталистическим строем (цивилизацией) и социалистическим (социетарным строем, гармонией). Гарантизм у Фурье, это—такой социальный уклад, при котором частные интересы, существующие в цивилизации, будут подчинены гарантиям общественного интереса. Абсолютное право частной собственности будет ограничено; фикционные налоги которые организуют производство и торговлю на товарищеских началах; введена будет система широкого государственного страхования граждан от всех несчастных случаев; организована будет широкая общественная помощь безработным к проч. Словом, система неограниченной конкуренции будет устранена, а государственное вмешательство в экономические отношения получит особое развитие в интересах трудящихся масс, если только человечеству не удастся сразу перейти от цивилизации к гармонии, минуя стадию гарантизма.

мунизмом после низвержения буржуазии и в течение периода революционной диктатуры. Но свидетельствуют ли допущение такого переходного периода между буржуазным и законченным коммунистическим строем об утопизме? Нисколько. Напротив, оно говорит только о глубоком реализме нашего автора. Вспомним, что и Каутский в своей брошюре «На другой день после революции» говорит о постепенном осуществлении социализма,—правда, после захвата власти пролетариатом; но ведь и Чернышевский думал о предварительном установлении революционной диктатуры, низвергшей власть буржуазии. Не забудем далее, если взять эпоху, более близкую к Чернышевскому, то конгрессы Интернационала, на работы которых со стороны влияли и Маркс, допускали даже частичное осуществление социализма еще в рамках буржуазного строя (куда они относили национализацию земель, национализацию железных дорог, каналов и рудников и передачу их рабочим ассоциациям и т. п.). Промежуточную стацию между капитализмом и коммунизмом допускал и «Коммунистический Манифест». Ее же допустила и история в лице нашей Советской Социалистической Республики.

Итак, мы видим, что Чернышевского нельзя отнести к утопистам без многих и многих оговорок. От утопистов Чернышевский отличается в своем историческом детерминизмом, и своей, довольно твердой, держанной в материалистическом духе, философией истории, и своим реалистическим отношением к действительности, и своей оценкой движущих сил истории. Правда, во многих вопросах Чернышевский ошибался; иногда он сбивался со своего в общем реалистического тона. Но и самые его ошибки свидетельствуют о могучих задатках этого выдающегося ума, который, в силу неблагоприятной окружающей его общественной обстановки и в силу несчастливо сложившихся личных условий, не успел продумать и развить до конца свою систему. Но ничего легче, как критиковать, и только критиковать недоговоренности, противоречия и промахи Чернышевского с точки зрения современной науки. Но это—неблагодарная задача, способная скорее запутать, чем выяснить истинный облик Чернышевского и место, занимаемое им в истории социалистической мысли. Из всех предшественников Маркса (а на Чернышевского, по характеру окружающей его исторической обстановки, следует смотреть именно как на предшественника, а не современника Маркса) он ближе всех подошел к научному социализму¹⁾.



¹⁾ Плеханов (т. VI, стр. 342) говорит: «Исследователи, подобные Ю. М. (о нем идет речь о Чернышевском) стесняются признать Чернышевского социалистом-утопистом. Но это совсем напрасно. Быть в такой компании, к которой принадлежит Рудольф Оуэн, С.-Симон и Фурье, отнюдь не зазорно».

Знаю, что не зазорно. Но вовсе не этим соображением руководствовались, пытаясь опровергнуть неверные оценки моего учителя Плеханова, а желание было объективным и выяснить действительное место Чернышевского в истории социалистической мысли. Платон—друг, но истина—еще больший.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Печатаемые ниже статьи Р. Люксембург и А. Панекука были написаны для сборн. „Принципы и тактика германской социал-демократии“ в 1906—7 г.г. и предназначались для русского читателя. Однако благодаря изменившимся политическим условиям, эти сборники, а также статьи в свет не появились. Несмотря на то, что статьи написаны свыше 20-ти лет тому назад, они не потеряли своего интереса и актуальности.

В настоящее время статьи Р. Люксембург и А. Панекука печатаются впервые, и были (в русском переводе) любезно предоставлены редакции тов. С. А. Левитиным, за что редакция выражает ему свою благодарность.

Разбитые надежды.

Роза Люксембург.

Отношение всей буржуазной прессы к тому, что происходит в нашей партии, еще лишний раз безошибочно точно показывает, как классовый инстинкт всегда торжествует над внешними разногласиями буржуазных партий, спланивая их воедино. Они опять вместе и единодушны: национал-либералы и Центр, нагавещанный Эртель и наследники тетки Фосс¹⁾. Единодушны в бурной радости и криках ликования по поводу печальных явлений в рядах социал-демократии. Одни радуются по поводу «взаимного истребления», которое, наконец, вышло, и которое обещает осуществить давно желанную прекрасную надежду, что социал-демократия, против которой на буржуазных полях до сих пор еще не придумано и не выросло никакого противо-ядия, в конце концов, сама себя «растерзает». Другие же торжествуют по поводу крушения надежд и окончательной неудачи, которую потерпели некоторые академические круги (интеллигенция с университетским образованием) среди социал-демократии, усматривая, якобы, в этом крушении неоспоримое доказательство того, что между «образованным человеком» и «слепой массой» «темного народа» зияет «пропасть, через которую нельзя перебросить мост» (бериштейнство), и что при всякой попытке перепрыгнуть через эту пропасть «неизбежно сломаешь себе шею».

Третьи же ликуют по поводу того, что социал-демократия отныне больше уже не посмеет, не сможет задирать голову и смотреть на буржуазные партии и на весь буржуазный мир сверху вниз, потому что теперь у нее в собственном доме такое же разложение и деморализация, какую она раньше разоблачала у других—«tout comme chez nous», «совсем как у нас», и все в унисон затягивают хором известную старую песню: «Конец авторитету социал-демократии наступил окончательно, ее внутренняя сепарация и хваленая дисциплина и насилие уничтожены навсегда».

Комедия ликования разыграна хорошо, лицемерная радость мастеров хорошо подделана, до того хорошо, что одна наша партийная газета приняла это всерьез, как искреннее «злорадство» наших врагов,

¹⁾ Центр — партия клериков. Эртель — вождь национал-либералов. «Тетка Фосс» — «Фосште Цейтунг» — орган свободомыслящих.

даже сочла нужным с патетическим вздохом обратиться на это внимание нашей партии, как на предостережение и призыв к отрезвлению.

И все же очень немногие тонкого, заостренного слуха достаточно для того, чтобы среди всего этого громкого концерта радости и ликования расслышать звуки скрежета зубового и разочарования и недергаемой ярости. Именно всеобщее сочувствие буржуазной прессе, те симпатии той паре «образованных людей», якобы обиженных жестоко воюющей стаей варваров, как раз издевки насчет «слепой массы» и ее «буйства против университетски образованных» — доказывают ясно, где самое больное место той раны, на которую партия теперь беспощадно надала палец.

Во всяком случае, в современной буржуазной среде естественно должно показаться смешным и до известной степени «варварским» тот шум, который подняла социал-демократия из-за таких «пустяков», какие в буржуазных партиях не вызвали бы ничего, кроме молчаливого пожимания плечами насквозь понимающих друг друга союзников: в самом деле, не курьезно ли, что трехмиллионная партия зрелых людей так горячится, так близко принимает к сердцу, как акт первостепенной государственной важности, такой пустяк, как несколько «неискренних поступков и выступлений» своих членов. Что значит это в сравнении с той суммой лжи, которую успевает набрехать одна только депутат консервативной партии в течение одного только заседания рейхстага? Ведь в сравнении с этим «неискренности» бернштейниадов — только жалкое мерцание салюной свечки, утопающее в ослепительном блеске полуденного солнечного света...

Конечно, чисто личным, прямо «постыдно» «личным», стал у нас теперь спор с ревизионистами (бернштейнианцами). В этом мы с сокрушением должны сознаться. Мы находимся далеко не в таком удобном привилегированном положении, как национал-либералы и партия центра, юнкерство (крупное дворянство) или свободомыслящие, для которых политическая деморализация и обман масс служит основой существования партии, где каждый индивидуальный, недостойный поступок (проделка единичной личности) бесследно растворяется, как капля воды в море химически-однородной стихии.

Впрочем, если буржуазия ополчается как раз на возмущение пролетарской массы против единичных явлений разложения среди «университетски образованных» интеллигентов, то надо отдать ей справедливость, что буржуазия верным инстинктом почуяла здесь как раз ту сторону современного рабочего движения, которая за последние 50 лет, имела для нее роковое значение: это произведенный социал-демократией радикальный переворот во взаимоотношениях между «массой» и «вождем».

Меткое и едкое слово Гете насчет «отвратительного большинства», которое состоит из немногих крепких вожаков, из шельмцов и пройдох, которые примазываются, из слабых, которые приспособляются, и из «массы», которая «следует», сама совершенно не зная и не ведая, чего она хочет — это гетевское определение ничто иное, как классическая схема «большинства» среди буржуазных партий, господствующего там соотношения между массой и вождями. Во всех предшествовавших случаях классовой борьбы, которые велись в интересах меньшинства или в тех случаях, когда, — как говорит Маркс, — «вся совокупность исторического развития находится в прямом противоречии к интересам большой массы народа», — там темнота и несознательность массы («слепой») о своих собственных целях составляют материальное содержание и пределы исторического процесса.

(Aktion), да, пожалуй,—создают предварительные условия для этого процесса. Это «непонимание» создавало также специфическую историческую почву, на которой процветало «предводительство» «образованных» «вождей» из буржуазии, с одной стороны, и «приверженность» «следующих» за ними «масс»—с другой.

Но чем основательнее становится нарастающий исторический процесс (Aktion),—писал Маркс уже в 1845 году,—тем шире становится и размеры самой массы, носительницы этого процесса». Пролетарская классовая борьба, это—самый «основательный» из всех, предшествовавших до сих пор, исторических процессов, она охватывает все низшие народные слои и она—первый, со времени существования классового общества, исторический процесс, прямо отвечающий социальным интересам самой массы.

Здесь понимание массы своих задач, интересов, целей и путей является поэтому в такой же степени исторически неизбежным, предварительным условием социал-демократических выступлений (Aktion), в какой прежде непонимание и несознательность массы было необходимым предварительным условием успешности всяких выступлений (Aktion) господствующих классов.

Этим самым устраняется противоположность между «вождями» и «массой» за ними большинством. Взаимоотношение между «массой» и «вождями» перевернуто вверх ногами (поставлено на голову). Единственная роль так называемых «вождей» среди социал-демократии заключается в том, чтобы просвещать массы, разъяснять им их собственные задачи. Авторитет и влияние «вождей» в рядах социал-демократии возрастает в той мере, в какой они содействуют просвещению, подьему сознательности и развитию масс; это значит—в той мере, в какой они разрушают прежнюю основу предводительства «вождей»—слепоту масс, другими словами, это, в конечном счете, значит: в той мере, в какой вожди сами ликвидируют свое верховенство, воспитывая массу, изучая ее стать собственными «вождями», а себя—исполнителями («Die Masse zur Führerin und sich selbst zu Führern», стать орудием массовых выступлений (Massen-Aktion).

Буржуазные партии очень часто ругают Бебеля «диктатором». Но «диктатура» Бебеля означает только его невероятный авторитет и его влияние среди масс пролетариата. А это основано исключительно на его колоссальной работе по просвещению пролетарских масс, которые он таким путем воспитывает к политической зрелости. Он только пожинает плоды этой работы теперь, когда массы воодушевленно следуют за ним, но опять-таки постольку, поскольку он действует в слова ее волю и мысль.

И если воспитание сознательной, просвещенной, одухотворенной массы—в предводительницы самой себя, если союз науки и труда, в духе Лассалля, представляет собою только диалектический процесс и остается таковым, так как к этой массе примыкает беспрерывный приток все новых и свежих сил и элементов из рабочих кругов и из среды попутчиков пролетариата из других слоев, то все же господствующей тенденцией социал-демократического движения есть и остается ликвидация «вождей» и «водимых», «предводительствующих» и «предводительствуемой» массы в том смысле, как это понимает буржуазия;—в смысле исторической основы всякого классового господства: опеки над «слепой массой».

Во всяком случае, было бы оскорблением тени старых буржуазных борцов за свободу, если сопоставить их на одну доску с нынешними «вождями» буржуазии.

Успех движения социал-демократии глубочайшим образом «излияние» также и на взаимоотношения между «вождями» и «массами», находящимися по ту сторону пролетарской классовой борьбы, т.е. и на буржуазную среду. Классовое движение поднимающейся в гору буржуазии и ее первоначальный успех покоились не только на тьме ноте и несознательности масс насчет собственных целей каждого данного политического акта, но, в значительной степени, и на неясной сознательности самих вождей. Теперь же, после того, как собственные классовые интересы народных масс разъяснены им, благодаря просветительной пропаганде социал-демократии, буржуазия не может удерживать за собою своих последователей только при помощи тщательного замаскирования не только своих собственных классовых волежеланий, но и путем завуалирования противоположных, враждебных им классовых интересов народных масс.

Первые революционные политические борцы буржуазии имели успех, как народные вожди, на основании исторического самообмана. Современные же «вожди» буржуазии—ее Бахмат, Бассерманы и Рихтеры,—чьи наемные газетные писки вопют о «диктатуре» Бебеля,—они народные представители только на основании простого политического обмана.

Если же теперь среди всех этих партий, которые спецаккумулируются на одурачивании масс и только благодаря этому держатся и существуют,—как раз либералы опередили всех в своих восторженных нападениях на социал-демократию по поводу «слепой массы» и «блудного мозолистого кулака» против «святого духа просвещения и образования»,—то они этим только наглядно показывают, как основательные изменения в течение каких-нибудь 50 лет исторический сценарий и соблазнительный «дух» самих этих господ либералов.

Гегельянец Бруно Бауэр, который после своего ухода от движения радикалов в начале 40-х годов полемизировал с «либеральными представителями народной массы», доказывал им всячески, что «никогда не в массе, а не где-либо иначе, надо искать истинного врага духа». «Либеральные представители и вожди» того времени все еще не могли видеть ли, «истинного врага духа». Не в «массе», которая принимала всерьез их либеральные фразы, верила им, а кое-где иначе,—в «революционном прусском государстве». Теперь же, после того, как «истинные либеральные вожди» давно уже сговорились и вступили в союз с реакцией прусского государства против «массы», теперь, конечно, либеральные вожди, сами усматривают в «массе» «истинного врага духа». То-есть именно в той «массе», которая сама с презрением повернулась к ним спиной, чтобы самостоятельно, на свой страх и риск, вести непримиримую борьбу и против реакции и против буржуазного либерализма и его «вождей», которым она как раз и последнем партийном (16 июня 1907 г.) нанесла оглушительный удар.

Старая, давно известная басня о винограде, который называется кислым, после того, как становится недостижимым...

После того, как буржуазия стала все больше и больше терять своих приверженцев среди широких народных масс, переходящих к социал-демократии, для нее осталась единственная надежда: с помощью медленного ревизионизма (бериштейнианства) передвинуть социал-демократические рабочие массы постепенно на рельсы буржуазной политики, сломать позвоночник пролетарской классовой борьбы, таким образом, получить окольным путем реванш за поражение в прямой исторической игре...

До тех пор, пока они не потеряли этой надежды, социал-демократическая рабочая масса все еще была в чести, обнаруживала большой интерес и смысл в «культуре» и «просвещении» и даже подавала надежды со временем и постепенно стать могущественной «цивилизованной» силой и «фактором прогресса»... Теперь же, после того, как она так «грубо» и «антикультурно» вела себя, что она не только выбросила все кукушкины яйца, которые буржуазия осторожно подкинула ей в гнездо, но и грубо растоптала их своим пролетарским сапогом на Дрезденском партийтаге, теперь, само собой разумеется, не остается никакого сомнения в том, что она только «слепая толпа», которая дает своим «вожжкам» и «диктаторам» натравливать себя в доверие себя до такого «нецивилизованного» «антикультурного» поступка.

Картина не лишена известного комизма. Однако нельзя не сомнеться, что боль и обида обманутых обманщиков на этот раз имеет свои особенно серьезные основания: если прежние наши партийтаги довольно резко осуждали отдельные проявления практики истории ревизионизма, то наша партия в Дрездене и после Дрезденского партийтага не только повторила в более крепких выражениях свои прежние решения насчет ревизионизма, но заодно вынесла свой приговор и над другой стороной ревизионизма, — именно: над его политической этикой и связанном с этим персональном социальстве единичных членов партии с буржуазией.

Для каждого, кто хорошо разбирается во внутренних взаимоотношениях последних событий, не может быть никакого сомнения, что вызвавшая так много споров статья: «Партийная этика» в еженедельнике «Zukunft», как ни случайно происхождение этой статьи, все же является адекватным выражением этики ревизионизма в общем, хотя статья вовсе и не характеризует образ действия и литературной этики всех ревизионистов, — это с неумолимой логикой вытекает из всего хода мыслей в этой статье: масса, которая должна быть воспитываема, как дитя, которое не все должно знать и которому даже, больше того, следует в его же собственных интересах лгать и обманывать, и «вожди», которые как глубоко проинтеллектуальные и дальновзорные государственные мужи лепят из этого мягкого податливого материала храм будущего общества, согласно собственным великим планам. Вот основа политической этики как буржуазных партий, так и ревизионистских социалистов, хотя бы при этом политические намерения тех и других были бы совершенно различны.

Такое взаимоотношение между «массой» и «вождем» в его практическом применении мы видим во Франции в движении жоресизма и в Италии в выступлениях и направлениях Турати. Эти новые направления все больше и больше прокладывают себе путь в последнее время. «Автономные», не связанные между собою, разнородные «федерации» в партии Жореса, резолюция Турати в июле о ликвидации Центрального Комитета партии — это ничто иное, как ликвидация самой партии: растворение строго-организованной партийной массы, чтобы она из самостоятельной путеводительницы и руководительницы, согласно своим классовым интересам, превратилась в вольное орудие в руках своих парламентских депутатов, в ту «слепую массу», которая обречена «следовать» за своими «вождями», потому что «она не знает, чего она хочет», а если она это знает, то не имеет достаточно силы заставить повиноваться своей воле, как это случилось на последнем социалистическом конгрессе в Бордо.

Жоресисты—депутаты французского парламента,—обнаруживают определенное стремление «освободиться» и от влияния и от контроля тех партийных организаций, благодаря которым они попали в парламент и через головы которых они апеллируют непосредственно к «массам избирателей», т.е. к неорганизованным, аморфным массам. Вот в чем заключаются «организационные предпосылки взаимоотношений между «вождями» и «массой», которые в упомянутой статье о «партийной этике» изображены как психологическая и логическая необходимость и норма всякого массового движения.

Это затушевывание границ, отделяющих передовые отряды, целое стремление сознательного пролетариата, его организованного ядра, от неорганизованных народных масс избирателей—внизу гармонически соответствует затушевыванию границ между «руководительством» партии у нас и в буржуазной среде—наверху: сближению социалистических парламентских депутатов с буржуазными кругами литераторов на почве «общечеловеческого образования и культуры».

Под сенью широко распростертых крыльев «образованности» и «общечеловеческой культуры» собирались в те дивные зимние вечера социал-демократические депутаты парламента совместно с буржуазными журналистами, чтобы отвлечься и отдохнуть от «труда профессиональных» и от «бремени политически-профессиональных обязанностей». Подобно тому, как некогда, на склоне багрящей зари расцветая древней Греции, собирались вокруг Перикла государственные мужи, философы, политики и художники с тем, чтобы, проводя время в свободном обмене мнений, взобраться на самые вершины человеческого духа и наслаждаться там тончайшими красотами культуры,—точно так же, однажды, собрались в одном берлинском ресторанчике вокруг современного Перикла—Максимилиана Гардена (редактора «Zukunft») социал-демократические государственные и депутаты с тем, чтобы в приятном обществе очаровательных женщин и остроумных, талантливых журналистов, вдали от грубости и шума классовой борьбы и от запаха пота темных масс, предаваясь возвышенной дискуссии о политике и искусстве и беззаботной болтовне о прочих высоких материях...

Хотя головы собравшихся на этот раз не были украшены венками из роз и по необходимости прозаическое мюнхенское пиво должно было заменить собою благородный сок фессалийских виноградников, тем не менее, однако, из-за всем собранием в целом типичнейший дух древне-греческой, античной дружбы, тончайший дух культуры и с настоящей толерантностью, свойственной высшим представителям духовной культуры, друзья обменивались между собою мнениями, обсуждали и сравнивали самые разнородные взгляды, между прочим, заодно, и кое-кому перемывали косточки и вышивали некий детективный (добровольно-шпионский, жандармский) материал насчет некоторых «неудобных» товарищей. Как как водится среди образованных,—сказал тов. Гейне.

И вдруг в дело вмешивается грубый пролетарский кулак, которому недостает понимания тонкостей изящной образованности, который не знает века Перикла, чтобы варварски, беспощадно разбить все то, что создал «нежный союз свободной человечности». Длинные щупальца буржуазного общества, проникшие было вглубь нашего лагеря, вдруг быстро вообразили назад, извиваясь

болн. Обиженный, ущемленный господин Ястров ¹⁾, стрикунлисты либеральной «Фоссише Цейтунг», свободомыслящие из «Берлинер Таге-blatt» подняли общий гвалт, свидетельствующий о том, что у них разбита надежда, общая им всем. Ревизионистский туман рассеялся и искаженным и ненавистью взорам буржуазии вновь открылась во всей своей неприступности крутая, обрывистая, скалистая острокопечная стена пролетарских бастионов в прежней своей непримиримости. Между нею и буржуазным миром снова зияет глубочайшая пропасть и то, что еще минуто тому назад казалось буржуазным ма-родерам только легкой прогулкой в соседний мирный лагерь, теперь стало отважным, рискованным прыжком, при котором «легко можно сломать себе шею».

Связь между «партийной этикой» в вышеупомянутой трактовке к ревизионистскими методами партийной политики,—слишком ясна и очевидна. Именно это легкомысленно-веселое покачивание то сюда, то туда, по ту сторону окопов и линии огня, отделяющих военный лагерь борьбы пролетариата со своими буржуазными врагами, все то, что было создано благодаря ревизионистской «свободной критике марксизма», «свободному обмену мнений» и «свободному сотрудничеству» в буржуазной прессе,—все это образовало собою ту почву, на которой процветали те малые явления, которые нашли свое завершение в прекраснейшем букете, в знаменитом заговоре против Иеринга. Между социал-демократией и буржуазным миром была создана своего рода духовная соединительная ткань, через которую в кровообращение пролетарского партийного организма легко может проникнуть ядовитая материя буржуазного разложения.

Nunc illae lacrime! Вот почему столько слез! Вот почему гримасы буржуазной прессы и ее угрозы и запугивания, что мы таким образом разогнали наших «попутчиков» и отрезали от себя дальнейший приток членов с университетским образованием.

Одна свободомыслящая газета высказала такое мнение, что «Тов. Пауль Гере ²⁾, которому «милые товарищи» теперь дали повод отказаться от своего парламентского мандата, теперь только поймет, какую ошибку он сделал, вступив в социал-демократическую партию». Это наивное признание прекрасной либеральной души только показывает, как думают в том лагере буржуазии о принадлежности к той или иной партии: это для них не вопрос мировоззрения и убеждения. Благородный свободомыслящий мыслит себе вступление в социал-демократическую партию, как «ошибку», точно так же, как делают ошибку, когда спекулируют на бирже и вместо сделки с кофе докупают хлопок. При этом сему благородному мужу даже и в голову не приходит, что в то время как он, профессионал, чисто по-коммерчески таксирует образ действия в лагере социал-демократии, он изводит политику в собственной партии на ступень проституции...

Что касается тех «университетски образованных», которые, исходя из такой точки зрения на принадлежность к партии, больше не придут к нам или уйдут от нас, то мы их охотно уступаем и спокойно будем смотреть, как они бросятся в завлекающие объятия либерализма, несколько не завидуя. *Similia—similibus!* Пусть свой язык зазывает издалека. Мы только опасаемся, что бедные свободомыслящие сделают и при этой ожидаемой частичной, ликвидации «кои-

¹⁾ Буржуазный профессор политической экономии, кокетничавший своим марксизмом.

²⁾ Пауль Гере—бывший священник, открыто выступивший из церкви и вступивший в социал-демократическую партию.

/реинци» не особенно хороший гешефт, потому что как раз эти родственные им по духу «университетски образованные» наверно поостыгутся от «ошибки» — вступить в сделки с обанкротившейся фирмой, — свободомыслящей партией...

Оказывается, что о нашей «культурной мысли» стали проявлять особую заботливость, в особенности после «бунта мозолистого кулака» против «образованных», — даже остальбское юнкерство (партия крупных землевладельцев). Можем успокоить на этот счет и остальбских друзей культуры, что они скоро, — к величайшему их огорчению, — на деле убедятся, что выступления социал-демократии во имя культуры от реакции юнкерства впредь будут отличаться еще большей интенсивностью и силой после того, как мы разделили ревизионизмом. Потому что и ведь внутренняя связь социал-демократии с духовной культурой зависит вовсе не от тех элементов, которые перешли к нам от буржуазии, а от идущей вперед и выше пролетарской массы. Эта связь и родство наше с духовной культурой происходит вовсе не от родства нашего движения с буржуазным обществом, а от противоположности наших классовых интересов во отношению к этому обществу. Источник этой родственной нам духовной культуры указывает нам социалистическую конечную цель, которая означает возвращение всей сокрывающейся человеческой культуры всему человечеству. И чем более резко и четко выступает на первый план пролетарский характер социал-демократии и ее социалистическая конечная цель, тем вернее будет обеспечена защита духовной культуры Германии от ее остальбских «друзей» и защита самой Германии от развала и от впадения в консервативную китайщину.

Тем настоятельнее поэтому встает перед нами необходимость чистки нашей партии от тех явлений разложения, которые явились следствием недостаточно твердой тактики в последние пятилетие. Ибо чем «серьезнее» и основательнее будет и этот в известном смысле «исторический акт» (Aktion), тем больше будут возрастать и «размеры массы», которая с полным доверием прижимается к нашему лагерю как к единственному политическому лагерю, где ее чистые классовые интересы защищаются под чистым знаменем бескомпромиссного чистого революционного марксизма.

15 марта 1917 г.



Философские основы ревизионизма.

А. Панежук.

Во всяком общественном движении, так же как и во всяком направлении, возникающем внутри существующей партии, необходимо различать практические потребности, под влиянием которых оно возникает, и теоретические положения, на которых оно основывается. Таким образом исследование таких движений должно заключать в себе, с одной стороны, объяснение причин их возникновения из определенных условий общественной жизни, и, с другой стороны, разбор правильности тех основных положений, которые ими самими приводятся в качестве своего обоснования. Первое доказывает необходимость их возникновения, второе — их ограниченность. Сами последователи их думают, что существование таких движений может быть объяснено открытием новой истины, правильностью защищаемой ими теории. В действительности же эта теория представляет собой лишь выражение практически — необходимых общественных понятий определенных классов при определенных условиях, следовательно, происхождение такого движения может быть вполне понято, лишь исходя из общественных условий. Однако, пока оно пробивает себе дорогу в обществе, пользуясь своей теорией как оружием, необходим критический разбор содержания этой теории. Объяснение того или иного направления, необходимыми условиями общественной жизни, не освобождает нас от труда по идейной борьбе с ним, по критике его теоретических тенденций.

Причины возникновения различных течений в социализме, в том числе и реформизма, или ревизионизма, были нами освещены в другом месте ¹⁾. Эти причины, лежащие в самой природе развития общественных отношений, существовали еще до выступления Берштейна и имеются налицо в различных странах в настоящее время.

То особенное, что превратило это реформистское течение в ревизионизм, была попытка Берштейна дать этому направлению теоретическое обоснование, которое заключалось в критике господствовавшей до того марксистской теории, и в требовании пересмотра (ревизии), основанной на ней программы. Хотя в Германии в настоящее время ревизионизм не пользуется почти никаким влиянием, однако общественные причины, вызвавшие возникновение этого направления, не исчезли, а лишь временно ослаблены. Каждый раз там, где условия общественной жизни будут способствовать этому, будут вновь появляться на поверхности и теоретические воззрения ревизионизма. Вследствие этого критика этих воззрений, всегда заключающаяся в себе объяснение и защиту марксистской теории, беспрестанно сохраняет практическое значение. Правда, критику отдельных частных мы можем и даже должны оставить в стороне, как содержащуюся в достаточной степени в общеизвестных сочинениях различных авторов (между про-

¹⁾ См. статью «Первый отпор ревизионизму».

ям, в сочинении Кауцкого: «Берштейн и соц.-дем. программа») много на этот счет имеется и в самих протоколах партийного съезда.

Все, что остается здесь рассмотреть, это — вопрос, который не может быть предметом обсуждения в дебатах — именно общие положения, лежащие в основе ревизионистской теории и их противоположность основным воззрениям ортодоксального марксизма. Только исходя из них, можно было бы понять отдельные выводы Берштейна и его друзей.

Учение Маркса и Энгельса об обществе, учение, на котором целиком основан новейший социализм, тесно связано с совершенно новым мировоззрением, диаметрально противоположным обычным буржуазным взглядам. Основа этого мировоззрения, представляющая в то же время и основу всех мыслей, научных достижений и выводов Маркса и Энгельса, лучше всего определяется как диалектический материализм. Различные материалистические воззрения существовали и у буржуазных мыслителей, но всегда без диалектики; свое полное выражение, но в идеалистическом облике, получила диалектика у Гегеля. Лишь соединение диалектики с материалистическим методом познания дало возможность разоблачать тайны общественной жизни и человеческого мышления. Безусловная наглядность некоторых, обнаруженных этим методом исследований, истин: как, например, тенденции развития капитализма, классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, привела к признанию правильности марксистской теории большой народной партией, к защите ее многими передовыми ораторами и писателями, которые, однако, и сами не достаточно ясно усвоили себе ее глубочайшие основы. Требования, предъявлявшиеся каждодневной борьбой, не оставляли им на это досуга, да и для агитации, для разъяснения целей социализма было необходимо положение лишь всем заметных внешних явлений общественной жизни. Это вызвало то, что многие, становясь в ходе борьбы на сторону пролетариата и на практике усваивая социалистические воззрения, в областях своего мышления в областях более абстрактных, продолжали оставаться во власти буржуазных взглядов. Выступление Берштейна, как критика марксизма, способствовало выявлению противоположности их взглядов «догматическому» марксизму. Таким образом, ревизионизм представляет собой соединение антикапиталистических мировоззрений с буржуазным образом мыслей; в его теоретическом строении отсутствует либо материализм, либо диалектика, либо, как это бывает чаще всего, оба вместе. У последователей ревизионизма пропадала способность понимать как диалектику, так и материализм; последний смешивался с «вульгарным» материализмом буржуазии XIX века, первая же изображалась в виде искусства, при помощи троюмных риторических уловок, мнимо-философски опровергать или утвержденные истины. Поэтому для критики ревизионизма необходимо, прежде всего, тщательно разобраться в сущности диалектики и экономического материализма Маркса.

В основе материализма лежит убеждение, что сознание людей определяется их бытием, их существованием в обществе, как сказал Маркс в 1859 г., желая особо подчеркнуть значение для человеческого сознания этой важнейшей части всякого бытия. Понятия, мысли, идеи, это — не самостоятельное проявление некоей таинственной «абсолютной идеи», некоего «мирового абсолютного духа», все происходит из мира эмпирических явлений. Этот познаваемый мир служит материалом, из которого дух черпает все свои понятия и идеи. Мы называем этот мир действительным и противоположным

духовным отражениям в нашей голове, как мира мыслимого и воображаемого, который является результатом умственного восприятия действительного мира. Само собой понятно, что эти мысли и идеи так же реальны, реальны как факты духовного порядка, которые со своей стороны служат материалом для дальнейших размышлений. Весь мир как действительный, так и духовный, все, что существует, служит для мышления тем объектом, из которого оно извлекает свое содержание, свои мысли и идеи. Задача теории познания заключается в изучении взаимоотношений между разумом и бытием, между вещами и понятиями, между действительностью и идеями. Лишь когда нам удастся доказать, каким образом явления мира действительности, доставляемые нам опытом, превращаются нашим разумом в понятия, можем мы считать эту задачу решенной и сущность нашего духа постигнутой.

Простейшие элементы всякого человеческого познания—понятия—представляют собой больший или меньший круг чувственных восприятий, из которого выделены общие черты. Для возникновения понятия, например, собаки материалом служили вообще все собаки, и в этом понятии заключено все то, что в признаках и свойствах собак является общим для них всех. Собака в моем понятии является собачьей абстракцией, она не совпадает ни с какой из конкретных существующих, так как из этого понятия исключаются все особенности, ее отличительные черты отдельных собак. Объектом, отвечающим данному понятию, является, следовательно, некая множественность различных явлений, каковая воспринимается разумом, как некое единство. Это остается в силе не только по отношению к именам нарицательным, но и собственным. Так некоторая определенная собака Гектор является в качестве понятия в моем мозгу абстракцией, результатом различных положений, поступков и наблюдений над действиями этой собаки, сегодня и вчера от дней ее юности до старости. В этом случае объектом понятия является множественность конкретных явлений, но более ограниченного круга, чем в понятии собаки вообще. Наоборот, понятие животное включает в себе значительно более широкий круг явлений. Понятие красного получилось из восприятия всех красных предметов путем абстрагирования, т.е. исключения всех других их свойств и выделения общего им всем красного цвета. Понятие теплоты образовалось в результате абстрагирования тех тех многочисленных явлений, которые благодаря их температурным свойствам не подходят под это понятие.

С помощью подобных понятий с их отличительными признаками все предметы и явления вселенной различаются друг от друга, приводятся в определенный порядок и систематизируются; сходственные явления группируются вместе, различные—отделяются друг от друга, и таким путем вся пестрая масса вещей и поступков приводится в стройный порядок. «Систематизация,—так начинается свое сочинение «Сущность работы человеческого мозга» Динген,—является сущностью, общепризнанным обозначением всей деятельности науки. Наука стремится лишь привести в порядок и систему все объекты вселенной». Яснее и непосредственнее всего выступает эта задача науки в мире растительном и животном, и там она впервые и была полностью поставлена и разрешена. Весь животный, а также и растительный, мир разделяется на главные группы, эти последние на классы, классы на разряды, разряды на семейства, семейства на роды, а в родах выделяются наиболее близкие друг другу виды. Всякий вновь открытый вид животного по своим отличительным признакам

находит себе определенное место где-нибудь внутри этой системы, весь животный мир, таким образом, приведен в порядок и как бы разложен по полкам, ящикам и шкафам. Возможность такой систематизации в этой области заключается в том, что в ней приходится иметь дело с живущими рядом резко отграниченными один от другого видами, из которых каждый производит на свет себе подобных. По своим более или менее отличным свойствам они уже сами по себе составляют некоторую определенную систему.

Долгое время эти «описательные» науки отделяли от «объясняющих» как физика, химия, астрономия, задача которых заключалась в объяснении всех явлений вселенной, исходя из причин, их вызывающих. Постепенно, особенно в последнее время, наука признала, что это причинное объяснение по сути дела является той же систематизацией: в следующих друг за другом явлениях выбираются наиболее регулярно совпадающие, как относящиеся друг к другу причина и следствие. Прежде говорили: теплота—причина тепловых явлений, сила тяготения—причина падения тел, и считали, что ссылка на мистическую «силу» или материю, достаточна для объяснения причинных явлений. Теперь же сознают, что и теплота и сила тяготения суть лишь общие названия, служащие для обозначения того одинакового, того общего, что встречается в соответствующих явлениях. Это лишь абстрактные понятия, которые также систематизируют и приводят в порядок физические явления, как названия животных—животный мир.

Таким образом целью всех наук становится—представить познаваемый мир в виде лишенной противоречия системы. Эта система должна быть лишенной противоречий. Уже давным давно логика выставила это требование в качестве основного условия всякого мышления и при несоблюдении его становится невозможным сколько-нибудь осмысленно разделить явления опытного мира.

Для того, чтобы я был в состоянии отличить кривую линию от прямой, хорошие установления от плохих, цветы от фруктов, летающих от несущих яйца пресмыкающихся, причину от следствия, справедливость от несправедливости, свободу от несвободы, для этого необходимо, чтобы, прежде всего, было твердо установлено, что одна и та же линия не может быть одновременно и прямой и кривой, одно и то же установление и хорошим и плохим. Млекопитающие должны всегда рождать живое потомство, а пресмыкающиеся—всегда нести яйца. Логика выразила это в своих так называемых основных законах мышления, которые гласит, что всякое понятие должно всегда восприниматься тем же самым образом и с теми же самыми отличительными чертами и что взаимно-исключающие, противоположные признаки не могут заключаться в одном понятии. И это вполне справедливо, так как если позвоночные животные одни прекрасный день окажутся беспозвоночными, хороших для нас нельзя будет отличить от дурных, воронье кони смогут быть белыми, то черными, если нельзя будет отделить справедливость от несправедливости, кривизну от прямого,—одним словом, все будет одним и тем же, тогда никакой систематической упорядоченной сущности быть не может. Эти основы мышления составляют поэтому в методике каждой науки при работах по упорядочению, разделению и систематизации крепкую, надежную путеводную нить.

Несмотря на это, мышление, если оно идет вперед этим путем, скоро наталкивается на затруднения. При более внимательном рассмотрении выясняется, что не все возможно так гладко, без противоречий резко отграничить и систематизировать. Даже обычному

изначально знакомо, что высшая справедливость в то же время является и высшей несправедливостью, а поэтому справедливость и несправедливость хотя и противоположности, однако не могут быть резко противопоставлены друг другу. Возьмем для примера вопрос: свободен ли рабочий в настоящее время или нет? Буржуазная революция была освобождением труда, и тем не менее свободный рабочий говорит о своем рабстве как об основании для последующей революции. Отличительные черты свободы и несвободы оказываются слитыми в понятие современного наемного рабочего. Куда следует его отнести при разделении людей на свободных и несвободных? Хорош ли капитализм или плох, может ли быть оправдано его существование или нет? И то и другое; одним словом, на этот вопрос нельзя ответить. Капитал—причина существования прибавочной стоимости, но прибавочная стоимость в свою очередь является причиной появления капитала, который есть следствие накопления прибавочной стоимости. Даже и научная зоологическая система, прототип стройного лишенного противоречий порядка, не избежала этих затруднений. Беспозвоночные, позвоночные и несущие яйца млекопитающие могут как угодно противоречить логике, но, тем не менее, они существуют. Математика со своей стороны инстинктивно приравнивает на практике медвяный отрезок кривых линий прямым, на этом приравнивании основана даже вся так называемая высшая математика. Повсюду, следовательно, нарушение основных законов логики; правда, они не могут быть просто отброшены в сторону, они продолжают сохранять свое значение, так как без них никакое различие, никакая наука не возможна, но только применение их должно всегда сопровождаться сознанием их недостаточности. Создание лишенной противоречий системы невозможно, несмотря на то, что таковая служит путеводной нитью при всякого рода исследованиях; противоречие не есть недопустимая логическая ошибка, оно заключено в самой природе действительности. Это воззрение и представляет собой диалектику.

Откуда взялось это, полное противоречий, устройство вселенной? Оно произошло вследствие того, что вселенная не есть мир законченных вещей, равнодушных и чуждых друг другу, которые нам остается только привести в определенный порядок и систему. Нет, вселенная, это—мир процессов, в ходе которых все постоянно изменяется и под влиянием взаимодействия принимает новые образы. Перед собой яблоки, груши, цветы, как законченные предметы, мы видим их встречаюся в обиходе, я могу по их отличительным признакам строго отделить их друг от друга. Но как только я распознаю в яблоке результат определенного процесса развития, в ходе которого он из почки или цветка становится сначала неспелым яблоком, затем спелым, наконец сгнивает и превращается в кучку грязи, делается невозможным резко и определенно отличить цветок от плода, и я принужден обозначать именем либо цветка, либо фрукта то, что, как набухающая завязь, не подходит по своим признакам под то или другое понятие. Если бы справедливость и несправедливость представляли собой или от чего не зависящие, свободные резко-отграниченные и неизменяемые образцы человеческих поступков, тогда бы не возникало никаких противоречий; но, поскольку они лишь определенные отношения к различным явлениям, рост и постоянное развитие их производит полный переворот в прежде действовавших положениях. Пока математика занималась исследованием лишь законченных фигур, она могла отграничивать кривые линии от прямых и утверждать, что и медвяный отрезок кривой есть кривая. Но как

только она начинает оперировать с все более мелкими отрезками и воспринимать их в процессе превращения в ноль, она вправе приравнять кривые к прямым. На методе изучения фигур в ходе их возникновения и развития основана вся высшая математика. Как только мы на практике сталкиваемся с процессами превращения и развития, становимся сразу же понятным невозможность создания лишенной противоречий и раз навсегда установленной системы. Там, где мы это развитие сами не видим, наличие переходных форм и родственность вещей друг другу показывают, что мы имеем здесь дело с отдельными ступенями, как с результатами всеобщего развития вселенной. Наличие в зоологии сомнительных, неопределенных, не поддающихся систематизации и полных противоречия форм делается нам понятным, когда мы начинаем воспринимать мир животных не как некое постоянное, вновь и вновь повторяющееся собрание видов, в котором одно воспроизводит другое; точно так же, но как результат длительного развития, в ходе которого из старых форм все время возникают новые.

Учение о развитии в течение XIX века все больше и больше предлагало себе пути в науке. В неодушевленном мире закон сохранения энергии и второе положение механической теории тепла, которые взяты вместе указывают на определенное направление развития вселенной, составляют основы современной физики. С их помощью удалось возможным установить законы развития всей вселенной, земли и солнечной системы и определить современное положение земли в общей цепи общего развития. В мире животных и растений со времени открытий Дарвина безраздельно господствует теория развития. Во всех этих областях процессы развития происходят, однако, так медленно, что сталкиваться с ними в ежедневной практической деятельности не приходится, и они обнаруживаются лишь при научном исследовании. Поэтому сомнения и противоречия лишь изредка возникали у ученых и в их научных системах. Поэтому появление нового философского метода познания—диалектики—и не было результатом опыта в этой области, ее выводы скорее явились лишь впоследствии как позднейшее подтверждение правильности этих познаний. Диалектический метод от глубокой древности и до новейшего времени формировался в той области, где происходит быстрое, каждому заметное развитие, в котором определенную роль играет и сам человеческий разум, с его ограниченным образом мыслей, где противоречия и вольно бросаются в глаза всякому мыслителю. Эта область—общая общественная жизнь и человеческого духа—с древности являлась местом возникновения противоречивейших воззрений.

Противоречия человеческого разума привели Гегеля к выработке его метода, по которому вселенная является совершающимся рядом постоянных противоречий процессом развития абсолютной идеи. Маркс применил этот метод для объяснения на основе непрерывного развития производственных сил явлений общественной и духовной жизни; Дигген показал, что познавательная способность человека представляет собой диалектический процесс.

Диалектика не есть само развитие, а еще, кроме того, и нечто иное: всеобщий закон развития. Она тот способ мышления и образ мыслей, который становится необходимым вследствие того, что вселенная представляет собою процесс развития. Диалектика заключается в убеждении, что противоречия—не бессмыслицы для нашего разума. Она считает, что эти противоречия лежат в основе

самой природы всего существующего, что они обоснованы процессом развития в мире действительности. Однако не в том смысле, что эти противоречия спокойно продолжают существовать друг подле друга, доказывая этим полную преятность и неприменимость законов логики; а в том, что они (противоречия) суть лишь признаки того, что мы имеем дело с отдельными моментами в цепи развития, и вследствие этого законы логики должны применяться с ограничениями, как не вполне совершенные. Противоречия некоторого состояния суть, таким образом, признаки, основания, причины последующего развития этого состояния. Эти причины воспринимаются человечеством, как противоречия, и от этого являются сознательными движущими силами дальнейшего развития. Это теоретически происходит в человеческом сознании, желающем создать себе легко воспринимаемую картину всей вселенной, в форме противоречий самой системы—неизбежное следствие особенностей человеческого разума, который ухитряется представить бесконечно разнообразный текущий, изменяющийся, разнородный мир в спокойных общих, ограниченных и застывших понятиях. Эти противоречия ведут к постоянным видоизменениям, постоянным новым приспособлениям самой системы и обуславливают иногда не прекращающийся прогресс науки. На ряду с этим практически то же происходит, когда человеческий разум помещается и мир действительности, как материальная сила, т.е. истории, в постоянном переустройстве общества, в постоянном видоизменении всех общественных, иначе говоря человеческих, проявлений. Поэтому-то все значение диалектики и выявляется, главным образом, в учении об обществе. Она не только показывает, что происходит развитие общественной жизни вообще, она, кроме того, указывает и на то, что развитие, это—движение среди противоречий, что противоречия во всегдашней действительности суть двигающие силы этого развития, поэтому без основательного понимания диалектического метода мышления нельзя понять и развития общественной жизни. Ошибочные суждения и недоразумения буржуазной мысли—включая сюда и ревизионизм—о капитализме и о рабочем движении почти все происходят от недостатка в ней такой диалектики.

Люди сами делают свою историю, однако не по своему свободному желанию. Они вступают друг с другом в определенные отношения и с этой целью организуют такие учреждения, которые соответствуют данной стадии развития производительных сил. Эти учреждения считаются хорошими и разумными, так как они целесообразны. При господстве их производительные силы постепенно развиваются, производственные отношения изменяются и существующие учреждения постепенно становятся нецелесообразными и тормозящими развитие. Это осознается не сразу, так как человеческое сознание продолжает придерживаться прежних понятий хорошего и разумного. В конце концов, однако, настает такой момент, когда неразумность существующего достигает таких размеров, что она начинает оказывать сильное воздействие на людей; тогда количество переходит в качество, то, что перед тем казалось исключительно хорошим, теперь кажется целиком плохим и ложным. Прежнее соответствие между общественным устройством и его основой—производительными силами—перешло в свою противоположность—в противоречие между ними, и это противоречие разрешается революцией, которая и вводит новое общественное устройство. «На определенной ступени развития материальные

производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или, что служит лишь юридическим выражением этого, с имущественными отношениями, внутри которых они до сих пор действовали. Из способствующих развитию производительных сил эти отношения превращаются в их ковы. Наступает эпоха социальной революции» (Предисловие к «Философии политической экономии»). По буржуазному пониманию общественное устройство может быть или хорошим, или дурным. Если оно урно, должно быть найдено лучшее, и задачей революции и является замена плохого порядка хорошим. Для диалектики каждый порядок одновременно и хорош, и плох; хорош он, как необходимая ступень развития, если он соответствует основам существования, плохим же он делается, о меретого, как развитие этих основ приходит все больше с ним в противоречие. Революция является новым приспособлением общественного устройства к этим основам, аменяет, значит, худшее лучшим, нецелесообразное — целесообразным.

Почему же при этом невозможно постепенное изменение всех условий таинным образом, чтобы они всегда соответствовали производительным силам? Потому, что свойства человеческого разума таковы, что он стремится из ограниченного и частного, правильного относительно, создать общие идеи, которым он приписывает правильность неограниченную. Вследствие этого считается разумным и всюду применимым правило, имеющее в действительности лишь относительное и временное значение, и подобных правил и иорн придерживаются до тех пор, пока их недостатки не сделаются уже столь очевидными, что как совершенно негодные эти правила отбрасываются и упраздняются.

Противоречивая сущность данной системы производства, заключается в том, что, с одной стороны, система эта еще сохраняет в себе долю разумности, чем она и держится, с другой же стороны, в ней масса негодности, что способствует ее отмиранию. Эти противоположности выступают наружу в классовых противоречиях и в классовой борьбе.

Разделение общества на классы может существовать, с одной стороны, для разделения работы, для взаимного дополнения, при чем оба класса выполняют необходимые функции, поэтому нужны друг в друге, это и вызывает необходимость в данных отношениях, является причиной их силы и крепости. В противоположность таким отношениям, существуют отношения эксплуатации, отношения господства и подчиненности, которые по необходимости влекут за собой взаимную враждебность и противоположность интересов. Это является причиной непостоянства существующего устройства, так как классовая борьба служит рычагом для его испровержения. Буржуазное мышление видело в отношениях знати к буржуазии лишь несправедливое господство одних в ущерб другим, в отношениях же буржуазии к пролетариату лишь необходимое разделение труда; подобным же образом буржуазно мыслящие враги капитализма (анархисты) рассматривают капитализм, лишь как несправедливое господство, и вследствие этого не признают той внутренней силы, которая его еще поддерживает на ногах. Противоречия между хорошими сторонами способа производства, служащими к его сохранению и дурными, ведущими к его испровержению, выступают в классовых антагонизмах. Пока этот способ производства еще молод, пока ясно видны выполняемые господствующим классом важные общественные функции, до той поры классы

борьба совершается в скрытом виде; она проявляется тем сильнее, чем больше становятся внутренние противоречия этого способа производства.

Овладение политической властью со стороны угнетенного класса и уничтожение существовавших доселе противоречий в отношениях к господствовавшему классу означают одновременно и уничтожение противоречий между старыми производственными отношениями и новыми производственными силами. Все это вполне можно сказать о капитализме, все развитие которого было развитием среди противоречий. В экономическом учении Маркса экономические категории теоретически развиваются так, что последующие высшие стадии представляют собою уничтожение противоречий, выросших из предшествующих; эти теоретические обобщения процесса развития являются отражением исторического развития капитализма, в котором на каждой последующей стадии уничтожались противоречия предыдущей. Противоречие между потребительной стоимостью и меновой ценностью разрешается обменом: в то время как производство для потребления превращается в свою собственную противоположность—в производство для обмена, возникают противоречия, вызываемые двойственным характером товара и уничтожаемые появлением денег, в которых абстрактная меновая стоимость принимает конкретные, осязаемые формы. Обращение денег, как средства обмена, приводит к накоплению сокровищ, к капиталу; противоречия в формуле капитала (что результате товарообмена возвращается назад больше денег, чем было в него вложено),—в которых с самого начала капиталистического производства проявляется хищническая природа капитала, уничтожаются как теоретически, так и исторически с появлением на свет рабочей силы, как товара. С появлением на мировой арене пролетариата, как свободного владельца и продавца своей рабочей силы, становится возможным развитие всех противоречий капитализма и одновременно расширение его могущества и сферы его влияния начинают все большей силой выступать элементы его уничтожения. Выступление рабочей силы в качестве товара, с другой стороны, означает возможность впервые производить прибавочный продукт во все возрастающей степени и накапливать его в новые капиталы; в этом и заключается основная причина концентрации капитала, повышения производительности труда, упадка благосостояния среднего сословия, постоянного уменьшения армии пролетариата, и, наконец, причина все возрастающих противоречий между буржуазными условиями производства и всемогущими производственными силами; эти противоречия, между прочим, сказываются и в хозяйственной области. С другой стороны, выступление рабочей силы, в форме товара, означает появление нового класса одновременно и свободной, и несвободной, которого, однако, закон вынужден признать свободным и равноправным товаровладельцем и, вследствие этого, должен снабдить юридическими и политическими правами и свободами. Но именно эти свободы обрекают класс этот на полнейшее рабство и заставляют его на фабриках выносить ужасы и муки капиталистического деспотизма, едва ли менее тяжелые тех, которые терпели прежние рабы и крепостные. Это разительное противоречие доказывает, что подобное состояние может быть лишь переходной ступенью на пути от рабства к полной свободе. Противоречие здесь становится непосредственной движущей силой дальнейшего развития. Тогда как рабы никогда не были в состоянии освободить себя путем ниспровержения существующего строя, а совершенно свободные люди не нуждаются ни в каком даль-

нейшем освобождении, личная и правовая свобода пролетария дают для него рабство невыносимым, а его общественная полноправность и политические свободы дают ему средство и оружие для освобождения.

Эта полная противоречий природа капитализма выявляется в противоположном ему социалистическом рабочем движении и обуславливает противоречия и внутри этого последнего. Оно непобедимо, так как по необходимости вырастает из капитализма и одновременно с этим уничтожает его. От него нет никакого средства спасения, подобно тому, как никакое лекарство не спасает от старости. Все необходимое капитализму для дальнейшего развития усиливает одновременно и социализм; все, что должно служить для предотвращения этой судьбы и для prolongation жизни капитализму вызывает обратный результат.

Закононость является основным принципом буржуазного общества; только на ее почве может оно процветать и развиваться; и так же, как некогда министр Одийер Барро, это общество вынуждено восклицать: «La légalité nous tue!» («Закононость убивает нас!»). Если буржуазия, отбрасывая эту губящую ее законочность, борясь против своего ниспровержения, сама яступает на путь насилия, прибегает к помощи силы; если скрытое за политическими свободами классовое господство она заменяет незамаскированным, оголенным, открытым, то этим она как раз и готовит себе гибель. Преодоление противоречий капитализма просто путем физического уничтожения противной стороны и сведения на-нет результатов неизбежного развития — невозможно. Оно осуществимо лишь переходом на более высокую ступень развития.

На этом основано, и часто неправильно истолковываемое, противоречие между конечной целью и движением, между реформой и революционным переворотом. Для буржуазного мышления, которое и может понять, как капитализм порождает социализм, как свое отрицание—все в этом вопросе сплошное противоречие: или революционная смена всего существующего, или реформа—улучшение существующего с сохранением его основ. Для того, кто рассматривает капитализм не как систему умирающую, а как еще теперь полную, которая некогда будет уничтожена и заменена другой; для того, наконец, для чего, рядом с этим, будущим полным уничтожением, надо немедленно еще какие-то реформы, как прозаическое стремление к постепенному улучшению жизни? Это можно разве только терпеть, из неизбежной человеческой слабости на ряду с революционной целью. Для того же, кто рассматривает современную историю капитализма, как процесс его разрушения, как непрекращающуюся классовую борьбу, для того это противоречие между реформой и революцией исчезает в процессе постоянного роста могущества пролетариата. Каждая отдельная реформа, каждое улучшение жизненных условий представляет собой эпизод в общей борьбе, так же, как каждое отдельное сражение является эпизодом войны. Успехи и стремления к реформам, возможны потому, что капитализм сам заключает в себе непрерывное нарушение своих собственных основ; вместо того, чтобы оплачивать свободным продавцам рабочей силы ее полную стоимость, эта рабочая сила, не могущих сопротивляться рабам, разрушает слишком низкой заработной платой и слишком продолжительным рабочим днем. Эксплуатация, не являющаяся, по своей сущности, чистым обманом, осуществляется всегда посредством обмана. Борьба рабочих непосредственно и вызывается этими отрицательными чертами

и против них направляется; лишь, когда на практике становится ясным, что эти отрицательные черты составляют самую природу капитализма, борьба с обманом превращается в борьбу с самой капиталистической системой эксплуатации. Борьба за установление нормальных капиталистических взаимоотношений неизбежно является и ее противоположностью—борьбой против всей капиталистической системы. В любой области рабочего движения эти две стороны соединены в одно целое. В профессиональном движении совмещаются, с одной стороны, рассудительные практические расчеты с разумной дипломатичностью и полными кассами для достижения более высокой оплаты труда, и, с другой стороны, пылкий боевой энтузиазм, пробуждение у рабочих революционных добродетелей, необходимых для переворота. То же самое и в политической жизни: с одной стороны, упорная, повседневная работа, разного рода мелочная парламентская борьба из-за незначительных улучшений, которых, обычно, не удается достигнуть, вследствие сопротивления буржуазии, с другой стороны, неразрывно с нею связанное воодушевление в стремлении к великим целям, которые, посредством деятельной агитации, распространяются среди все более широких кругов. Эти противоречащие друг другу стороны рабочего движения могут быть поняты лишь тогда, когда усвоен диалектический метод познаний. Для того, кто продолжает сохранять старый образ мыслей, что противоречия—ошибки нашего мышления, что два противоположных утверждения исключают одно другое, для кого капитализм и социализм полнейшие противоречия, реформа и революция друг друга исключают, по мнению таких людей, рабочее движение должно отказаться либо от насилия, либо от законности. Отсюда требование, либо отказаться от работы по реформам, стремящейся улучшить капитализм, либо отбросить революционные фразы. Этот недостаток диалектики лежал в основе всего ревизионизма. Он находит наиболее полное свое выражение—в противопоставлении конечной цели самому движению, как двух различных явлений, которые вместо того, чтобы пополнять друг друга и своим скрещиванием определять все развитие рабочего движения, отделяются друг от друга, как одно другому нейтрально противостоящие.

Основным принципом буржуазного мировоззрения является учение о свободе человеческой воли. Это учение по необходимости должно было возникнуть при таком способе производства, где каждый отдельный производитель, поступая по собственному произволу, участвовал в общей производственной деятельности. В этих условиях все пошло, вопреки старому обычному ходу вещей, вопреки достопочтенным традициям и заветам, в каждое мгновение необходимо было быстро и самостоятельно принимать решения; тут-то ощущение личной свободы воли—по необходимости должно было стать доминирующим, и важнейшей потребностью должна была являться политическая гарантия неограниченной свободы действия. Это, выросшее из производственных отношений, воззрение определяло собой истолкование и исторических явлений. История также являлась сценой, на которой выступала различные персонажи и характеры, каждый действуя по своей собственной свободной воле,—и давала общую картину беспорядочных, заранее непредвидимых случайностей, в которой некоторую закономерность можно было обнаружить лишь постольку, поскольку причинами человеческих поступков вновь и вновь являлись те же определяющие побуждения и страсти, добродетели и пороки отдельных

личностей. История—игра случая и произвола, когда дело шло об отдельных частностях, в ней стали обнаруживать определенное развитие лишь после того, как расширившиеся познания человечества, увлекали за собой непрерывный прогресс человеческого разума. При таком понимании невозможно было существование истории, как науки. Научное понимание истории должно заключать в себе возможность предсказывать будущее на основе обнаруженных правил и законов. Эта возможность исключается в своей основе учением о свободе воли. Как поступит человек, зависит от того, чего он захочет, какую из различных возможностей изберет его воля. Правда, относительно этого можно вывести у его знакомых и строить более или менее правдоподобные догадки, но утверждать, что люди будут желать действовать именно таким образом—значит утверждать, что у них отсутствует свобода воли.

Это воззрение легко вступает в конфликт с другим распространенным в буржуазных классах представлением, что вселенная управляется определенными законами природы. Практическая деятельность естественных наук, которые все более сводят явления природы к определенным законам, привела к тому воззрению, что основной принцип—все в мире причинно связано друг с другом—стал твердым убеждением ученых представителей и образованных людей буржуазного класса. Ну, а человеческое общество, как оно развивалось в ходе истории, было ли оно исключено из этой причинной зависимости? Как пытались разрешить это противоречие разделением вселенной на мир явлений, где должна господствовать строгая, не знающая исключений причинность, и на мир вещей в себе, где господствует свобода; человек как нравственное существо, относится и к тому и к другому. Другие ученые, в особенности те, которые, под влиянием изучения естественных наук, наиболее сильно прониклись убеждением во всеобщей закономерности вселенной, просто объявили человеческую свободу волевым самообманом. Зная мы все обстоятельства, мы с уверенностью могли бы предсказать, как поступят в том или ином случае определенные люди; это подтверждается той большей долей достоверности, с которой мы предсказываем поступки наших знакомых. Это утверждение нельзя опровергнуть, но в той форме оно остается и недоказуемым лишенным малейшей убедительности. Если бы натурфилософы только и делали, что в противоположность старым теологам утверждали, что все в мире происходит по законам причинности, это утверждение так и не имело бы никакого веса; эта общая фраза превратилась в обоснованную истину лишь после того, как они с помощью научных исследований нашли и доказали действительные причины различных явлений природы. Буржуазный мир не смог преодолеть учение о свободе воли потому, что он не смог привести никаких причин в объяснение человеческих поступков. Это удалось, впервые, историческому материализму. Материалистическое понимание истории указало на причины, которые определяют собой поступки людей. Оно показало, как производительные силы распадаются людьми, порождают между ними нужные им отношения, которые влекут за собой определенные общественные установления и разделение на классы, и как интересы тех классов, которым они принадлежат, обуславливают собой в великих исторических событиях действия, а следовательно, и желания людей. В истории люди действуют не как отличные друг от друга индивидуумы, из которых каждый желает чего-то другого произвольного, но как классы, которые охватывают индивидуумов, находящихся в том же положении, имеющих те же интересы и, приблизительно, то же желание.

При выступлении класса в целом, исчезают ускользающие от точного учета индивидуальные особенности отдельных личностей, при этом господствует нечто общее всем, что легко заметить, исходя из общественного положения.

Исторический материализм разъяснил причины значительных стремлений и действий, проявляющихся в исторических событиях. Важнейшая основа человеческих поступков была им открыта в согласии с опытом. Вывод, что и особенности личных волевых решений, целиком обуславливаются особыми влияниями материального мира на эти личности, не является больше пустым утверждением. Причинная связь между волей и материальным бытием, выявленная историческим материализмом, была особо подавляющей, так как она касалась тех мотивов действия, которые прежде считались образцами свободной воли, именно мотивов этических. Что человек действует в своих интересах и что при этом его воля зависит от материальных условий—это было известно каждому; но именно то, что он вместе с тем поступает и нравственно—служило для Канта доказательством его принадлежности к более возвышенному миру. Исторический же материализм доказывает, что заповеди нравственности являются выражением классовых интересов, т.е. того, что должно по необходимости случиться в обществе в определенное время. Любовь к свободе и патриотизм буржуазии, рыцарская честь у знати, солидарность у пролетариата, эти добродетели, которые в ходе истории играли такую выдающуюся роль, были прежде совершенно необъяснимы; их происхождение было прежде всего разъяснено марксистской теорией. Это новое воззрение на причины, определяющие человеческие желания и поступки, впервые сделало социализм наукой. В своей известной и весьма поучительной брошюре Фридрих Энгельс ясно разобрал противоречия между прежним утопическим и новейшим научным социализмом. Утописты желали установления социалистического порядка производства: для того, чтобы люди ввели его, необходимо было убедить их в его превосходстве и желательности, и из этого вытекала необходимость обращения ко всем, в особенности, к таким людям, которые по своему образованию могли понять это дело, или которые своим богатством могли способствовать его развитию. В противовес этому Маркс и Энгельс предсказывали необходимость социалистического устройства, как следствия капитализма; не путем того, что люди в конце концов поймут разумность этого устройства, но путем победы одного класса, приобретающего все большее значение в обществе, как результат этой победы над другими будет введен социализм. Тот, кто желает введения социализма, должен лишь помогать пролетариату в его борьбе с господствующими классами. Социализм в настоящее время является не предметом желаний, а научного исследования. Исторический материализм дает нам уверенность, что класс пролетариата будет желать и действовать так, как ему повелевают его классовые интересы, а это означает уничтожение капиталистической эксплуатации.

В этом заключается значение материализма, как основы социалистических воззрений. Он лишь высказывает тот результат исторических исследований, что все идет и побуждения, которые раньше считались особым миром в себе, обособленным от материального и действующим по собственным законам, в действительности теснейшим образом причинно связаны с этим материальным миром. Общественное бытие определяло сознание людей; на этом основывается уверенность в достижении нашей конечной цели.

Так как это положение находится в полнейшем противоречии с всем буржуазным воззрением, нет ничего удивительного в том, что представители этих последних никак не могут дойти до полного понимания наших взглядов на социализм.

Как правило, они обыкновенно рассматривают рабочее движение, как результат деятельности агитаторов и подстрекателей, которые стремятся заполучить возможно большее число последователей своих целей. То, что это движение с его целями есть необходимый продукт отношений, понять это для них представляется невозможным, вследствие их глубокого убеждения в свободе воли. В противовес этому распространенному пониманию проф. Штаммлер в своем труде: «Хозяйство и право» подчеркивает необходимость и неизбежность социализма, вытекающую из учения Маркса. Это учение, — говорит он, — считает социализм за нечто, которое является для каждого человеческого желанием, как следствие неотвратимых переворотов, независимо от того, будут ли его признавать хорошими или дурными, желательным или нежелательным; люди в этом ничего изменить не могут, их желания не имеют никакого значения. Это понимание социальных воззрений столь же ошибочно, как и то, которое ставит движение случайным результатом действий агитаторов. Конечно, здесь говорится вздор о необходимости, которая является для каждого человеческого желанием. В действительности же общественный переворот должен быть совершен людьми и необходимость в нем не может, следовательно, явиться вопреки их желаниям, а, наоборот, — в согласии с ними. Закономерность и причина обусловленность — вот что по нашей теории с неизбежностью и неотвратимостью вызывает и приводит в жизнь социализм.

Практический пример этой теории находим мы в современном диалектистическом рабочем движении, которое развивается на руде капитализма; при этом не следует упускать из виду, что в зависимости от различных исторически-данных условий, в которых действует капитализм в различных странах, имеются особенности и в рабочем движении. Сама же теория по своей устойчивости возвышается над всеми подобными примерами; она заключается в методе отыскать для всех обстоятельств естественные причины и естественные законы и относить все духовное к естественному миру опыта; эта теория, раз приобретенная, не может быть поколеблена никакими изобретениями над кажущимися необъяснимыми явлениями.

Эта точка зрения отсутствует у ревизионизма, и этим он в основном аттестует себя, как возврат к буржуазному мышлению. Концентрация капитала, этой главной черте экономического развития, Берштейн придавал небольшое значение для будущности социализма. Он надеялся, главным образом, на социальный прогресс и интеллектуальную и моральную зрелость рабочего класса. Но, помимо экономического развития, откуда могли иначе произойти этические качества? Выделением идеала в противовес материальным факторам, духовный результат, как самостоятельное этическое явление, отрывается от материальных основ. Утрата этой основной способности провидения материального происхождения всех возмущений вызывает всю ту путаницу, которая имеет место среди ревизионистов по вопросу о конечной цели социализма.

Взгляды, высказанные Берштейном в его речи «Как возможна научная социализм?» и в связанных с ней дискуссиях, являются, в том же образе, необходимыми основными мыслями ревизионизма. Так же, как и попытка, независимо от всех практических вопросов, изложить

свои основные теоретико-философские воззрения, и хотя его речь была по большей части блужданием вокруг да около основной сути вопроса, суть эта, в конце концов, само собою, разоблачается в до-
былении: «Толкование понятия имманентной необходимости, как социальной или всеобщей исторической необходимости, делает как раз невозможным исчерпывающее научное обоснование, так как в этом случае субъективные факторы, которые должны быть приняты во внимание, не допускают никакой, логически-необходимой обязательно-доказуемой формулы: Люди не автоматы». «Вопрос в основном заключается в следующем: играет ли какую-либо самостоятельную творческую роль волевое решение, основанное на убеждении в большей справедливости и целесообразности социалистического устройства, или нет?» «На практике в сущности никогда не возникает вопроса о возможности, вообще, только в абстракции доказательстве имманентной необходимости социализма,—конкретное же можно привести всегда доказательство лишь за необходимость определенных социалистических мероприятий, возникает только вопрос о доказательстве желательности и возможности социалистического общественного устройства». Здесь следует отметить, насколько прав был Каутский, когда он говорил, что этой речью Берштейн извратился к точке зрения утопизма.

Критика, которой он подвергся со стороны своих единомышленников, привела к появлению и «Социалистических Ежемесячников» (август и октябрь 1901 г.) еще нескольких статей, в которых основная сущность разногласий выступает еще яснее. В первой из них он говорит:

«Разве может то, чего мы желаем, когда-либо быть чистой наукой? То, что уже есть или что находится вне всякого сомнения, мне не нужно желать, да и не могу я разумно желать, так как этим я предполагаю, что оно отсутствует или находится под сомнением. Я не могу желать, чтобы квадрат гипотенузы был равен квадратам катетов. Я не могу желать, чтобы Римская империя распалась из-за несоответствия ее размеров внутреннему устройству. Я не могу, наконец, желать, чтобы 8 апреля 1902 г. наступило частичное солнечное затмение, если наступление такого вычислено астрономами. Но я могу желать исчезновения с лица земли эксплуатации, угнетения и нужды и воцарения коллективизма. Я могу желать этого, так как его не существует и нет безусловной уверенности в его наступлении. И так как эта уверенность не доказуема, то и само учение, которое является ее постулатом, не есть чистая наука, несмотря на то, что она может научно доказать желательность, возможность и вероятность этого. Доктрина, и которой начинает играть роль наша воля, перестает быть чистой наукой».

В этом отрывке ясно сказывается основная мысль ревизионизма, и эти рассуждения недвусмысленно дают понять, что ревизионизм заключает в себе возврат от марксистской точки зрения к буржуазной, твердящей о неопределимости человеческой воли. Марксизм говорит: рабочий класс будет желать прекращения его эксплуатации и его нищеты, и поэтому перед нами безусловная необходимость того, что это будет так. Экономическое преобразование общества—постепенное уничтожение мелкой буржуазии, распространение крупной промышленности на все новые и новые области производства и

иовые страны, объединение все больших армий пролетариата на фабриках—вызывает в последних во все усиливающейся степени желание уничтожить этот общественный строй, и таким образом является причиной увеличения сил, необходимых для этой цели, и вызывает желание в каждом отдельном случае отвести на задний план случайные, частные интересы по сравнению с всеобщим классовым; иначе говоря, вызывает самопожертвование во имя идеала.

Эти проявления воли суть необходимые последствия экономического, материального преобразования. Социал-демократическая интеллигенция стремится не к тому, чтобы убедить людей в желательности социалистического порядка, но для того, чтобы сделать понятными для рабочих те экономические и политические явления, среди которых они живут. Когда они этим путем приобретают тот взгляд, что для них сносная жизнь в капиталистическом обществе невозможна и что их классовый интерес требует его ниспровержения, тогда у них, как необходимое следствие понятого ими классового положения, возникает желание осуществить это ниспровержение.

Это теория причиной связи человеческой воли с материальными условиями и составляет главное содержание нашего материалистического социализма. Благодаря ей социализм стал наукой; ревизионизм же означает возвращение от этих научных высот к ненаучному буржуазному мировоззрению.



Первый отпор ревизионизму.

А. Панежук.

I. Накануне Любекского партийтага.

Положить конец дискуссии и ликвидировать противоречия—в тот момент, нельзя было. Этого не мог дать и самый партийтаг в Любеке. Но зато он дал правильную постановку спорного вопроса, точное разграничение позиций и определение, и характеристику основных воззрений Бернштейновской оппозиции. Что все это оппозиционное направление, которое теперь сгруппировалось вокруг Бернштейна, не было на ней раз разбито на голову и уничтожено окончательно, явствует, как из самой резолюции Бебеля, так и из голосования этой резолюции. Почти все бернштейншанцы голосовали за резолюцию Бебеля, и те, немногие, которые голосовали против нее, это были радикалы, которые не могли согласиться только с одним абзацем ее. Резолюция вовсе не ставила себе целью добиться пересмотра основных положений бернштейншанства. Да это было бы и безнадежным, бесцельным предприятием при этой неясности и расплывчатости теоретических воззрений оппозиции. Резолюция ограничилась тем, что, с одной стороны, установила, что партия твердо стоит на своих прежних ортодоксальных основных позициях, а, с другой стороны, резко подчеркнула необходимость практической политики.

Первая часть резолюции была, таким образом, недвусмысленным отпором бернштейншанским оппозиционным воззрениям, которые резко противостоят прежним основным принципам партии. Бернштейновское требование пересмотра (ревизии—отсюда: ревизионизм), этих основных принципов было решительно отклонено. Если, несмотря на это, его приверженцы все голосовали за резолюцию,—то они это смогли сделать только скрепя сердце, так сказать, с кислой миной, и только благодаря расплывчатости самой Бернштейновской теории, на которую удобно опираться именно в таких двусмысленных положениях.

Характерно в этом отношении следующее сопоставление: подобно тому, как Бернштейн однажды сказал: «Чего я хочу,—это только то, чтобы наша партия имела мужество казаться тем, чем она уже есть на самом деле». Точно также сказал теперь Давид в своей статье: «Почему мы (бернштейншанцы) могли голосовать за резолюцию Бебеля?»—«Потому, что под словами «прежние основные воззрения партии» с одинаковым успехом можно было подразумевать и воззрения Бернштейна. Правда, слова: резолюции: «на основе классовой борьбы», «освобождение рабочего класса, может быть только делом рук самого пролетариата», а также и—«Захват (захват) политической власти и национализация (обобществление) орудий производства»,—эти фразы они только с трудом могли проглотить, чуть не подавившись ими. Не даром Давид говорит по поводу этих же выражений, что «не легко было их проглотить, и нужна была некоторая, довольно большая, «щепотка соли», чтобы сделать эту пищу удобоваримой».

С тем большей непринужденностью, беззаботностью могли берштейншанцы голосовать за вторую половину резолюции, касающуюся практической политики. Это голосование берштейншанцев означает поэтому, что для них теория и вообще принципы играют второстепенную, неважную роль, и только практика их интересует. Когда теоретические воззрения Берштейна провалились, они сами отвернулись от той самой теории, которую только что восторженно восхваляли и сосредоточили свое внимание на «бестеоретичную», т.е. неприципную, практику, без руля и без ветрил. — В то время, как резолюция определенно высказалась против ложного понимания Берштейном значения практической повседневной работы (политика малых дел), не соответствующей революционным основным принципам, в то время как именно в виду этого резолюция резко подчеркнула определенный характер практической работы, какой она должна быть, берштейншанцы, крепко держась за это свое ошибочное понимание, стали восхвалять резолюцию Бебеля за ее подчеркивание ценности и значения практической повседневности работы, истолковывая это как победу своего направления.

За эту победу на арене практики они охотно согласились проглотить не совсем приятную их сердцу теорию, а потому голосовали за резолюцию Бебеля.

Речь идет, с одной стороны, об условном признании значения потребительской кооперации для улучшения быта и экономического положения рабочих. Это признание особенно вызвало негодование берштейншанцев, несмотря на то, что как раз в этом пункте их оппозиционная точка зрения насчет подрыва капитализма при помощи одной только рабочей кооперации была определенно и решительно осуждена. Относительно больше оснований было у них радоваться по поводу того пункта резолюции, где говорится о сотрудничестве с буржуазными партиями (о предвыборном блоке, о соглашениях и т. п.). Здесь за общей формулой скрывался практический вопрос об участии с.-д. в выборах в Прусский ландтаг, где, благодаря системе трехклассового избирательного права, только при блоке с либеральными партиями, с.-д. имели шансы на успех. С социалистической точки зрения против такого блокирования всячески предостерегали. Берштейн же был один из первых, выступивших в защиту блока, и после того, как вопрос подвергся тщательному обсуждению на многих партийных собраниях, огромное большинство стало склоняться к тому мнению, чтобы сделать, наконец, серьезный честный опыт блока с либеральными партиями при выборах в ландтаг.

Таким образом третий абзац бебелевской резолюции был терпеливо истолкован Берштейном и берштейншанцами, как принципально правильное признание компромиссной политики по отношению к предстоящим выборам в ландтаг. При этом они с помощью «правом» ссылались на заключительное слово Бебеля. Это, как мы видели, и было причиной того, почему многие многие с.-д. «издали» голосовали против всей резолюции. Хотя, впрочем, Каутский потом разъяснил, что общая формулировка резолюции позволяла каждому радикалу голосовать за нее, так как в ней ясно говорится, что решать надо в каждом конкретном случае: пойти на компромисс или нет, полезен он будет или вреден для партии.

Эта практическая сторона ревизионизма, сильное подчеркивание значения повседневной работы («Gegenwarts-Arbeit») обеспечило огромное число приверженцев среди практиков, т.е. профсоюзных работников, кооператоров, а также среди политиков из партийных

ботников. А между тем как раз в последнее время, когда партия, казалось бы, могла бы достигнуть значительных успехов на почве практической мелкой работы,—этому мешали (по мнению именно этой, перечисленной выше, категории практических работников) радикальные лозунги и ортодоксальные принципы, согласно которым зло капитализма может быть устранено только после радикального ниспровержения самого капитализма в целом.

Успех практической работы и выдвижение ее на первый план было вообще следствием того, что теперь на смену долголетнего застоя в промышленной жизни Германии наступил, начиная с 1896 года, период экономического подъема и расцвета промышленности. Эта благоприятная хозяйственная конъюнктура несколько смягчила острый кризис, облегчила общую нужду, сократила количество безработных, сделала промышленную буржуазию более уступчивой в отношении повышения заработной платы и—вообще—сгладила остроту классовых противоречий и непосредственное революционное настроение рабочих масс.

Менее проинципательным и не столь дальновзорким людям казалось, что наступила новая эра в развитии капитализма, для которой старые революционные лозунги уже потеряли всякое значение,—между тем как более прозорливые радикальные вожди партии умели разглядеть сквозь общие явления периода промышленного благополучия и экономического подъема то, что должно за этим последовать, и никогда не упускали из виду более постоянные тенденции капитализма, на которые они всегда обращали внимание масс. Однако современность, проявления текущего момента все же накладывали своеобразную свою печать на самочувствие и настроение огромного числа профсоюзных и кооперативных работников и на с.-д. руководящих политических деятелей в ландтагах.

Хозяйственно-экономический подъем последних лет объясняет, таким образом, откуда и почему у ревизионизма взялось такое огромное количество приверженцев или попутчиков из среды практических деятельных товарищей.

С другой стороны, непрерывная борьба и полемика среди знаменитых ревизионистов привлекли к ним огромное число литераторов и журналистов, которые, хотя не имели никакой, объединяющей теории, но все сходились на одной, общей им всем антипатии к марксистской теории. Эта пишущая братия, по природе своей индивидуалисты, оторванные от масс одиночки, ушедшие в свою скорлупу, все это люди, сильно зараженные интеллигентским самоощущением, благодаря чему они мнят себя солью земли, раздувают свое превосходство над массами. Отсюда их антипатия к строгой пролетарской дисциплине. При помощи унаследованных устарелых буржуазных воззрений они критикуют марксизм, совершенно упуская из виду и не подозревая, что марксизм ведь создал совершенно новые основные положения для теоретической науки. Поэтому их попытки критически дополнить и усовершенствовать марксистскую теорию ни к чему не могли привести и были заранее обречены на банкротство. Однако выступление Берштейна, возмнившего опрокинуть все старые догмы, создало среди них общераспространенное мнение, что теперь наступила пора пересмотра и возрождения и возобновления марксизма.

Уже до Ганноверского партийтага появилась в свет книга Людвиг Вольфа «Исторический материализм», в которой с изложе-

нием теории марксизма тесно переплетается довольно путаная кри-тика исторического материализма. Особенное значение имело то обстоятельство, что это социалистическое течение было тесно связано с течением так называемого неокантианства. За последние десяти-летия все сильнее и сильнее стали увлекаться Кантом, этим типичным философом буржуазии. Кант господствовал всюду в официальной университетской философии и науке, и непогрешимость кантовской философии была для университетской и вообще интеллигентской мо-лодежи так же несомненна, как и бесспорность естественных наук.

В дополнение к этому кантовская этика со своей идеальной за-щитой человеческого достоинства права и нравственной свободы (свободы совести и самоопределения личности) представляла собою этическую основу социализма. Некоторые из неокантианцев: Герман Коген, Пауль Натторп, Штаудингер и Форлеинер усматривали в социализме ту силу, которая действительно сможет осуществить нравственные иде-алы Канта: «Социализм, поскольку он основан на этическом идеа-лизме,—борется за правое дело, опирается на правое и, стало быт, обоснован кантовской этикой идеализма». Таким образом, Кант является «истинным и действительным родоначальником и обосно-вателем немецкого социализма»,—сказал Герман Коген. В вышедшем в 1899 году в свет сочинении неокантианца Штаудингера: «Этика и политика» он говорит: «Аналитическое обоснование этики Канта представляет собою необходимое дополнение к исторически-каузальному обоснованию социализма марксо-энгельсовской школой». Это те-чение совпало в бернштейновской попыткой пересмотра (ревизи-и) марксизма. В своем сочинении: «Кант и социализм», 1900 г.—автор Карл Форлеинер—рассматривает даже бернштейновский ревизионизм как доказательство того, что даже внутри социализма кантовские ко-зрения начинают вытеснять марксистский материализм.

Это забавное стремление реставрировать «ответшало даже ортодоксальному марксизму» при помощи всевозможных буржуазных воззрений и теорий—нашло свое концентрированное отражение в жур-нале: «Социалистический Ежемесячник», где встретились в дружеском добрососедстве социалистические литераторы и художники, рефо-ристские политические деятели и профсоюзные работники и коопе-ратеры.

Как-то Каутский в своей полемике с Бернштейном, по повод результатов Гамбургского партийного съезда, высказался в журнале «Neue Zeit» в том духе, что, кто заходит так далеко в своей критике марксизма, должен для своих упражнений выбрать антимарксистские а не марксистские органы печати. После этого Бернштейн придал к этим словам и написал Каутскому, что «вынужден отказаться от сотрудничества в «Neue Zeit» (партийный еженедельник, редакту-емый Каутским). Вслед за тем Бернштейн стал печатать свои статьи в «Социалистических Ежемесячниках» регулярно, и стал постоянным сотрудником и идейным руководителем этого журнала.

Таким образом этот ежемесячник мало-по-малу стал органом ре-визионизма. Впрочем, это чисто теоретическое движение имело в де-ствительной жизни гораздо меньшее значение, чем это казалось в его литературным выступлениям. Те, которые знакомились с реви-зионизмом только по его литературе, как это в особенности делали ин-ностранцы, обыкновенно придавали ему гораздо более важное значе-ние, чем оно имело на самом деле.

Для дальнейшего развития авторитета и успеха ревизионистов в гораздо большей степени имела значение не их теория, а их практика, те практические позиции, которые они занимали по отношению к своим противникам, в отношении к различным вопросам, событиям и личностям. Ревизионисты не были связаны ни одной общей единой теорией, за которую можно было бы бороться сообща, их объединяло только то, что они все, в одинаковой мере, чувствовали себя свободными от всякой теории, которая могла бы препятствовать практической деятельности, или стеснять ее. У них выработалась практика:— поступать сообразно требованию момента, по своему непосредственному чутью определяя положение вещей, при чем, однако, всегда ориентируясь на буржуазную идеологию и замгрывая с буржуазными идеологами и литераторами.

Ганноверский конгресс отразил только теоретические атаки на основные принципы марксизма, оставив открытым даже такой вопрос, как допустимость пересмотра программы партии. Однако уже тогда на конгрессе обнаружилась наличность огромного количества приверженцев его практических принципов и лозунгов.

Борьба продолжалась дальше, и партия должна была на основании этих практических принципов и тактических шагов изучать и на деле испытывать все направление бернштейнского мировоззрения. Это было задачей и делом ближайших лет.

Классический образцовый пример ревизионистской практической тактики не замедлил представиться непосредственно вслед за конгрессом. Уже до Ганноверского конгресса во Франции разыгралось событие: на почве аферы Дрейфуса, борьба милитаристически-клерикальной реакции с радикально-буржуазными республиканцами, борьба, в которой принимал участие и пролетариат и которая в конце концов привела к социалистическому министерскому посту Мильерана. В начале это событие рассматривалось, как исключительный случай необходимости выхода из данного положения, о котором мы в Германии, как иностранцы, не могли составить себе исчерпывающего представления. Известно было нам только то, что довольно значительная часть французского рабочего класса, была до крайности возмущена коалицией министра-социалиста с палачом Парижской Коммуны Галлифе. Но вскоре сам Мильеран и вместе с ним все ревизионисты, начали смотреть на этот исключительный случай совсем иначе: именно, как на новый метод социалистической борьбы, как на метод завоевания политической власти по частям. Поэтому ревизионисты приветствовали выступление Мильерана, как увенчанную успехом новую тактику повседневной мелкой практической работы.

Собравшийся в Париже в сентябре 1900 года интернациональный социалистический конгресс, однако, не поддержал и не одобрил этой новой тактики. Наоборот, на этом конгрессе была принята резолюция Каутского, в которой говорится, что завоевание политической власти в странах, где правительственная власть централизована, не может совершаться урывками, по частям, что вступление социалиста в министерство буржуазного правительства может быть допущено, как вспомогательное тактическое средство лишь в самых крайних случаях нужды, и только с особого разрешения и по поручению партии, которая в каждом данном случае должна решить, имеется ли налично крайняя необходимость такого шага.

Бернштейн высказался против этой резолюции и выразился по поводу обоснования ее так: «Это значит отречься от эволюционной теории, на которой построен марксизм, пожертвовать ею в пользу противоположной теории социальных катастроф». Этим он установил тождественность ревизионизма с новым методом и тактикой Мильерана.

Хотя резолюция перенесла вопрос о Мильеране и мильеранизме в область тактики, но содержащиеся в ней условия, вся ее формулировка и аргументировка определенно осуждает тактику Мильерана. Чем больше с течением времени обнаруживалась настоящая сущность Мильерана, как политического карьериста, чем больше «социализм» и «новая тактика», «новые методы социалистической борьбы» превращались в его устах в простую фразу, имеющую одну цель: придать особую окраску и блеск всяким его правительственным выступлениям,—тем больше были разочарованы и, наконец, совершенно обескуражены ревизионисты—приверженцы мильеранизма и его «новых методов», те самые, которые раньше восторгались им. Этим самым пошло на убыль и постепенно стало исчезать и восприятие ревизионистов «практической политики» вообще.

Министерский пост этого политического, вскоре разоблаченного, карьериста,—Мильерана,—от которого, впрочем, скоро избавились, творил не так уже много бед. Гораздо больше неприятности приносила «тактика блокирования» со стороны общепризнанного вождя французского рабочего движения—Жореса. Благодаря его участию в правительственной блоке, французское рабочее движение было совершенно дезорганизовано и в конце концов пришло к полному распаду. Этот опыт потом сильно повлиял на резолюцию Амстердамского интернационально-социалистического конгресса (1904 год).

Практическая позиция многих выдающихся вождей ревизионизма по отношению к различнейшим вопросам дня все более и более ясно показала, чьим духовным детищем является ревизионизм. Уже на партконференции в Ганновере пришлось серьезно обсуждать выступление Макса Шинпеля в ревизионистском журнале «Социалистический Ежемесячник» по вопросу о милитаризме. В этих статьях Шинпель высмеивает наше отрицательное отношение к милитаризму и тот пункт нашей партийной программы, который требует организации народной милиции вместо постоянной армии. Когда англо-бурская война в Тригваале вскрыла все мерзости современного империализма, тогда Бернштейн и Кальвер в своих статьях высмеивали «ограниченность», «сентиментальную пацифистическую романтику», сказывающуюся, якобы, в «культе бурлюбия», и восхваляли колониальную политику крупных капиталистических империй. Как, несомненно, «прогрессивный шаг в процессе исторического развития».

На партконференции в Майнце, 1900 г., где в порядке дня не было никакой дискуссии по вопросу о ревизионизме,—Кальвер в своем реферате о торговой политике обнаружил, однако, довольно подозрительную солидарность с германской правительственной таможенной политикой и выступил, между прочим, в защиту таможенной войны с Америкой. Несколько лет после этого Шинпель дошел до того, что стал приписывать правильность аграрных защитительных хлебных пошлин, так что он вынужден был, вследствие этого, вернуть партийной его депутатский мандат в рейхстаг.

Благодаря всем этим проявлениям ревизионистской мысли и ее применениям на практике, широкие массы с.-д. партии все больше и больше уяснили себе истинный характер и сущность этого направ-

ия. И вот это-то настроение неудовольствия впервые прорвалось наружу на партийном в Любеке в 1901 г.

В конце 1900 г. Бернштейн выпустил в свет сборник своих прежних статей под общим заглавием: «К истории и теории социализма». В этом новом издании сочинения Бернштейна резко выступает наружу явный уклон в его мирозерцании. Из всех его старых статей, печатавшихся раньше в журнале: «Neue Zeit», он тщательно вычеркнул политические выражения, которые особенно резко задевали наших противников, оговорившись в предисловии, что он опускает в своих старых статьях только те резкости и нападки на личность, которые перестают границы объективной справедливости и в которые теперь не могут быть оправданы ничем, кроме разве субъективной горючести автора. В действительности же были вычеркнуты очень многие и верные характеристики взглядов наших противников, и Каутский прекрасно доказал это в своей рецензии книги Бернштейна на целом ряде сопоставлений и выдержек старой и новой редакции статей. Бернштейн же в своем предисловии как бы пытается изобразить дело так, будто он и тогда еще трактовал классовую борьбу, как борьбу абстрактно-научных разногласий в мировоззрениях. На самом деле оказывается, что Бернштейн отходит далеко назад от своей старой точки зрения в направлении дружелюбного, предупредительного отношения к защитникам господствующего буржуазного строя общества. В то время, как он тщательно вычеркнул из своих сочинений все, что может задеть буржуазных идеологов и либеральных профессоров, он не стесняется беспощадно и едко нападать на Каутского и др. марксистских писателей. И эти ядовитые стрелы оказались только в новых статьях Бернштейна. Не характерно ли это?

Эту тактику пренебрежения к классовым противоречиям между буржуазией и пролетариатом и тенденцию к сглаживанию остроты этих противоречий Бернштейн продолжал обнаруживать и после того, как он вернулся из своей политической ссылки обратно в Германию (из Англии). Возможно, что германское правительство, которое тем временем разрешило ему вернуться на родину, надеясь, что его влияние поведет к расколу с.д. партии, что, во всяком случае, партия будет, таким образом, совращена со своего твердо намеченного пути.

Ожидания эти, однако, не оправдались, и результат получился обратный: с возвращением Бернштейна из ссылки исчезло и обаяние и ореол славы его, как политического ссыльного, и вместе с тем и его влияние и авторитет среди масс стали падать все больше и больше.

17 мая 1901 года, Бернштейн выступил с публичной лекцией в Берлинском университете перед студенческим обществом на тему: «Возможна ли научный социализм?». Эта публичная лекция послужила непосредственным поводом к «бернштейновским дебатам» на партийном в Любеке.

В этой своей лекции Бернштейн начинает с критики известных слов Фридриха Энгельса, что социализм из утопии превращается в науку благодаря разоблачению тайны капитализма и раскрытию сущности процесса образования прибавочной стоимости, также благодаря методу исторического материализма. Однако раскрытие сущности прибавочной стоимости,—возражает Бернштейн,—не может ведь превратить социализм в науку, потому, что требования социализма базируются ведь, по мнению самого Энгельса, не на факте прибавочной стоимости,—это было бы плачевным обоснованием социализма,—а на банкротстве системы, на крушении капитализма. Но ведь это крушение капитализма такой же спорный вопрос, как и многие другие: как

железный закон заработной платы, как теория обинщания масс, одним словом—исторический материализм далеко не так прочно обоснован, как принято думать. Каким же образом может социализм быть наукой? Социализм—это состояние, или движение в пользу широкой масс кооперации, или учение о ней. Это движение базируется не на познании, а на определенных интересах.

В качестве борьбы за определенную, желанную цель—социализм все еще содержит в себе огромную долю утопии. Резкая граница, которую Энгельс провел между утопией и наукой между утопистами и Марксом, в действительности не существует. Между теми и другими есть только разница в степени. Не верно, будто утописты только выдумывают из головы, а Маркс открывает «социалистическое» общество: выдумывает из головы и Маркс, и открывает общество—и утописты. Партия не может существовать без предссылок и должна до известной степени быть нетолерантной, потому партия и наука должны быть резко разграничены друг от друга, должны быть врозь и независимы одна от другой. Совершенно ошибочно утверждать, будто научный социализм может доказать внутреннюю необходимость и даже неизбежность социализма. Этого доказать невозможно: «Люди не бездушные и безвольные автоматы». Научно можно доказать только желательность и возможность социалистического строя.

Эта основная мысль была вслед за тем с еще большей ясностью выражена в статье Берштейна в «Социалистическом Ежемесячнике». «Социализм не может быть наукой, потому что он зависит от человеческого воли, а куда будет направлена эта воля—этого никакая наука предсказывать не может». Эта мысль не была нова в кругах ревизионистов: Конрад Шмидт еще в самом начале берштейновской дискуссии писал, что идеал социализма—дело веры. Но всеобщее возмущение в партийных кругах вызвало, главным образом, то, что Берштейн позволял себе такие нападки на основные принципы нашей партии преподнести в виде научной публицистической лекции в кругу наших противников.

Обыкновенно каждый рядовой партийный работник чувствовал раньше, что и мы не лыком шиты, что перед ученостью господ профессоров мы можем гордиться подлинно-научным характером социализма, а тут ему приходится быть свидетелем того, как Берштейн в лагере наших противников—именно этих буржуазных профессоров и интеллигентов—высмеивает наивность с.-д. и ненаучность истового или социализма. То обстоятельство, что содержание доклада Берштейна вполне гармонизировало с трибуной, с которой он был прочитан, и с аудиторией, перед которой он распылился,—особенно подчеркнуло буржуазные тенденции доклада и вызвало сильнейшее возмущение партийных масс. Это возмущение отчасти и было направлено против центрального партийного органа: «Форвертс», который в тогдашней редакции своей вообще пытался во всем сглаживать противоречия и разногласия внутри партии, по возможности успокаивать стороны и затухивать острую выступлений как оппозиции, так и ее противников. Поэтому и в данном случае «Форвертс» не занял определенной позиции по отношению к выступлению Берштейна и даже совсем не высказался по этому поводу.

На эту редакцию «Форвертс» обрушилось прежде всего возмущение большинства партии на съезде в Любеке в «пресдебатной» дискуссии по вопросу о печати: «Эти дебаты непосредственно связаны известной берштейновской дискуссией» на Любекском партийном

II. После Любекского партийтага.

О Любекском партийтаге писал несколько недель спустя Август Бебель в партийном органе, в журнале: «Die Neue Zeit», следующее:

«Многие удивляются тому, что дебаты о ревизионизме приняты на партийтаге такой страстный, порой прямо бурный характер, в то время как все ожидали, что они будут протекать более спокойно. Те, которые не понимают этого страстного тона дебатов,—пишет далее Бебель,—совершенно упускают из виду психологическое влияние событий последних четырех лет и связанной с ними внутривнутрипартийной оппозиции. Начиная с Гамбургского партийтага нам беспрерывно приходилось иметь дело с разбирательством мировоззрений, принципиальных позиций и оппозиционных выступлений целого ряда видных партийных работников, очутившихся в резком противоречии к установившейся в нашей партии точке зрения, к прежним нашим тактическим методам и принципам... Это вызвало глубокое возбуждение и даже возмущение в широких партийных кругах...

...Наши враги, конечно, не преминули использовать наши распри и всю эту сумятицу дискуссионных выступлений (*unruhigende Meinungsäusserungen*) нашей ревизионистской оппозиции в своих интересах и во вред нашей партии...

Благодаря всему этому в широких массах и партийных кругах накопилось так много недовольства, возмущения и ожесточения, что казалось себе выхода и, наконец, прорвалось наружу в настроениях, дебатах и голосованиях на партийтаге (1901 г. в Любеке). Эти объяснения и бурный характер дискуссий, и подавляющее большинство голосов, высказавшихся за резолюцию, осуждающую тактику ревизионистов. В самом деле:难道 ведь никакая партия не может мириться с таким положением вещей, если она не хочет нанести серьезный ущерб своим насущнейшим интересам. Тем более этого не может терпеть наша партия, потому что она со всех сторон окружена врагами, притом смертельными врагами, а потому твердая политика, спаянность единством принципиальных теоретических и тактических выступлений соискнутыми рядами—является для нее вопросом жизни, насущнейшей необходимостью для ее успеха и влияния среди широких масс пролетариата. Поэтому партия не может допустить, чтобы беспрерывно подвергались сомнению и оспариванию ее тактические и принципиальные основы, не может допустить, чтобы выдвигалась такая критика, которая производит впечатление, будто критикуют только ряд удовольствия и забавы самими процессом критики («оппозиция ради оппозиции»), не заботясь о том, что она находится в состоянии беспрерывной ожесточенной борьбы со своими смертельными врагами, окружающими ее со всех сторон»...

Эти слова Бебеля ясно показывают, что благожелательная и ожидаемая позиция, которую известная часть партии занимала по отношению к практическим воззрениям ревизионистов несколько лет назад,—теперь уже сильно изменилась в обратную сторону. Это было, с одной стороны, результатом той практики

тактики самих ревизионистских вождей, благодаря которой упил наружу и стал разоблачаться истинно-буржуазный характер этого направления. С другой стороны, к этому прибавились еще общие, чисто-экономические причины: в 1901 году кончился период экономического подъема и наступил промышленный кризис. Вследствие этого все надежды и ожидания ревизионистов исчерпались, новые формы развития капитализма и вытекающие отсюда новые методы социалистической борьбы излетели в прах. Классовые противоречия стали все более и более обостряться и резко выступать наружу в ожесточенных сражениях между рабочими и предпринимателями, — а иллюзия мирного развития капитализма в направлении промышленно-экономического прогресса — окончательно спарилась.

Эти причины стали в последующие годы влиять все сильнее и сильнее, между тем как ревизионисты своими бестактными выступлениями, своими заигрываниями с буржуазными партиями стали вновь и вновь раздражать партию и широкие пролетарские массы.

Это привело, наконец, к тому, что в 1903 году партия решительно положила конец «бестактной тактике» ревизионистов и их теоретическим и принципиальным блужданиям и их политическим пожеланиям. Ясную картину этого последнего и решительного поворота ревизионизму дает III том настоящей серии сборников материалов.

Берлин, декабрь 1906 г.





Теория кризисов Маркса¹⁾.

М. Спектатор.

I.

Нельзя сказать, чтобы проблема кризисов была с достаточной определенностью выяснена не только в буржуазной экономии, которая сознательно стремится запутать этот вопрос, как-нибудь «заговорить» эту основную, неизлечимую болезнь капитализма, но и в марксистской литературе. На заре капитализма буржуазная экономия пыталась отрицать самый факт промышленных кризисов. Она признавала кризисы лишь в недостатке каких-нибудь предметов вследствие естественных несчастий (неурожая, наводнений и т. п.), от спекуляций (кредитные и денежные кризисы), наконец, от неравномерного распределения производства по отдельным областям народного хозяйства, вследствие чего могли создаваться недостаток в одних предметах и излишек в других. Но общего переполнения рынка товарами, не находящими себе сбыта, падения общего уровня товарных цен она себе не могла представить. В настоящее время отрицать факт общих кризисов не представляется возможным. Но от признания этого факта буржуазная экономия пыталась вначале отделаться заявлением, что капитализм постепенно вылечивается от своей болезни, что действие кризисов все ослабевает, так как капитализм в картелях и трестах нашел средство исцеления. Когда оказалось, что, несмотря на картели и тресты, кризисы не только не прекратились, но даже участились, что и действие их отнюдь не ослабло, тогда кризисы были объявлены «естественным» явлением, регулярно повторяющимся, независимо от характера и системы производства, и, подобно движению небесных тел, могут быть только математически изучены. Стоит только уловить, какие линии следует начертить, исходя из законов математики, и перед нами открывается история будущего... Во всяком случае, пусть никто не мечтает о том, что можно будет когда-нибудь освободиться от этого бича пролетариата: непреложные законы математики говорят, что в определенные периоды хозяйство должно пройти через стадию кризиса или депрессии. Вот основной социальный смысл современной «математической школы» в политической экономии и ее теории хозяйственных циклов.

В нашу задачу не входит анализ буржуазных теорий кризисов. Мы касаемся их постольку, поскольку они в известном смысле могут усилить нам марксистскую теорию кризисов.

¹⁾ Глава из подготовляемого к печати III тома «Мирового хозяйства до и после войны».

II.

Отрицание возможности кризисов опиралось раньше на представление о том, что в капиталистическом обществе, основанном на товарно-денежных и кредитных отношениях, с одной стороны, и на эксплуатации труда, с другой, происходит простой товарообмен, основанный исключительно на разнице в потребительской стоимости обмениваемых между собой товаров. На самом деле, основная идея системы Сэя-Рикардо сводилась, как известно, к тому, что продукты продаются за продукты или «услуги», деньги служат при этом только орудием, посредством которого совершается этот обмен. Если произведено слишком много одного товара, для которого нет сбыта, то это потому, что другого товара, на который он мог бы быть продан, произведено слишком мало. Иначе не было бы перепроизводства. Такова схема хозяйственного развития Сэя и Рикардо¹.

В основе этих «теорий» лежит обобщение факта простого товарного обмена, который на самом деле не может совершаться иначе, как при купле и одновременной продаже товаров. При наличии денег этот акт распадается пространственно и во времени. Мы продаем свой товар сегодня и купим в другой раз или в другой стране. Следовательно, в данное время или в данном месте может оказаться больше товаров, чем на них имеется спрос, и проявиться дисбаланс порция, а следствием ее — вынужденная продажа товаров по низким убыточным ценам, — кризис.

На эту возможность расхождения во времени одних потребностей от других указывал в свое время и Смит и Денн. Но только Маркс, исходя из своей теории стоимости, дал убийственную критику этих теорий.

На заявление Рикардо, что «продукты всегда покупаются за продукты, или приобретаются за услуги», Маркс замечает, что

«товар, в котором имеется противоположность меновой и потребительской стоимости, превращается (у Рикардо.—М. Сп.) просто в продукт (потребительскую стоимость), а потому к обмен товаров превращается просто в обмен, торговлю продуктами, только потребительскими ценностями. Нас отодвигает назад не только за капиталистическое производство, но даже за простое товарное производство, и самое сложное плетение капиталистического производства — мировой кризис — отрицается путем отвлечения первого уровня капиталистического производства, — именно, что продукт должен быть товаром, что он поэтому должен быть представлен в деньгах к продажам процесс метаморфозы» («Теория прибавочной стоимости», 2 т., стр. 27).

И далее:

«Если бы товар не мог быть изъят из обращения в форме денег и если бы обратное превращение денег в товар нельзя было отодвинуть назад — как это имеет место при непосредственной меновой торговле — купля и продажа совпадали, то исчезла бы возможность кризисов при случайных предположениях. Ибо предполагено, что товар является потребительской ценностью для других товаропроизводителей. В форме непосредственного

¹ По существу, уже Tucker в его работе «Reflections on the expediency of a law for the naturalisation of foreign protestants» (1751) отрицает возможность общего перепроизводства. Кенн (1766) подчеркивает, что покупки означают продажу и обратно, что одно без другого не может совершиться, желая этим доказать, что деньги играют только роль посредников. Необходимость предпринимать продажи товаров, чтобы быть в состоянии покупать другие, подчеркивается особенно четко Mercier de la Rivière (*L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*) (1767). Он признает, что отдельные сделки могут наталкиваться на затруднения вследствие нерегулярности покупок и продаж, но в месте равновесия между покупками и продажами восстанавливаются.

Е. Бергман (*Geschichte der Handelskrisen*) (1895) указывает еще на один английский аноним, который в своей работе от 1795 г. высказывал те же взгляды.

мировой торговли товар не может быть обменян лишь в том случае, когда он не является потребительной ценностью, или же когда на другой стороне нет других потребительных ценностей для обмена на него,—следовательно, лишь при двух условиях: или когда одна сторона производит бесполезные вещи, или когда на другой стороне нет ничего полезного, что могло бы обмениваться в качестве эквивалента на потребительную ценность, имеющуюся на первой стороне. Однако в обоих случаях вообще не было бы обмена. Но поскольку обмен произошел бы, его моменты не были бы раздвинуты. Покупатель был бы продавцом, продавец—покупателем.

«Трудность превращения товаров—особого продукта индивидуального труда—в деньги, в их противоположность, в абстрактно всеобщий, общественный труд, заключается в том, что деньги не существуют, как особый продукт индивидуального труда, что тот, кто продал, следовательно, у кого товар уже имеется в форме денег, не вынужден тотчас же покупать, снова превратить деньги в особый продукт индивидуального труда» (Там же).

Это во-первых.

Во-вторых, мы имеем дело не просто с денежными, а с капиталистическим хозяйством. Вместо заработной платы, Рикардо говорит об «услугах»,—слово, в котором исключена специфическая определенность наемного труда и его значения—именно... создание прибавочной стоимости. Отсюда и дальнейшая ошибка Рикардо, который заявляет:

«Каждый человек производит для потребления и ли для продажи, и он продает только с целью купить какой-нибудь другой товар, который мог бы быть ему полезен или мог бы способствовать дальнейшему производству».

Маркс называет эту мысль Рикардо «ребяческой болтовней».

Ибо «ни один капиталист не производит для того, чтобы потратить свой продукт. И когда речь идет о капиталистическом производстве, то совершенно верно, что «никто не производит, имея в виду потребление своего продукта», даже в том случае, когда он берет часть своего продукта для промышленного потребления. Раньше упущено было из виду даже общественное разделение труда. В такой стадии общественного развития, когда люди производят для самих себя, на самом деле нет кризисов, но нет также и капиталистического производства. Мы также никогда не слышали, что древние со своими основаниями на работе производством знали когда-нибудь кризис, хотя отдельные производители и у древних могли обанкротиться. Первая часть альтернативы является бессмысленной. Также вторая. Человек, который произвел продукт, не имеет выбора, хочет ли он продать или нет. Он должен продать. В кризисах именно и проявляется тот факт, что он не может продать, или должен продать только ниже цены производства, или даже с возмозительным убытком. Какое значение имеет для него и, следовательно, для нас то, что он производит для продажи? Важно именно знать, что мешает этому хорошему намерению.

Далее: «Каждый человек продает только с целью купить какой-нибудь другой товар, который мог бы быть ему непосредственно полезен, или мог бы способствовать дальнейшему производству». Какое милое изображение буржуазных отношений! Рикардо забывает даже то, что кто-нибудь может продавать, чтобы заплатить, и эти вынужденные продажи играют очень важную роль в кризисах. При продаже капиталист имеет прежде всего в виду обратное превращение своего товара, или—лучше—своего капитала, представленного в товарах, в денежный капитал, чтобы таким образом реализовать свою прибыль. Потребление—доход, поэтому не является определяющей целью этого процесса, чем оно во всяком случае является для того, кто продает товары только с целью превратить их в жизненные средства. Но это не капиталистическое производство, для которого доход является результатом, а не определяющей целью. Каждый продает, прежде всего, для того, чтобы продать, т.е. чтобы превратить товар в деньги.

Во время кризиса человек может быть очень доволен, когда он продал, а он не думает вначале о купле. Во всяком случае, чтобы реализованная ценность снова действовала, как капитал, она должна прервать процесс воспроизводства, следовательно, она снова должна быть обменяна на труд в товар. Но кризис составляет именно момент нарушения и прерывания в процессе воспроизводства. И это нарушение не может быть объяснено тем, что оно не происходит в такие периоды, когда нет кризиса. Не подлежит

никакому сомнению, что нинто «не будет продолжать производить то, на который нет спроса», но о такой нелепой гипотезе нинто и не говорю. И она вообще совершенно не относится к делу. Целью капиталистического производства, прежде всего, является не «владение другими товарами», присвоение ценности, денег, абстрактного богатства» (Там же, стр. 27).

Итак, то, что для Сэя и Рикардо, как и для их предшественников и последователей, должно было явиться доказательством невозможности общего кризиса, является для Маркса основной предпосылкой к кризисам. Он ее вскрывает в самой сущности товарного производства. Товарное хозяйство имеет дело не с потребительной, но с меновой стоимостью. В последней заложено глубокое противоречие между индивидуальной и общественной стоимостью, которая выступает в виде денег. Противопоставление частного труда общественному, которое совершается в процессе обмена отдельных товаров на деньги, как выражение общественного труда, и дает возможность разрыва в этом процессе, кризиса.

«Имманентная товару противоположность потребительной стоимости,—читаем мы в «Капитале» (т. I, р. изд., 1920 г., стр. 83—84),—и стоимости частного труда, который в то же время должен представлять собой непосредственно общественный труд, особенного и конкретного труда, который, однако, функционирует как абстрактный и всеобщий труд, олицетворения вещей и овеществления лиц,—это имманентное противоречие в полярной противоположности товарных метаморфоз получает развитые формы своего движения. Следовательно, уже эти формы заключают в себе возможность—однако только возможность кризисов. Превращение этой возможности в действительность требует целого ряда условий, которые в рамках простого товарного обращения вовсе еще не существуют».

Таким образом, Маркс вскрыл корни кризиса в самой сущности товарного производства. Переходя к дальнейшему выяснению роли денег, он констатирует «возможность кризиса, обусловленную формой денег, как платежного средства». И здесь мы имеем два момента: деньги—мерило стоимостей и деньги—средство реализации стоимости. Эти два момента могут распадаться, прежде всего, потому, что в промежутке между этими моментами изменилась сама стоимость товаров в сторону понижения. Тогда вырученные деньги не могут покрыть расходов. Отсюда кризис. Или распадение этих моментов происходит во времени. К определенному сроку товар не продан, обязательства не могут быть, поэтому, выполнены. Тогда получается кредитный кризис, который принимает форму денежного кризиса, но не в смысле переполнения рынка денежными средствами, а в смысле их недостатка. Не будучи в состоянии продать в нужный момент свой товар, должник не получает необходимые средства для оплаты. Кредитные кризисы есть, следовательно, результат переполнения рынка и замедления или полной невозможности продажи произведенных товаров по данным ценам, а следовательно, и реализации вложенной в них стоимости. «Экономисты,—говорит Маркс, имея в виду буржуазных экономистов своего времени, но это замечание бьет и по Тугану, Каппелю и их сторонникам, объясняющим кризисы «недостатком капитальных средств».—любят выставлять эту само собой разумеющуюся форму, как причину кризисов». Между тем денежный или кредитный кризис только внешнее выражение «первой формы кризиса»—приостановки реализации товаров.

Дальнейшую возможность кризисов Маркс видит в моменте превращения денег в капитал. Раньше Маркс разбирал возможности кризиса при товарном и денежном хозяйстве. Теперь он переходит уже к капиталистическому хозяйству и указывает на затруднения, на которые может натолкнуться процесс превращения денег в капитал, основная предпосылка капиталистического хозяйства. Такие затруднения могут встретиться, если вдруг поднялись цены на сырье. Тогда «нарушаются отношения, в которых должны были бы обратно превратиться в различные составные части, чтобы производство продолжалось в прежних размерах. Должно быть больше затрачено на сырой материал, остается меньше для труда, и не может быть поглощено такое же количество труда, как раньше». Ибо обрабатывается меньше сырья и для переменного капитала остается мало свободных средств. «Воспроизводство не может быть повторено на той самой ступени. Часть постоянного капитала стоит без употребления, часть рабочих выброшена на улицу».

Недостаток сырья является, как мы еще увидим, действительной причиной периодических кризисов. Но пока мы рассматриваем его только как одну из возможностей нарушения процесса воспроизводства, вызванную случайными естественными моментами (неурожаем) или другими факторами (военными разорениями и т. п.).

Кризис, вызываемый недостатком в одних каких-нибудь продуктах, признавался и школой Сэя-Рикардо. Частичное дуперпроизводство отдельного товара, как следствие недостаточного производства другого, выдвигалось ею в объяснение явления кризисов. Но такое объяснение названо Марксом «жалкой вылазкой». Ибо уже анализ взаимоотношений между товарами и деньгами доказывает возможность перепроизводства в с е х товаров, которые нельзя обменять на деньги, так как товары не находят покупателей. И само собой разумеется, что их не покупают по тем ценам, которые за них требуют. Избыток товаров всегда является относительным, т. е. — это избыток при известных ценах». Ибо речь идет не об абсолютном перепроизводстве, превышающем действительные потребности, как наивно представляет себе Рикардо, а о перепроизводстве при данной покупательной способности рынка.

И, разбирая этот вопрос, Маркс снова подчеркивает «нелепый способ отрицания кризисов», который мы встречаем у Рикардо и который состоит в утверждении, что потребители (покупатели) и производители (продавцы) в капиталистическом обществе тождественны. Наоборот, они совершенно отделены друг от друга. Землевладелец и денежный капиталист (и все, связанные с ним) ничего не производят, но потребляют, а то, что рабочие производят, они совсем не потребляют. Ибо они ведь производят прибавочную стоимость, т. е. кое-что сверх того, что они получают. Как же потребляют они то, чего они не получают? Если бы они производили только то, что они получают, их не занимали бы. «Их работа тогда приостанавливается, или сокращается, или, во всяком случае, их заработная плата понижается. В последнем случае, — прибавляет Маркс, — когда производство продолжается на той же самой ступени, они не потребляют эквивалента за свое производство. Но тогда им не хватает жизненных средств не потому, что они недостаточно производят, а потому, что от своего продукта они получают слишком мало».

III.

Последний момент, что рабочие потребляют слишком мало, являлся, как основная причина кризисов, другим направлением, известным как теория Сисмонди-Родбертуса. В нашей литературе теория Сисмонди нашла подробную критику у Ленина. Мы будем по-прежнему весьма кратки и ограничимся только одним указанием, что по этому поводу, как ошибки Сэя-Рикардо повторяются в теории кризиса и-Барановского, так существует полное сходство между теорией Сисмонди и теорией Розы Люксембург.

Сисмонди стоит обеими ногами на позиции Сэя и Рикардо. Он не держится того мнения, что продукты обмениваются на продукты, весь созданный в течение определенного периода общественный продукт распределяется между различными классами, как доход, и часть идет на личное потребление. Он только указывает на трудности, которые возникают в процессе уравнивания между различными областями одного хозяйства. Если предложение, — писал он, — опережает спрос, сокращение производства затруднительно. Ибо основные капиталы могут переноситься из одного завода в другой, — момент, который вследствие на самом деле стал играть крупную роль; затем рабочий, вышедший к какой-нибудь профессии, не может легко покинуть ее, и рабочий согласится получить меньше. Далее, Сисмонди указал на влияние машины на рабочих и на разорение мелких производителей, хотя он и не возражал против применения машины, если рабочему может быть вменена другая работа. В этом отношении он оказал влияние на Рикардо, который впоследствии переменил свой взгляд на значимость машины и признал отрицательные стороны ее капиталистического применения. Наконец, Сисмонди утверждал, что под влиянием введения машины и концентрации производства исчезает средний класс, понижается уровень жизни рабочих и сокращается внутренний рынок вследствие этого, «индустрия все более вынуждается искать сбыта своих товаров на внешних рынках». Вот это последнее положение Сисмонди, как известно, и пользовалось широким признанием среди народников, так и в некоторых кругах марксистов.

На это Маркс ответил, что внешняя торговля ведь «только» расширяет туземные изделия другой потребительной или другой натуральной формой». «Продают, — писал Ленин, — значит, получают эквивалент; вывозят одни продукты — значит, ввозят другие».

Повидимому, и Сисмонди чувствовал всю шаткость такой позиции. В личной беседе с Рикардо, как он сам передает, они «исключили» рассмотрение (— М. С.) тот случай, когда нация продает иностранным больше, чем покупает у них». Он выдвигал в этой беседе с Рикардо предположение о возможности кризиса, как аргумент, исключительно «для» доказательства равновесия капиталистического хозяйства.

Во всяком случае, Сисмонди подчеркнул тенденцию капиталистического производства опередить потребление. Но у него она приняла характер постоянно действующего фактора. Обвинение шло и шло: он бесперывно, безудержно, утверждал он. Почему же, однако, мы не имеем перманентных кризисов? Почему они проявляются только в известные моменты? Более того, они проявляются как раз в моменты, когда положение рабочих относительно улучшается, повышается зарплата, уменьшается безработица во время промышленного подъема, которое, конечно, кончается непременно кризисом.

Ошибка Сисмонди состояла в том, что он, как все классики, предполагал, что весь общественный продукт должен ежегодно потребляться капиталистами или рабочими. Но один не хотят и не могут потреблять все, что они получают, а другие получают слишком мало. Отсюда безвыходное, как ему казалось, противоречие капиталистического производства. Однако все большая часть общественного продукта идет не в личное потребление, а на создание средств производства¹⁾. Именно это великое открытие было сделано Марксом, которое само в состоянии объяснить образование рынка и, как мы еще увидим, феномен кризисов.

Таким образом, Маркс указал на то, что капиталистическое разделение само создает свой рынок, так как все растущая часть общественного производства идет на образование постоянного, специально основного капитала. Однако увеличение основного капитала не может идти без одновременного роста переменного, так как (на это совершенно правильно указывает Бухарин) постройка новых машин, зданий и т. д. тоже ведь требует труда. Важен тот момент, что при быстром развитии техники и производстве средств потребления имеет тенденцию к быстрому росту, обгоняя покупательную способность рынка.

Теория кризисов Родбертуса основывается на так называемом «законое заработной платы» Рикардо, по которому последняя всегда определяется только минимальными физиологическими потребностями; не только доля рабочего класса в общем продукте страны падает, но и абсолютно замечается ухудшение положения рабочего класса. Родбертус категорически утверждает, что «обеднение растет», что спутником роста общественного богатства является «рост нищеты», что, наконец, доля рабочих классов в продукте и вместе с этим покупательная сила большей части общества становится все меньше и меньше. Отсюда и невозможность сбыта произведенных продуктов, кризис.

Здесь мы снова сталкиваемся с тем положением, что все, что производится, идет на личное потребление. Далее, моменты, которые существуют, как постоянно действующие факторы, приводятся в объяснение временных явлений, периодически возникающих. И, конечно, прав был Маркс, отметив, что «кризис подготавливается как раз периодом, когда совершается общее повышение заработной платы и рабочий

¹⁾ Следующая таблица может наглядно иллюстрировать этот факт:

Развитие мирового населения и мировой продукции

Годы	Население (в миллион.)	Продукция	
		Хлопка (в млн. фунт)	Чугуна (в млн. тонн)
1800	640	520	0,8
1900	1.543	6.247	40,4

За 100 лет население увеличилось в 2½ раза, продукция хлопка (предмета личного потребления) в 11 раз, а продукция железа (средства производства) в 50 раз.

Под редакцией Марксизма

асс в действительности получает более крупную долю той части годового продукта, которая предназначена для потребления. Такой вывод — с точки зрения этих рыцарей здорового и «простого» (1) смысла — должен бы, напротив, отдалить кризис».

В нашем исследовании послесоциального кризиса мы докажем и статистически, насколько правильно это указание Маркса: кризисы повторяются как раз в те годы, когда растет доля рабочих и падает доля предпринимателей в общем народном доходе. Характерно, что и Роллартус раньше в том же первом социальном письме к фон-Кирхманн говорит о том, что кризисы наступают как раз после промышленного процветания, когда, между прочим, и «зарплата идет на повышение».

Как бы то ни было, идеи Сисмонди и еще больше Рикардо-Роертуса глубоко засели в сознании первых деятелей рабочего движения Запада. Лассаль, как известно, был ярым сторонником «железного закона зарплат». В первом периоде деятельности Маркса и в особенности Энгельса мы замечаем еще следы этой идеологии, а германский социал-демократия, несмотря на знаменитую критику Готской программы Марксом, по существу исходит в своей повседневной агитационной работе из этой установки, что зарплата определяется минимумом физиологических и т. д. потребностей, а главное, что кризис — результат низкой оплаты труда, что повышение ее создает рынок сбыта излишка продуктов.

Теоретически этим указана основная сущность капиталистического противоречия, точнее, основная предпосылка, но не непосредственная причина, вызывающая кризис. Обычно она формулируется как противоречие между неограниченной способностью капитализма расширять производство и ограниченной покупательной способностью населения, т. е. рабочего класса.

Каутский, объясняя кризисы, пишет: «С ростом богатства капиталистов и с увеличением численности рабочих, рынок все более расширяется; но так как это расширение рынка совершается медленнее, чем накопление капитала и рост производительности труда, то спрос со стороны капиталистов и эксплуатируемых ими рабочих оказывается недостаточным для поглощения средств потребления, создаваемых крупной капиталистической промышленностью».

Итак, речь идет о перепроизводстве средств потребления вследствие относительно медленного роста спроса на них. Чем, в сущности, эта теория отличается от теории Сисмонди?

На такой точке зрения стоит и Финн-Енотаевский, который и являет, что мнение Ленина, будто Маркс «факту противоречия между производством и потреблением отводит надлежащее второстепенное место», является «безусловно ошибочным». На самом деле, как мы увидим, прав, конечно, Ленин, а не Финн-Енотаевский. Ленин подчеркивает, что этот факт не может объяснить кризисов, вызываемых другим. Более глубоким основным противоречием современной хозяйственной системы, именно, противоречием между общественным характером производства и частным характером присвоения. Это — совершенно верно. Но оно не выясняет еще, почему кризисы проявляются только периодически. Ведь это противоречие, на которое здесь указано, существует постоянно.

На самом деле, в такой общей постановке, как у Финна или Каутского, перепроизводство принимает характер не общего кризиса, а частного, а именно, в области производства предметов потреб-

бления. Произведено их слишком много по сравнению с существующей покупательной способностью рынка. Возможность такого перепроизводства не отрицали и Сэй-Рикардо, как и Туган. Сисмонди утверждал, что оно необходимо при капиталистическом хозяйстве, а Каутский, Финн и другие пытаются объяснить неизбежность их. Но все это, по существу, не двинуло нас с места: кризисы ведь с порадическое явление, наступающие как раз тогда, когда пропасть между накоплением и нищетой масс уменьшается, когда зарплата увеличивается и безработица уменьшается. Новое же промышленное оживление следует за безработицей и падением зарплат.

Н. Бухарин подчеркивает, что кризис—следствие диспропорциональности, т.-е. неравномерного распределения капитала между отдельными отраслями и личным производством и личным потреблением масс. Последняя неравномерность входит составной частью общей диспропорциональности. Очень тонкое и правильное замечание ¹⁾. Однако диспропорциональность, как результат анархического, непланового способа производства, явление постоянное. Почему в определенные моменты эта диспропорциональность приводит к кризисам? Чтобы объяснить кризисы, мало указать на моменты, могущие обрывать производственный процесс. Необходимо еще указать, что потом приводит его в движение, что вызывает промышленное оживление, которое потом регулярно и неминуемо обрывается. Необходимо, следовательно, выяснить причину смены фаз капиталистического производства, а не ограничиваться только указанием на моменты, благодаря которым промышленное оживление не может не оборваться. Так поставил вопрос Туган, и совершенно справедливо.

IV.

Туган-Барановский, взяв за исходную точку марксовский процесс воспроизводства, пытался установить свою теорию кризисов. Но он, как известно, извратил Маркса, разорвав связь между обоими подразделениями общественного производства, между производством предметов потребления и производством средств производства. Мы на этом вопросе не останавливаемся. Отсылаем читателя к работе Н. Бухарина: «Имперализм и накопление». Важнее, с точки зрения теории кризисов, как он объясняет циклическое развитие капиталистического производства. Он связывает его с недостатком капитала. Если в обществе накопился свободный резерв капитала (повидимому, речь идет о денежном капитале), то начинается оживление промышленной деятельности; если расходование капитала приходит к концу, тогда следует промышленный кризис, который, в свою очередь, способствует дальнейшему накоплению «свободного капитала» ²⁾.

Как видим, речь идет о денежных и кредитных кризисах. Причину кризисов он ищет не в самом процессе производства, а во внешних факторах. Но откуда такая регулярность кризисов?

¹⁾ Тем более ценное, что распространенное представление о кризисе исходит из двух причин кризиса: диспропорции и недопотребления. Слагая Туган с народниками, они думают, что получили Маркса.

²⁾ Такое объяснение кризисов мы находим у Е. Барги (См. «Бюллетень Института Мирового Хозяйства» за 1927 г., № 7—8, стр. 13).

Почему обнаруживается недостаток в капитале каждые 7 или 10 лет? Периодичность кризисов Туган объясняет периодическим изменением товарных цен. Но какая существует связь между этим изменением цен и изменениями на рынке капитала? Наконец, как недостаток в капитале порождает немедленно избыток товаров капитала? Ведь сущность кризиса заключается именно в последнем, в перепроизводстве товаров и, следовательно, также капитала в товарной форме.

Теория Тугана имела, тем не менее, огромное влияние на развитие марксистской теории кризисов. Ближе всего к нему подошел Гильфердинг, давший весьма обстоятельный анализ этой проблемы гораздо более глубокий, чем у Тугана. Он показывает, как под влиянием изменения цен на товары в разных сферах происходит перемещение капиталов, вызывающее диспропорциональность в общественном производстве.

Не считая возможным дать здесь критику действительно глубокой теории кризисов Гильфердинга, мы только отметим, что рост цен в определенных товарах выражает собой не что иное, как образовавшуюся диспропорцию в распределении капитала, недостаток его в одних и избыток в других сферах. Если под влиянием роста цен начинается новое перераспределение капитала, приток его в те отрасли, в которых обнаружился наибольший подъем цен, то это говорит за то, что диспропорциональность начинает сглаживаться, а не обостряться. Или, если отрасли хозяйства с высоким органическим строением капитала в состоянии привлечь значительные части капитала, так как они дают сверхприбыль, то остальные как раз во время промышленного подъема в состоянии поднять значительные цены и тем самым привлечь на свою сторону капитал. Исходя из этого, следовало бы полагать, что промышленный подъем ведет не к обострению диспропорциональности, а к ее смягчению. И тогда непонятно, откуда кризис.

В теории Гильфердинга много ценных указаний. Особенно захватывает мысль, что товарные цены повышаются неравномерно, что «кризис наступает в тот момент, когда тенденции к пониженной норме прибыли одерживают победу над тенденциями, которые приводят к повышению цены и прибыли». Но Гильфердингу не удалось, как нам кажется, дать цельную, законченную теорию кризисов. Надо сказать, что, по существу, эти же мысли были уже изложены раньше О. Бауэром в его статье в «Neue Zeit» за 1905 г.

Более ясное и логически законченное изложение теории кризиса Маркса дал некий Эрнх Прайзер (в сборнике «Wirtschaft und Gesellschaft», посвященном Оппенгеймеру и вышедшем в 1924 г.).

V.

В общих чертах теория кризисов Маркса сводится к следующему:

В капиталистически развитом хозяйстве основной спрос исходит из промышленного спроса на средства производства, ибо, Маркс правильно полагает, что С развивается быстрее V. Если какие-нибудь элементы (напр., технические изменения или расширение рынка) вызывают значительный спрос на эти средства производства, то начинается про-

¹⁾ См. также нашу работу «К вопросу о стабилизации капитализма», № стр. 96—111, а также «Введение» Б. Лифшица к сборнику: «Проблема рынка кризисов», 1926 г.

мышленное оживление. Дело в том, что начинаются новые постройки предприятий, шахт, доменных печей, заводов, железных дорог, электрических станций, машин, моторов и т. д. и т. д., а также, конечно, увеличивается спрос на рабочую силу, которая производит все это. Все время, пока идет процесс постройки этих предприятий, предъявляется к рынку спрос на разные материалы (дерево, кирпичи, железо и т. д.) и на рабочую силу, без того, чтобы рынку возвращалась хотя бы часть стоимости этих продуктов или рабочей силы. Только тогда, когда новые предприятия или новые машины начнут действовать, они начнут возвращать постепенно часть своей стоимости рынку. Однако одновременно с постройкой новых предприятий действуют старые, которые переносят на производимые на них продукты части стоимости основных капиталов. Если мы обозначим ту часть общей стоимости, которая вкладывается в новые постройки или в новые орудия производства буквой N , а часть уже созданного основного капитала, которая реализуется уже в созданных товарах и вновь накапливаемую в виде новых средств производства часть прибавочной стоимости буквой A , то положение на рынке, когда приступают к постройке новых предприятий и т. д., может быть выражено одной из следующих трех формул:

- 1) $N < A$, 2) $N = A$, 3) $N > A$.

$N < A$ означает, что спрос, который предъявляется со стороны новых вложений капитала, меньше той части прежнего основного капитала, которая реализуется в товарах. Другими словами, предложение товаров должно превышать спрос, если отвлечься от возможности экспорта, который мы не принимаем во внимание в нашем анализе (или от значительно увеличившегося непроизводительного потребления господствующих классов, или на военные цели). Личное потребление производительных классов не изменяет положения на рынке или, вернее, улучшает его, так как рабочие производят больше, нежели сами потребляют; и только в том случае, если они заняты производством средств производства, то и зарплата, как и стоимость сырья, реализуется в форме товаров на рынке только спустя некоторое время. В этом смысле потребление рабочей силы в отраслях производства средств производства ничем не отличается от потребления сырья и материалов и подразумевается нами в общем выражении N .

Такое положение, при котором новые капитальные вклады меньше реализуемой части старого основного капитала плюс накапливаемая часть прибавочной стоимости, характеризуется на товарном рынке превышением предложения над спросом, низкими товарными ценами и низким уровнем процента.

Некоторое оживление на рынке капиталов и товаров начинается, когда новые вложения достигают таких размеров, что они равняются реализуемой части старого основного капитала, когда $N = A$. Тогда восстанавливается известное равновесие между спросом и предложением. Настроение рынка твердое, хотя цены еще не идут вверх.

Когда же $N > A$, начинается промышленный расцвет; спрос не может быть удовлетворен существующим предложением, наоборот, вызывает расширение старых предприятий, форсирует новые постройки, толкает цены вверх, как и зарплату. Это — момент расширенного воспроизводства основного капитала, которое вызывает и расширенное воспроизводство и других элементов постоянного капитала, как и усиленный спрос на рабочую силу. «В периоды создания нового основного

итала,—говорит совершенно справедливо Туган,—возрастает спрос итигательно на все товары». Верно также и замечание Жюглара, который цитируется Туганом, что «годы промышленного подъема — это годы высоких цен, годы застоя — годы низких цен».

На самом деле мы имеем следующие изменения цены и стоимости течение конъюнктурного цикла: повышение спроса вызывает отклонение цены от рыночной стоимости: когда в процесс производства втягиваются и остальные предприятия, поднимается и общественная стоимость товаров. Когда на рынке получается перепроизводство, цены падают, затем выбрасываются из процесса производства отдельные предприятия и понижается также рыночная стоимость. Кризисом мы, следовательно, называем такое состояние рынка, при котором цены резко и в течение более продолжительного времени падают ниже средней стоимости товаров, а промышленным процветанием, — когда цены отклоняются вверх от средней стоимости. Поэтому указание на колебание цен есть простое описание кризиса. Необходимо выяснить причину отклонения цен от средней стоимости и влияние этого факта на дальнейшее развитие конъюнктуры.

Изменение цен во время промышленного оживления мы объясняем положением рынка, относительно более быстрым ростом спроса, чем предложения. Ибо $N > A$. Новые инвестиции превышают высвобождающиеся части старого основного капитала и новое накопление. Между тем у этих авторов имеется только голое указание на повышение товарных цен без учета влияния этого момента на развитие конъюнктуры. Между тем всякое такое повышение цен является же тормозом дальнейшего развития конъюнктуры.

Повышение цен на сырье, если оно довольно значительное, может вообще привести к кризису. «Если цена сырых материалов возрастает», — говорит Маркс (т. III, ч. I, стр. 94), — становится невозможным за счет заработной платы вполне возместить ее из стоимости товаров. Поэтому сильное колебание цен вызывает перерывы, крупные коллизии и даже катастрофы в процессе воспроизводства». Сильные колебания цен могут быть результатом естественных и случайных моментов (неурожаев, пожаров, войн); важнее второй момент, о котором Маркс в этом месте говорит только мимоходом, а именно — неодинаковый период оборота капитала: «Растительные и животные вещества, рост и производство которых подчинены определенным органическим законам и связаны с известными естественными промежутками времени, в силу этих природных условий не могут быть внезапно увеличены в такой степени, как, например, машины и прочий основной капитал, уголь, руда и т. п., — увеличение количества которых при неизменности природных условий может совершаться очень быстро в промышленно развитой стране. Вполне возможно, таким образом, и при развитом капиталистическом производстве даже неизбежно, что производство и рост части постоянного капитала, состоящей из капитала основного, машин и т. д., значительно обгоняет производство и рост той его части, которая состоит из органических сырых материалов; вследствие этого спрос на такие сырые материалы увеличивается быстрее их предложения, и потому цена их повышается» («Капитал», т. III, ч. I, стр. 95).

В «Теории прибавочной стоимости» (т. II, ч. 2, стр. 183 р. изд.) Маркс к этому прибавляет: «Недостаток сырого материала может, однако, получиться независимо от влияния урожая или обуслов-

естественными причинами производительности труда, составляющего сырой материал. Именно, если в какой-либо отрасли промышленности на машины и т. д. (затрачена) слишком большая часть (накопленной) прибавочной стоимости, добавочного капитала, то сырого (материала) будет недостаточно для нового производства, хотя его было бы достаточно для старой ступени производства. Это, следовательно, получается вследствие неправильного распределения добавочного капитала между его различными элементами. Мы здесь имеем перепроизводство основного капитала.

Эта мысль Маркса вполне объясняет нам подъем цен в период расширенного воспроизводства основного капитала, т. е. в периоды промышленных подъемов, что мы констатировали раньше, исходя просто из рыночных отношений спроса и предложений. Маркс здесь дает только более глубокое объяснение факта расхождения между спросом и предложением, которое заключается в неодинаковом распределении капитала.

Еще важнее влияние повышения цен на спрос. «Очевидно,—говорит Маркс («Капитал», т. III, ч. 1),—что расширение или сокращение рынка зависит от цены отдельного товара и находится в обратном отношении к повышению или падению этой цены». Таким образом, всякое промышленное оживление, вызывающее подъем цен, носит в себе зачатки депрессии. И чем выше поднимаются цены, тем больше суживается круг покупателей, тем больше сокращается рынок.

Шнитц (статья «Krisen» в Handwörterbuch für Staatswissenschaften, 4-е издание) произвел обследование изменения цен в периоды промышленного оживления и кризисов в Германии на основании гамбургской статистики 100 товарных цен.

Он констатирует, что цены на сырье и полуфабрикаты (предметы «косвенного потребления», как он их называет), начинают подниматься приблизительно на один год раньше, чем поднимается общий подъем цен, при чем как раз одновременно с возрастанием потребления железа или когда последнее перешло через последнюю высшую точку. Другими словами, цены на сырье начинают подниматься, когда начинается процесс расширенного воспроизводства основного капитала (которое выражается в потреблении железа). Цены обыкновенно,—говорит он,—идут вверх без перерыва. В период, когда еще не было картелей, подъем цен было прекращался уже за год, или даже раньше, чем обрывался общий подъем промышленности. Начиная с 1890 г., цены оставались высокими до фазы застоя. Иногда как раз в последний год высокой конъюнктуры цены особенно резко поднимались.

Далее, он констатирует, что движение цен на съестные припасы первой категории (хлеб, картофель, зелень, сыр, сало, селедки, сухие фрукты) находится в слабой зависимости от конъюнктуры. Наоборот, цены на съестные припасы второй категории (мясо, молоко, масло, яйца, сахар, рис) движутся параллельно общему повороту конъюнктуры. Повышение начинается чаще еще раньше, чем цены на сырье и раньше превышения прежнего уровня потребления железа. Улучшение положения рабочего класса сказывается в повышенном потреблении именно этих продуктов. И то обстоятельство, что рост цен на эти продукты продолжается до конца конъюнктуры, показывает, что кризис не является следствием истощения покупательной силы рабочего класса. Иначе цены на эти товары должны были бы раньше всего подняться.

VI.

Попытаемся проверить эти данные на основании английской, американской и германской статистики.

Относительно Англии мы имеем данные о потреблении чугуна и хлопка за годы 1880 по 1908 и движение цен за эти же годы. Результат в общем и целом подтверждает выводы Шпиттофа.

Потребление чугуна и хлопка в Англии
и движение их цен

Годы	Потребление чугуна в млн. тонн	Цена в % к 1900 г.	Потребление хлопка в млн. англ. центнер	Цена на хлоп- ок в % к ценам 1900 г.
1880	6,2	76,1	12,3	112,7
1881	6,7	68,8	12,9	112,2
1882	6,9	66,8	13,6	112,3
1883	7,0	61,8	13,4	111,4
1884	6,6	54,7	13,1	109,1
1885	6,6	61,3	11,9	109,8
1886	6,0	50,6	13,1	95,5
1887	6,5	54,9	13,3	96,2
1888	7,0	50,4	13,6	99,1
1889	7,2	59,5	13,7	101,1
1890	6,8	72,6	14,8	102,3
1891	6,6	62,4	14,9	99,1
1892	6,0	61,2	13,6	91,6
1893	6,2	57,7	13,2	93,0
1894	6,7	54,6	14,4	79,1
1895	6,9	56,9	14,6	74,4
1896	7,7	56,7	14,7	68,7
1897	7,8	57,3	14,5	60,1
1898	7,7	62,5	15,5	68,9
1899	8,2	82,6	15,7	73,0
1900	7,7	100,0	14,5	100,0
1901	7,3	74,6	14,7	98,6
1902	7,8	77,1	14,6	97,3
1903	8,0	75,1	13,9	107,3
1904	8,0	69,6	14,0	119,9
1905	8,7	75,0	16,6	101,5
1906	8,5	83,2	17,0	119,2
1907	8,3	88,2	17,6	126,8
1908	7,9	75,3	15,4	116,1

Потребление чугуна в Англии растет до 1883 г., когда оно составляет 7 млн. б. тонн. Цены, если не считать 1880 г., поднимаются в 1882 г. Затем падают до 1886 г. В этом году потребление чугуна падает на самом низшем уровне (6,0 млн. б. т.), после этого оно повышается до 7,2 млн. тонн в 1889 г. Цены же после некоторого понижения в 1887 г. снова понижаются в 1888 г., чтобы в 1889 г. и 1890 г. сделать большой скачок вверх. В 1889 г. английское потребление хлопка впервые превышает свою предыдущую точку. В этом году, следовательно, наступает расширенное воспроизводство. Подъем цен (на 18% в течение одного года) еще относительно не слишком высок.

дальнейшее повышение цен (еще на 22%), повидимому, явилось причиной перелома конъюнктуры, понижения потребления. После 1890 г. цены падают до 1896 г., когда потребление показывает превышение над прежним высшим уровнем (7,7 млн. б. тонн). Потом они идут вверх до 1900 г., хотя потребление показывает некоторый надлом (в 1899 г. 8,2 млн. тонн, а в 1900 г. — 7,7 млн. тонн). Подъем цены с 1899 г. до 1900 г. довольно значительный (21%), и, видимо, он снова явился причиной сокращения потребления. Во время следующего кризиса в 1907 г. мы опять замечаем, что цены продолжают еще возрастать (на 6%), в то время как потребление уже уменьшается с 1905 г. (8,7, 8,5 и 8,3 млн. б. тонн).

Таким образом, движение цен на железо и потребление его заставляет нас полагать, что между ростом цен и потреблением имеется определенное взаимоотношение. Повышение цен за определенный предел вызывает сокращение потребления, хотя это взаимоотношение по годовым срединам не вполне ясно.

Потребление хлопка после кризиса начала 70-х гг. падает очень медленно до 1880 г., когда оно снова поднимается. Цены на хлопок тоже падают до 1879 г. С 1880 г. цена начинает снова падать до 1887 г., хотя потребление возрастает снова с 1885 г., но превышает прежний высший уровень только 1888 г. Цены поднимаются до 1890 г., а потребление в 1891 г. еще выше в 1890 г. Повышение цен здесь вообще невысокое (в 1880 г. на 6,6%, а в 1890 г. — на 1%) и не может влиять на потребление, которое определяется общим состоянием конъюнктуры. В 90-х годах цены падают до 1895 г., а потребление уже в 1894 г. превышает последний высший уровень. Рост потребления продолжается до 1899 г., хотя цены в 1897 г. и 1898 г. резко падают в результате необыкновенных урожаев (23,8 млн. квинталов в С. Штатах 1897 г., против 18,5 млн. квинталов в 1896 г., и 24,8 млн. квинталов в 1898 г.). Момент урожайности влияет здесь на движение цен, усиливая или ослабляя и развитие потребления.

Во время второго подъема до 1907 г. движение цен в общем совпадает с движением потребления. Оба достигают высшего предела в 1907 г.

Итак, в этой области нельзя установить особенной правильности, так как личное потребление зависит от состояния конъюнктуры, с одной стороны, и урожая, с другой стороны.

То же явление отмечается и в Германии. Высшие точки потребления железа приходятся в Германии на годы 1880, 1890, 1900 и 1907. В эти годы и уровень цен на сырье наиболее высок. Надо, однако, сказать, что потребление железа испытывает в Германии только кратковременные перерывы, между тем падение цен продолжается от 1881 г. до 1887 г., далее, от 1891 г. до 1895 г. и затем от 1901 до 1904 гг. Между тем, за годы, например, 1891—1894 потребление железа превышает последний высший уровень на 8%, за годы 1901—1904 — на 8,8%. Повидимому, в таком размере продукция могла расширяться или за счет вывоза готовых изделий, не заставляя прибегать к значительному новому строительству.

Если сопоставить движение потребления чугуна в Германии с движением цен, то получается следующая картина (см. табл. на след. стр.):

С 1884 г. до 1886 г. потребление идет вниз, и в то же время падают цены. Повышение потребления в 1887 г. на 18,2% по сравнению с прошлым годом или на 8,3% выше прежнего максимума, вызывает поднятие цены на 5,3%. В 1888 г. цены поднимаются в таком же размере, как потребление на 12,5% и 12,8%. Следующие два года цены

Годы	Потребление чугуна в млн. тонн	Изменение цены в % к предыд. году	Годы	Потребление чугуна в млн. тонн	Изменение цены в % к предыд. году
1880	2,7	—	1895	5,4	+ 68
1881	2,9	+ 1,7	1896	6,5	+ 64
1882	3,5	+ 1,7	1897	7,1	+ 23
1883	3,5	— 8,3	1898	7,4	— 15
1884	3,6	— 9,1	1899	8,4	+ 20
1885	3,6	— 10,0	1900	9,0	+ 25
1886	3,3	— 15,6	1901	7,9	— 12
1887	3,9	+ 5,3	1902	8,2	— 36
1888	4,4	+ 12,5	1903	9,6	—
1889	4,6	+ 11,1	1904	9,8	—
1890	4,9	+ 50,0	1905	10,5	+ 14
1891	4,7	— 33,3	1906	12,0	+ 30
1892	5,0	+ 2,0	1907	12,8	+ 12
1893	5,0	— 5,9	1908	11,6	— 12
1894	5,3	— 8,3			

алеко опережают потребление (11,1% и 50%), результатом чего явился кризис с понижением потребления на 4,1% и цен—на 33,3%.

1891 г. С 1894 г. потребление начинает нарастать, но цены поднимаются только с 1895 г., когда потребление превышает прежний минимум на 11. До 1896 г. потребление повышается быстрее, чем цены, затем цены нагоняют, а в 1899 и 1900 гг. резко обгоняют его 20% и 25% против 13,5% и 7,1%), с тем же результатом, что и прежде: падением потребления (в 1901 на 12,2% и цены в 1902 г. на 6,7%). 1903 и в особенности 1904 г. уже показывают новый подъем потребления, между тем как цены остаются на том же низком уровне. В 1905 г. подъем цен сравнительно слабый—1,8% при повышении потребления на 7,1% по сравнению с прошлым годом, и на 17% по сравнению с последним максимумом. В 1906 г. и в 1907 г. цены снова опережают потребление (на 24% и 14,2% против 43% и 6,7%). И снова эти новые кризисы.

Можно, следовательно, установить совершенно определенную закономерность: цены начинают подниматься, когда новый уровень потребления обгоняет прежний самый высокий на 8—17%. При дальнейшем расширении производства подъем цен становится значительным, и то же время потребление начинает замедляться, а после резкого подъема цен даже сокращается. Тогда начинается кризис.

VII.

Чем вызывается сокращение потребления железа при возросших ценах? Сокращением потребления готовых железных изделий, идущих как предметы личного потребления? Но железо в личном обиходе играет сравнительно малую роль. Для железодельной промышленности эта доля железных изделий, которая потребляется, как предметы личного потребления, весьма мало ощутительна, если к ней не присоединить и материалы, потребляемые в домоэкономике. Спрос на которые тоже, конечно, сокращается. Во всяком случае, непосредственно влияющим фактором, вызывающим сокращение потребления железа, является, несомненно, другой момент, а именно невыгодность дальнейшей обработки железа.

Дело в том, что цены на готовые изделия не поднимаются в таком же размере, как цены на сырье и полуфабрикаты. Существует определенная закономерность во взаимоотношениях между ценами на сырье и ценами на готовые изделия, которая формулирована Марксом следующими словами:

«При повышении цены сырого материала цена фабриката повышается не в том же отношении и не в том же отношении падает при понижении цены материала» («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 84).

Попытаемся проверить этот закон сопоставлением цен различных товаров. Сначала приводим движение цен на главнейшие железные продукты в Германии.

Цены на чугун и на полуфабрикаты определялись синдикатами, цены на полосовое железо—на свободном рынке, хотя размер продукции регулировался картелями. Поэтому цены на полосовое железо колебались реже, чем цены на чугун и полуфабрикаты.

Так, эти цены были ¹⁾:

Годы	Чугун		Полуфабрикаты		Полосовое железо	
	В марках за тонну	Увелич. или уменьш. в %	В марках за тонну	Увелич. или уменьш. в %	В марках за тонну	Увелич. или уменьш. в %
1880	58	—	—	—	185	—
1882	60	+ 3,4	—	—	145	— 27,7
1886	38	— 36,7	65	—	90	— 35,1
1890	75	+ 97,4	90	+ 41,4	190	+ 111,1
1894	44	— 41,3	68	— 24,4	105	— 44,7
1900	90	+ 104,5	130	+ 91,2	180	+ 71,4
1904	57	— 36,7	82,5	— 36,5	102	— 40,0
1907	75	+ 31,6	97,5	+ 18,2	140	+ 37,2
1909	57	— 24,0	87,5	— 10,2	90	— 35,7

Мы тут приводим только высшие и низшие пункты, вычисляя только колебания цен в процентах. Из этих данных видно, что между ценами на чугун и на полуфабрикаты существует определенное взаимное отношение: цены на полуфабрикаты поднимаются во время хозяйственных подъемов меньше и падают во время кризисов меньше, нежели цены на чугун. Цены на полосовое железо колеблются сильнее, нежели цены на чугун и полуфабрикаты, устанавливаемые синдикатами.

Еще определеннее сказывается эта закономерность, если рассмотреть движение цен (взвешенных, средних) на чугуны и готовые стальные изделия (которые мы берем из Metall-Statistics за 1927 г.).

В 1897 г. цена на чугун была самая низкая, 9,98 долл. за тонну, а цена на стальные изделия была 1,4 цента за фунт, или 31,36 долл. за тонну. В 1901 г. цена на чугун поднялась до 17,82 долл., или на 78,6%; цена на стальные изделия повысилась до 2,26 цента за фунт или на 61,4%. В дальнейшем мы имеем понижение цен в 1901 г., новый подъем в 1902 г., новое понижение в 1903 г. и 1904 г. В последнем году цена на чугун стоит на 13,34 долл. за тонну, или на 25,1% ниже, чем в 1900 г., а цены на стальные изделия—до 1,77 цента за фунт, или на 27,7% ниже. Дальнейший подъем цен был следующим: в 1907 г. цены на чугун поднялись до 22,49 долл. (на 68,6%), а на стальные изделия—до 2,06 цента (16,4%). В 1911 г. цена на чугун была 14,00 долл., а на стальные изделия—1,66 цента. Понижение в первом случае 37,8%, а во втором—19,4%. При следующем подеме цены на готовые изделия снова отстали от движения цен на сырье.

¹⁾ Emil Müssig, Preisentwicklung in der Montanindustrie, S. 1870.

Для наглядности мы приводим еще раз это движение цен в виде таблицы:

Годы	Цены на чугун в долл. за тонну	Изменение в %	Цены на стальные изделия в центах за фунт	Изменение в %
1897	9,98	—	1,40	—
1900	17,82	+ 78,6	2,26	+ 61,4
1904	13,34	— 25,1	1,77	— 21,7
1907	22,49	+ 68,6	2,06	+ 16,4
1911	4,00	— 37,8	1,66	— 19,4
1913	15,42	+ 10,1	1,72	+ 3,6

Уже эти данные подтверждают целиком указанный закон движения цен, установленный Марксом. Еще определеннее он проявляется, если разбить всю группу товаров на сырье и готовые изделия. Движение цен было (по данным американской статистики, Statistical Abstract, 1911 и 1912) следующее:

Индекс цен (1890 — 1899 = 100).

Годы	Сырье	Готовые фабрикаты	Годы	Сырье	Готовые фабрикаты
1890	115,0	112,3	1903	122,7	111,5
1891	116,3	110,6	1904	119,7	111,3
1892	107,9	105,6	1905	121,2	114,4
1893	104,4	105,9	1906	126,6	121,6
1894	93,2	90,8	1907	133,4	126,6
1895	91,7	94,0	1908	125,6	122,2
1896	84,0	91,9	1909	136,8	123,9
1897	87,6	90,1	1910	139,7	129,6
1898	94,0	93,3	1911	139,9	129,6
1899	103,9	100,7	1912	149,5	129,6
1900	111,9	110,2			
1901	111,4	107,8			
1902	122,4	110,6			

Из этой таблицы мы видим, что цены на сырье уменьшаются с 1890 до 1896 г. с 115 до 84 (при основе 1890—1899=100), т.-е. почти в 27%, а цены на готовые изделия падают с 112 до 90,1 (1897), или меньше, чем на 20%. С 1900 г. цены на сырье поднимаются до 111,4, или на 33%, в то время как цены на готовые изделия повышаются только до 110,2, или меньше, чем на 20%. Цены 1907 г. превышают цены 1900 г.: на сырье на 19,2% (до 133,4), а на готовые изделия на 16,8%. Понижение цен в 1908 г. было: на сырье—на 5,9% (124,5), а на готовые изделия—на 4,9%. И дальнейшее повышение до 1910 г. в сырье до 139,9, а на фабрикаты до 129,6—снова подтверждает положение Маркса: повышение цен на сырье было на 11,3%, а на готовые изделия всего на 6%.

VIII.

Почему, однако, цены на готовые изделия не следуют за ценами на сырье? Прежде всего потому, что этому мешает конкуренция старых предприятий, которые были созданы при еще относительно низких товарных ценах и основной капитал которых, следовательно, привносит к стоимости новых продуктов меньшую часть стоимости, чем работа новых предприятий.

Далее, это объясняется тем, что между стоимостью средств существования и заработной платой существует такое же взаимодействие: при повышении первой последняя не поднимается соответственно (реальная зарплата падает), при понижении продолжительности

минимума зарплата падает не в таком размере (реальная зарплата повышается). Понижение реальной зарплаты ведет к сокращению потребления, следовательно, — уменьшению спроса. Вследствие этого цены на готовые изделия, стоящие перед сокращающимся рынком, не могут подниматься соответственно с повышением цен на сырье, спрос на которое, как мы сейчас увидим, еще некоторое время должен увеличиваться.

Но почему зарплата не может подниматься соответственно с повышением стоимости средств существования? Потому, что, при неизменной производительности труда (а последняя ведь не зависит от того, растут ли или падают цены), повышенные зарплаты означают резкое сокращение нормы прибавочной стоимости, которая потом еще делится на больший капитал (вследствие вздорожания сырья и рабочих рук) и, следовательно, резкое понижение нормы прибыли. Этому предприниматели противодействуют. «Если, — писал Маркс в I т. «Капитала» (стр. 609), — уменьшение (неоплаченного труда) доходит до того пункта, когда прибавочный труд, которым питается капитал, перестает предлагаться в нормальном количестве, то наступает реакция: та часть дохода, которая подвергается капитализации, уменьшается, накопление ослабевает, и восходящее движение заработной платы сменяется обратным движением».

Благодаря этому заработная плата отстает от движения товарных цен, если они быстро движутся вверх; отсюда и емкость рынка не расширяется пропорционально с ростом цен; отсюда и некоторое зажатие в движении цен на готовые фабрикаты ¹⁾.

Надо, однако, сказать, что и движение зарплат развивается диалектически: сначала она отстает от повышения общего уровня цен; затем, когда спрос на рабочие руки быстро возрастает, она обгоняет подъем цен на готовые изделия, вызывая в обрабатывающей промышленности резкое сокращение нормы прибавочной стоимости и являясь вместе с этим одной из причин кризиса.

Это явление станет яснее, если мы проиллюстрируем его на простом цифровом примере. Пусть сырье раньше стоило 1.000 рублей, готовый фабрикат — 1.540 руб., при чем 400 руб. составляют дополнительные расходы по производству, а 140 руб. — прибыль. Уровень прибыли составит тогда 10%. Положим, цена сырья поднялась до 1.200 рублей, тогда готовый фабрикат обойдется предпринимателю в 1.600 руб.: 10% составят 160 руб., и товар должен стоить 1.760 р., или на 220 руб. дороже, хотя цена сырья поднялась всего на 200 руб. По указанному Марксовому закону он сможет продать этот товар за 1.750 руб., или 1.740, или даже за 1.730 р. Тогда норма прибыли²⁾ будет 93%, 87% или 8%.

«Таким образом, — заключает Маркс, — в одном случае (при повышении цен на сырье. — М. Сп.) норма прибыли падает ниже, в другом (при падении цен на сырье. — М. Сп.) повышается сильнее, чем это могло бы место при продаже товаров по их действительной стоимости».

Такое положение вещей имеет огромное влияние на ход капиталистического хозяйства. «Норма прибыли — это та сила, которая приводит в движение капиталистическое производство; производится только то, и постольку, что и поскольку можно производить с при-

¹⁾ К этому надо еще прибавить большую напряженность спроса на сырье, производство которого не поспевает за развитием обрабатывающей промышленности, о чем говорили раньше.

лю» (т. III, ч. I, стр. 241). Поэтому падение нормы прибыли является пределом дальнейшего расширения производства.

На первых порах падение нормы прибыли имеет, однако, совершенно другой результат. Стремясь возместить возросшие расходы и срыть понижением других расходов и ускорением оборота капитала, предприниматель увеличивает нагрузку предприятий, а тем самым и размер производства, ибо стоимость продукции, как известно, падает с расширением ее объема. Увеличить продукцию, значит усилить спрос на сырье, следовательно, еще больше гнать цену его вверх, в то же время необходимость стремиться к расширению рынка заставляет идти на дальнейшее понижение цены на готовые фабрики.

Гильфердинг указывает как на моменты, ведущие во время промышленного подъема к понижению нормы прибыли, на повышение органического строения капитала в связи с переходом к новому оборудованию. «Норма прибыли,—говорит он,—падает по двойному ряду причин: во-первых, потому, что сократился переменный капитал и в равнении с общей массой капитала, следовательно, прежняя норма прибавочной стоимости выражается в понизившейся норме прибыли; во-вторых, потому, что чем крупнее основной капитал по сравнению с оборотным, тем продолжительнее период оборота капитала, удлинение же периода оборота тоже знаменует понижение нормы прибыли» (Р. Гильфердинг, «Финансовый капитал»).

Однако давление органического строения капитала на норму прибыли сказывается только во время кризиса, когда обострится заимная конкуренция предпринимателей, а не в то время, когда цены идут вверх. Точно также и удлинение периода оборота капитала и тут падает только при заминке в сбыте; во время повышательной конъюнктуры, когда спрос опережает предложение, оборот капитала усиливается, несмотря на увеличение основного капитала.

На самом деле, мы имеем следующее положение: до тех пор, пока расширенное воспроизводство основного капитала поглощает больше, чем часть стоимости уже работающего основного капитала, которая переносится на товары, спрос опережает предложение, цены продолжают подниматься и норма прибыли не может резко падать. Рост цен на сырье постепенно, однако, задерживает расширение основного капитала. Ибо избыточная часть капитала уходит на оборотный капитал (сырье и зарплата), норма прибыли понижается и становится выгоднее отдавать банкам освобождающийся капитал, так как они платят высокие проценты (о чем речь еще впереди). С другой стороны, всякий старается расширить производство, используя до крайних пределов старый основной капитал, так что скоро наступает момент, когда освобождающаяся часть основного капитала превращается в новые вложения в основной капитал ($A > N$), рынок перенасыщается, цены резко падают, наступает кризис...

В свете этой теории ясно становится, что Маркс хотел сказать, являясь, что границей капиталистического производства является основной капитал, его стремление к самовозрастанию. «Пределы, в которых только и может происходить сохранение увеличения капитальной стоимости, основывающееся на экспроприации и обеднении широких масс производителей, эти пределы постоянно вступают, поэтому, в конфликт с методами производства, которые должны применять капиталисты ради своих целей и которые направлены к неограниченному увеличению производства—производству, как самоцели, безусловной цели развития общественной производительной силы труда». Смысл этой фразы у Маркса, которое принимается как указание на основную пре-

чину кризисов, выясняется, однако, в следующей главе, где Маркс говорит о перепроизводстве капитала. Чтобы выяснить последнее явление, Маркс сначала предполагает, что наступает абсолютное перепроизводство капитала. Это возможно «в том случае, если бы дополнительный капитал для капиталистического производства был=0, т.е. если бы возросший капитал производил бы лишь такую же, или даже меньшую массу прибавочной стоимости, чем до своего увеличения».

Следствием такого положения вещей,—говорит Маркс,—было бы «сильное и внезапное понижение общей нормы прибыли». Часть капитала была бы выброшена из производственного процесса, и даже часть «материального вещества капитала... не функционировала бы, не действовала бы, как капитал; приостановилась бы часть предприятий, уже начавших производство».

«Но главное разрушительное влияние, притом самого острого характера, коснулось бы капитала, поскольку он обладает свойством стоимости, коснулось бы капитальных стоимостей. Часть капитальной стоимости, находящаяся просто в форме свидетельств на получение доли будущей прибавочной стоимости, прибыли, в действительности представляющая только различные формы долговых обязательств на производство, обесценивается тотчас же за уменьшением доходов, на которые рассчитана эта часть. Часть наличного золота и серебра лежит без употребления, не функционирует как капитал. Часть находящихся на рынках товаров может совершать свой процесс обращения и воспроизводства только при чрезвычайном понижении своих цен, следовательно, путем обесценения того капитала, который эта часть представляет. Точно так же более или менее обесцениваются securities основного капитала. К этому присоединяется то, что определенное предположительное отношение цен обуславливает процесс воспроизводства, и потому последний, вследствие общего понижения цен, приостанавливается и приходит в расстройство. Это расстройство и приостановка процесса воспроизводства парализуют функцию денег как платежного средства, развивающуюся с развитием капитала и основывающуюся на упомянутых предположительных отношениях цен, разрывает в сотне мест цепь платежных обязательств на определенные сроки, еще более обостряется сопровождающим это потрясением кредитной системы, развившейся вместе с капиталом и, таким образом, приводит к сильным и острым кризисам, к внезапным катастрофическим обесценениям, действительному нарушению и упадку процесса воспроизводства и вместе с тем, к действительному сокращению воспроизводства» («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 235—236).

Вот картина кризиса, причина которого лежит в «абсолютном перепроизводстве капитала», которое, конечно, не есть «абсолютное перепроизводство средств производства», а только перепроизводство капитала, не могущего «порождать дополнительную стоимость». Оказавшееся перепроизводство вызвано тем, что капитал оказался «неспособным эксплуатировать труд в той степени..., при которой с возрастанием массы применяемого капитала увеличивается, во крайней мере, масса прибыли, и которая, следовательно, исключает возможность того, чтобы норма прибыли падала в той самой мере, как возрастает капитал, и, в особенности, чтобы норма прибыли понизилась быстрее, чем возрастает капитал».

Итак, перепроизводство капитала и товаров наступает в тот момент, когда добавочный капитал не в состоянии даже увеличить

массу прибыли, так как норма прибыли падает в той самой мере, как возрастает капитал или даже быстрее.

«Перепроизводство капитала никогда не означает чего-либо иного, как перепроизводство средств производства,—средств труда и средств существования,—которые могут функционировать как капитал, т. е. могут применяться для эксплуатации труда при данной степени эксплуатации. Понижение же этой степени эксплуатации, ниже определенного пункта, вызывает нарушения капиталистического процесса производства, приостановку его, кризисы, разрушение капитала» («Капитал», т. III, ч. I, стр. 237) ¹⁾.

Итак, следующее глубокое противоречие, заложенное в сам корень капиталистического производства, сопровождающее его и усиливающееся вместе с его развитием, ведет неминуемо к кризису. Расширение основного капитала (не считая нового использования реализуемой части уже функционирующего основного капитала) вызывает усиленный спрос на сырье и вместе с этим подъем его цены. Последнее обстоятельство давит на норму прибыли обрабатывающей промышленности, заставляет предпринимателя воздержаться от новых капитальных вложений ²⁾. Спрос на товары начинает замедляться. Тем временем начинает работать новый капитал, реализуя свои части в виде новых товаров. А спрос, N сокращается. Далее, под давлением падающей нормы прибыли стремятся к лучшему использованию предприятия, расширению производства, большей нагрузке, что снова означает увеличение предложения, давление на цены. Рост A ускоряется. Чтобы удержать оборот капитала, идут на понижение цен. Но увеличение спроса на сырье ведет к дальнейшему его вздорожанию. Расхождение «ножниц» становится еще большим. Еще больше замедляется процесс расширения воспроизводства основного капитала. А начинает обгонять N, рынок переполняется, наступает кризис.

Падение нормы прибыли начинается за определенное время до начала кризиса. В связи с этим и повышением процента на ссудный капитал начинается падение ценностей на биржах, курс которых, как определяется доходностью предприятий, капитализированной на основе учетной ставки. Если доходность понижается, а учетная ставка повышается, то биржевой курс резко падает, что служит обычно предвестником приближающегося кризиса (напоминая о падении доходности предприятий). Некоторое время, однако, курс может снова повыситься, вследствие увеличения массы прибыли. Однако потом за массой прибыли только обостряет противоречия и ускоряет приближение окончательного кризиса.

Падение цен сначала на готовые изделия перекидывается на сырье, при чем в последнем случае оно наступает несколько позже, так как вызванное расширение производства по техническим и экономическим причинам не может быть скоро сокращено. Останавливаются в

¹⁾ Несмотря на эту совершенно ясную постановку вопроса, некоторые «марксисты» продолжают утверждать, что причина кризисов лежит не в перепроизводстве, а в недостатке капитала.

²⁾ «Поскольку норма увеличения стоимости всего капитала, норма прибавочной стоимости, — служит стимулом капиталистического производства (добавочному, или увеличению стоимости капитала служит его единственной целью), понижение нормы прибыли замедляет образование новых самостоятельных капиталов, и, таким образом, является угрозой развития капиталистического процесса производства; оно способствует перепроизводству, спекуляции, кризисам, повышению избыточного капитала наряду с избыточным населением» («Капитал», т. III, ч. I, стр. 222).

вые инвестиции, но заключенные договоры продолжают действовать и часто удерживают цены на сырье еще некоторое время на прежней высоте.

Это не кризис от «недопотребления», не результат несоответствия между ограниченной покупательной способностью масс и способностью капиталистического производства к безграничному расширению, а результат стремления предпринимателя противодействовать падению нормы прибыли путем увеличения размеров продукции (конечно, по возможности сохраняя высокие цены и низкую зарплату) и сокращения времени оборота капитала, приводящего на практике только к еще большему падению нормы прибыли и к переполнению рынка.

Отсюда ясно, почему приостанавливается переход капитала из области производства предметов потребления в область производства средств производства. Вопрос ¹⁾, который так смущал Тугана и который привел его к абсурдному заключению, что возможно существование капитализма без рабочих, разрешается на самом деле весьма просто: этот процесс новых капитальных инвестиций прерывается под влиянием возросших цен на сырье, дающих на норму прибыли и делающих эти инвестиции уже больше невыгодными...

В нашем объяснении причины кризиса нет и обычного разрыва между общим объяснением кризиса и периодичности его: момент, вызывающий кризис, расхождение в ценах на сырье и на готовые изделия, и обуславливающий вместе с этим падение нормы прибыли, не существует отдельно от общего процесса расширенного воспроизводства основного капитала, а вызывается последним, следовательно, наступает только от времени к времени; вместе с этим он не отделен от этого процесса, является его спутником, преследующим его на каждом шагу, пока он его не сокрушает. Началом расхождения цен можно считать момент, когда спрос на средство производства превышает производительную способность существующих предприятий, т.е. потребление их обгоняет последний высший предел, что означает расширение воспроизводства основного капитала. Но только спустя несколько лет первые инвестиции начинают давить на рынок, ибо начатые постройки заканчиваются, в то же время уменьшаются спрос, так как новые капитальные инвестиции под влиянием возросших цен сокращаются. Таким образом, всякое «оживление» капиталистической промышленности носит в себе зародыш своей гибели, которая неминуемо наступает, однако, только через некоторое время, когда это оживление переходит определенные границы.

IX.

Наконец, у Тугана и у других теоретиков начало нового промышленного оживления, выход из кризисного состояния связывается более или менее случайными или внешними (хороший урожай, новые внешние рынки) моментами. С точки зрения развитой нами теории кризисов каждый кризис носит в себе зародыш нового оживления промышленности, как оживление неминуемо снова должно вести к новому кризису. Это постоянное чередование между кризисом и промышленным оживлением лежит в существовании развитых нами законов движения цен на сырье и на готовые изделия.

¹⁾ Прибавил в примечании, что на этот вопрос еще никто не дал ответа.

Если мы раньше констатировали, что цены на готовые изделия вполне следуют за повышением цен на сырье, что вследствие этого рента прибыли в обрабатывающей промышленности падает, то мы теперь констатируем дальше уже на основании выше приведенных материалов, что и во время кризиса цены на фабрикаты не следуют за нами на сырье. Последние падают сильнее, чем первые.

Так, в Соединенных Штатах цены на сырье и готовые изделия (Schluter, The Pre - War Business - Cycle, 1907 to 1914), Нью-Йорк, 1923):

	Сырье	Готовые изделия
	(1890—1899=100)	
Июль 1907 г.	136,9	128,5
Сентябрь 1907 г.	132,8	130,3
Май 1908 г.	122,4	122,4
Май 1912 г.	157,8	129,9

Цены на сырье упали с 136,9 до 122,4, или на 10%, а на готовые изделия — только на 6%.

При всех этих колебаниях необходимо еще иметь в виду, что рост производительности труда в области производства готовых изделий идет гораздо быстрее, чем в добывающей промышленности¹⁾, производящей сырье, или в сельском хозяйстве. Во время кризиса начинается процесс улучшения продукции и организации сбыта. Благодаря этому, происходит понижение себестоимости производства в обрабатывающей промышленности; в то же время цены на сырье падают быстрее, чем на промышленные продукты (к тому же понижается зарплата!). В результате — повышение нормы прибыли, что дает толчок к усилению промышленной деятельности. Тогда снова повышается спрос и на сырье, а вместе с этим идут вверх и цены. Так, потребление чугуна в Соединенных Штатах поднимается уже с 1 июля 1909 по июнь 1910 г., но все еще не превышает прежнего высшего уровня. И только в год 1910/11 оно, сделав значительный скачок вверх, приводит к тому, что с конца этого года начинается новый подъем цен.

Но почему цены на сырье падают значительней, чем цены на готовые изделия?

Маркс говорит: «Повышение цены приводит в действительности к тому, что: 1) сырые материалы начинают подвозиться из более отдаленных местностей, так как повышенная цена покрывает увеличение издержки перевозки; 2) производство их расширяется, при чем, однако, действительное увеличение массы продукта в зависимости от естественных условий может произойти не сразу, а, быть может, лишь через год, и 3) пускаются в ход всякого рода суррогаты, до сих пор не применявшиеся, и более экономно начинают обращаться с отходами. Если повышение цен начинает очень заметно влиять на расширение производства и предложения, то это означает обыкновенно, что достигнут уже поворотный пункт, после которого, вследствие продолжающегося увеличения количества сырого материала и всех товаров, в которые он входит, как элемент, спрос понижается, а потом наступает реакция и в движении цен сырого материала, независимо от конвульсий, которые вызывает эта реакция, вследствие обесце-

¹⁾ Стоимость продукции промышленности Соед. Штатов увеличилась, если на 1 рабочего, с 1889 по 1919 г. несколько больше, чем в три раза, а продукция горной промышленности меньше, чем в два раза.

ния капитала в его различных формах, сюда присоединяются другие обстоятельства, о которых мы сейчас упомянем.

Уже из сказанного до сих пор ясно следующее: чем более развито капиталистическое производство, чем более поэтому имеется средств для быстрого и безостановочного увеличения части постоянного капитала, состоящей из машин и т. д., чем быстрее накопление (особенно в периоды процветания), тем больше относительное перепроизводство машин и прочего основного капитала, тем чаще наступает относительное недопроизводство растительных и животных сырых материалов, тем отчетливее проявляется вышеописанное увеличение их цены и соответствующая этому последнему реакция. Тем же, следовательно, происходят те потрясения, которые вытекают из этого сильного колебания цены одного из главных элементов продукта воспроизводства» («Капитал», т. III, ч. I, стр. 95—96).

Может быть, важнее, чем указанные здесь Марксом моменты, является то обстоятельство, что в добычу сырья вкладывается большой капитал, который не может быть оттуда вынут, производство которого только с большими потерями может быть ограничено. Строеие капитала в горной промышленности очень высокое, и вследствие этого всякая нагрузка или прекращение продукции особенно тяжело отражается на предприятии, которое предпочитает продавать по низким ценам, чем сокращать производство. Даже в Соединенных Штатах, где еще всего прибегают к сокращению продукции (так как тяжесть безработицы, главным образом, падает на иностранных рабочих, и предприятия горной промышленности еще сравнительно изданы), все же цены на сырье падали сильнее, чем цены на готовые изделия.

Надо иметь еще в виду, что в некоторых областях сельского хозяйства (например, в скотоводстве) сокращение производства, которое и вызвало бы полного разорения предприятия, возможно только через более продолжительный период. Раз начатое расширение воспроизводства должно закончиться, хотя бы продукты приходилось продавать по низким ценам.

В другом месте Маркс так рисует выход из кризиса:

«При образовавшемся абсолютном перепроизводстве начинают действовать другие влияния. Застой производства лишил бы работы часть рабочего класса, и, вследствие этого, другую, занятую часть его, оставил бы в такие условия, при которых ей пришлось бы примириться с понижением заработной платы даже ниже среднего уровня, — обстоятельство, которое производит на капитал совершенно такое же влияние, как если бы при средней заработной плате повысилась относительная или абсолютная прибавочная стоимость; с другой стороны, падение цен и борьба конкуренции побуждали бы каждого капиталиста понижать индивидуальную стоимость его продукта ниже той общей стоимости, посредством применения новых машин, новых усовершенствованных методов труда, новых комбинаций, т. е. повышать производительную силу данного количества труда, понижать отношение переменного капитала к постоянному и, таким образом, эксплуатировать рабочих, короче говоря, создавать искусственное перенасыщение. Далее, обесценение элементов постоянного капитала, само делаясь бы элементом, влекущим за собой повышение нормы прибыли. Масса применяемого постоянного капитала возросла бы по сравнению с переменным, но стоимость этой массы могла бы уменьшиться. Наступивший застой производства подготовил бы дальнейшее расширение его в капиталистических границах» («Капитал», т. III,

ч. 1, стр. 236). Следовательно, понижение нормы прибыли, как результат застоя, выводит производство на новый путь.

Наконец, и по отношению к зарплате действует тот же закон: падение цен не вызывает соответственного падения зарплаты. Здесь действуют социально-психологические моменты, сопротивление рабочих. Медленное понижение зарплаты означает рост ее реальной величины и, следовательно, покупательной способности. Отсюда и расширение рынка вместе с падением цен на фабрикаты, обстоятельство, и держащее самый процесс падения цен на готовые изделия.

Так как производственные расходы готовых продуктов, затрат исленных из дорогого сырья и подлежащих оплате и дороговому аппарату, только медленно понижаются, то естественно стремление обрабатывающей промышленности по возможности удерживать цены на высоком уровне. Это им удается, так как постепенно расширяется рынок вместе с падением цен. Полного прекращения потребления продуктов промышленности не бывает; вопрос сводится исключительно к перепроизводству при данных ценах. Наоборот, новое строительство может временно почти совершенно прекратиться. Даря товаров, строительных материалов и т. п. может получиться нечто в роде абсолютного перепроизводства, так как строительство не развивается. Чтобы вызвать его к жизни, дать новый толчок строительной кампании, цены на эти материалы должны уже значительно пасть. Только при значительном удешевлении стоимости постройки перспективные новые инвестиции становятся более благоприятными.

В том же направлении действует и понижение учетной ставки и облегчение кредита. Так как задерживается процесс новых построек, в то время как идет ликвидация старых запасов материалов и производится с ослабленным темпом дальнейшее производство, то освобождающиеся части капитала (A) принимают сначала форму денежных кредитного капитала, ищущего применения. Отсюда резкое падение учетного процента после того, как первый момент кризиса преодолен. A значительно превышает N, по мере того, как N приближается к нулю.

Но даже тогда, когда начинаются новые инвестиции, долгое время предложение превышает спрос на капитал, так как цены на сырье и относительно низкие, освобождающиеся части старого основного капитала значительны. Только перешагнув через прежний уровень производства, новые инвестиции заставляют расширять и производство сырья, как и специально строительных материалов. Тогда начинается рост цен на последние, и в то же время начинает ощущаться недостаток в капитале ($A < N$), вследствие чего и поднимается учетная ставка. «Если мы рассмотрим,—пишет Маркс («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 361)—циклы оборотов, в которых движется современная промышленность: состояние покоя, возрастающее оживление, расцвет, перепроизводство, крах, застой, состояние покоя и т. д., ...но мы увидим, что обычный уровень процента в большинстве случаев соответствует периоду расцвета или добавочной прибыли, повышение процента переход к расцвету к сменяющему его повороту, а максимум процента, достигающий самых крайних ростовщических размеров, соответствует кризису».

Эта «теория конъюнктуры» Маркса вполне соответствует тому, что нами сказано в объяснение кризиса. Движение процента — это отражение производственных отношений, определяемых взаимодействием между N и A. Если N > A, процент низок, «добавочная прибыль» значительна, начинается промышленное оживление, N < A

стывает переход от расцвета к кризису, растет спрос на капитал, повышается процент...

Таким образом, каждый кризис очищает путь к новому промышленному оживлению, а каждое промышленное оживление неминуемо идет к новому кризису. Само собой разумеется, что денежно-кредитные моменты и биржевые операции сильно усложняют и затемняют эти процессы. Большое влияние на ход развития имеют также монополястические организации, регулирующие цены на сырье. Но, как мы видели, общей тенденции развития, расхождения концов «ножниц» они не сумели преодолеть и вместе с этим и самого явления кризиса.

Роль кредита и границы кредитной экспансии при капитализме.

Э. Атлас.

Два основания оправдывают необходимое в данный момент приращение наших исследовательских сил к изучению проблем кредита, обуславливают актуальность этих проблем.

Первое. Кредит есть всеобщая форма организации современного капитализма не только потому, что в финансовом капитале банковский капитал «срачивается» с промышленным, но также и потому, что и сам промышленный капитал организован в кредитной форме (акционерное общество). Именно эта форма организации промышленного капитала даёт наивысшую в рамках данного строя концентрацию и централизацию производительных сил, а вместе с тем и наивысшую концентрацию финансово-экономической мощи и господства над всем капиталом следовательно, и над всем трудом общества. Поэтому вскрыть закономерности монополистического капитализма и его тенденции можно вне анализа сущности и законов кредита, как специфической формы организации капитализма на данной исторической ступени его развития.

Второе. Социалистические принципы организации кредита, которые еще и незрелых исторических условиях и на основе ложной экономической теории пытались осуществить Оуэн и Прудон, составляют органическое начало нашей экономической системы. Вместе с тем, наша кредитная система пока еще целиком унаследовала формы капиталистической системы кредита. Формы кредита у нас вступают в решительное противоречие с содержанием кредита и его социалистической целеустановкой. Новое содержание кредитной системы властно требует и новых форм и методов ее организации. Вот проблема, которая не может ждать своего решения, ибо ответ на нее требует практика каждого дня хозяйственной работы и перспективно-экономического планирования.

Что может и должен дать кредит для нашей системы? Естественно, что наша система должна использовать всю производительную силу общества, которую может аккумулировать кредит. Но величайшая трудность для планирующих органов заключается в том, чтобы найти точку предельной растяжимости производительной тенденции, ту точку, за которой нарастающее количество (рост кредитования народного хозяйства) переходит в новое качество—растущие внутренние силы экономической системы в разрыв этой тенденции. Вопрос о пределах кредитной экспансии из-за с вопросами форм кредита, техники и организации кредитного аппарата ставят перед экономической научной мыслью задачу построения законченной теории кредита, которая бы давала ответ на актуальные проблемы кредита в СССР.

Классификация теорий кредита Коможинского.

Совершенно невозможно понять и развить положительную марксистскую теорию кредита без того, чтобы не выяснить отношение этой последней к основным направлениям в теории кредита, и не выяснить все то положительное, что может таковая дать.

Литература по кредиту необъятна. С одной стороны, почти во всех «основах», «принципах» и «курсах» по теоретической экономике имеем соответствующие разделы, посвященные кредиту, а с другой стороны, налицо довольно богатая специальная литература по теории и практике кредита.

В свое время систематику теорий кредита дал Книс¹⁾, а в новейшее время почти исчерпывающую систематику мы находим в фундаментальном труде Коможинского²⁾. Правда, труд Коможинского был издан в 1903 г., и с тех пор литература обогатилась новыми оригинальными монографиями по теории кредита (Ган, Шумпер): однако все новые теории кредита укладываются в схему Коможинского, которая поэтому сохраняет свое систематико-аналитическое значение, если, конечно, она таковое имеет. Коможинский классифицирует все теории кредита в соответствии с теми специфическими (но не единственными) моментами, которые фигурируют в различных определениях кредита, а именно:

1. Авторы, которые рассматривают кредит исключительно, как «предоставление богатства (Vermögen) или капитала в пользование (Гуфелинд, Милль, Рошер, Дитцель, Шербулье, Жид, Вайсрас и др.) или как перенесение (Uebertragung) богатства или капитала в пользование» (Небенис, Сэй, Торнтон, Рау, Мак-Куллох, Шеффле, Книс, Вагнер, Филиппович, Блок, Симонди, Рикардо и др.)³⁾. Из новых авторов мы можем к этой группе добавить самого Коможинского, Карла Дилля, Альфреда Амонна, Беккерата, Шонитца и др., а из русских авторов к этому направлению примыкают Бунге, Э. Вреден, Туган-Барановский, Косинский, Каценеленбаум, Мануйлов, и др.

2. Авторы, отождествляющие кредит с доверием: Стюарт, Буш, Торнтон, Сэй, Шторх, Лотц, Рау, Мак-Куллох, Гильдебранд, Родбертус, Лексис и др.)⁴⁾. Из старых авторов к этой группе следует добавить Маклеода, а в новейшее время горячим защитником этой доктрины является Ган; из русских авторов этот же момент подчеркивает и Кауфман⁵⁾.

3. Авторы, выдвигающие момент времени в обмене, как конститутивный признак кредита (Lehre vom zeitlichen Tauschen im Credit): Стюарт, Гуфелинд, Рау, Бастна, Рошер, Маклеод, Книс (последний оспаривал приоритет этой теории у Маклеода), Мангольд, Шеффле, Гильдебранд, Вагнер, Бем-Баверк, Жид, Филиппович. Из русских авторов этот момент выдвигают Кауфман, Исаев, Железнов, Туган-Барановский⁶⁾ также подчеркивает момент времени; ему возражает Каценеленбаум⁷⁾.

¹⁾ Carl Knies, Der Credit, 1876 г.

²⁾ D-r Johann von Komorzynski, Die Nationalökonomische Lehre vom Credit, Innsbruck 1903 г.

³⁾ Ibidem, S. 41—46.

⁴⁾ Ibidem, S. 46—50.

⁵⁾ Кауфман, Кредит, банки и денежное обращение, стр. 55—66.

⁶⁾ Основы политической экономики, стр. 423, 1909.

⁷⁾ Учение о деньгах и кредите, ч. II, изд. 2, стр. 10—12.

4. Кредит как циркуляционная сила вместо (и нег. Маклеод, Реслер¹⁾). Из новейших авторов эту точку зрения разделяют Ган и Шумпетер. Из старых—Дж. Ст. Милль, Из русских—И. И. Кауфман.

5. Кредит как денежная ссуда²⁾: Иернинг. В середине прошлого века эту точку зрения развивал русский экономист Орлов³⁾.

Весьма интересно, что в схеме Коможинского Марксу совершенно не отведено места, но и нем мы вообще не находим ничего в труде Коможинского: по видимому, автор не считает Маркса теоретиком кредита! Да и гораздо лучше Маркса вообще не включать в эту схему, ибо его теория совершенно не укладывается в рамки тех нешироких-формальных моментов, которые положены в основу классификации Коможинского.

Впрочем, не только для Маркса, но и для тех теорий, которые включены в анализ, схема не дает principium divisionis для классификации основных принципиальных расхождений между теоретиками кредита. Так, например, Рау, Книс, Филиппович, с одной стороны, Маклеод и Гильдебранд, с другой, объединяются в одну и ту же группу (временн), и таким образом чисто-внешний и формальный момент сходства затушевывает принципиальные и основные расхождения между этими авторами.

С другой стороны, Коможинский вынужден одних и тех же авторов причислять к нескольким группам (так, например, Рау, относится одновременно к 1-й и 3-й группам, Маклеод — к 3-й и 4-й, кроме того, должен быть отнесен также и ко 2-й группе), что неизбежно, поскольку одни моменты определений комбинируются с другими.

В качестве примера неприемлемости схемы Коможинского, мы можем привести теорию кредита Дж. Ст. Милля, которая должна быть отнесена одновременно ко всем направлениям (кроме пятого). Так, Милль считает кредит передачей наличного капитала (1) в любой форме, отчетливо говорит о моменте доверия в кредите (2) раздельности во времени (3) и, наконец, считает, что «покупательная сила в кредите такая же, как и в деньгах» (4)⁴⁾. Для Милля, как и для большинства других теоретиков, которые синтетически-эмпирически констатируют понятие кредита, схема Коможинского не дает критерия для разграничения тех принципиальных расхождений, которые нередко скрыты даже за совершенно тождественной формой определения кредита.

В силу этого классификация Коможинского, которая построена не на анализе принципиального фундамента различных теорий, но лишь внешние-формальных черт их определений, не может быть признана удовлетворительной. Тот же самый материал (даже новейший), которым пользуется Коможинский, должен быть классифицирован таким образом, чтобы отчетливо были выявлены основные расхождения между теоретиками кредита; для такой классификации одних определений недостаточно: необходим анализ принципиального содержания теорий, и в особенности это необходимо в тех случаях, когда мы не находим у того или иного автора вообще отчетливого определения кредита.

¹⁾ Ibidem, S. 86—89.

²⁾ Ibidem, S. 91—93.

³⁾ Начала политической экономии, т. II, стр. 244, 1862.

⁴⁾ Дж. Ст. Милль. Основания политической экономии. т. II, изд. 1 стр. 32—34, СПб. 1873.

Три основных направления в теории кредита.

Нас интересует не окостенелые формулы бездушных определений, которые рассеяны по бесчисленным учебникам, «основам» и «руководствам», но принципиальное отношение теоретиков к сущности и функциям кредита, его роли в экономической системе, следовательно, к вопросу об его удельном весе в экономике и его социальной природе.

Все без исключения авторы подчеркивают большое значение кредита в экономической системе и описывают его функции, но степень их значимости кредита и характер выполняемых им функций выступают в различном свете.

Если мы подойдем к теориям кредита с точки зрения их оценки социального веса кредита, то прежде всего мы столкнемся с той группой (о ней во всем труде Коможинского нет ни слова), которая придает кредиту решающее значение в организации всей экономической системы. Они считают, что природа кредита и его социальные функции таковы, что определенная форма организации кредита может привести к радикальной реконструкции всей экономической системы.

Эту группу, которая в настоящее время представлена Гезелем и его учениками в разных странах Европы, и которая имеет свою богатую историю, мы называем группой социальных реконструкторов.

Если мы будем идти по убывающей оценке степени социального веса кредита, то нам придется выделить вторую группу, — которая вообще чужда идеям социальной реконструкции при посредстве кредита, но признает активное и ведущее начало за кредитом и его функциями в системе капитализма. Кредит создает капитал и производство подчинено кредиту¹⁾.

Этих теоретиков мы называем «капитало-творцами», а их теорию экспансивистической теорией кредита. Последнее название дал этому направлению один из его родоначальников — Маклеод.

Наконец, третье, наиболее распространенное и вместе с тем наименее оригинальное, направление отрицает не только реконструирующую, но и активно-ведущую роль кредита в системе капитализма. Эти теоретики исходят из натуралистической трактовки капитала и видят в кредите не более, чем акт передачи уже имеющихся в наличии хозяйственных благ в той или иной форме одному другому лицу. Это «капитало-натуралисты», а их теорию, в отличие от второго направления, мы называем пассивно-натуралистической теорией кредита. В отличие от второго направления натуралисты усвоили весьма скептический взгляд на роль кредита в экономической системе и в хозяйственной динамике.

Итак, всех теоретиков кредита (исключая Маркса, теория которого не принадлежит к этим группам и представляет особое направление) мы делим на 3 основные группы:

¹⁾ Именно под этим углом зрения о творческой роли кредита вел в XIX веке речь Маклеод со своими противниками, а в XX веке Гай и Шумпетер. Поэтому вполне правильно проф. Каценеленбаум в своем труде «Некоторые проблемы теории кредита» проводит водораздел между всеми теориями кредита именно с этого основного, принципиального вопроса, который, однако, вовсе не относится специально к проблеме банковского кредита, как считает проф. Каценеленбаум (Ср. «Учение о деньгах и кредите», ч. II, гл. I и VIII, 2 изд.), но представляет собой основную проблему общей теории кредита.

1. «Социальные реконструкторы» — утопическо-социалистическая теория кредита.

2. «Капитало-творцы» — экспансионистическая теория кредита.

3. «Капитало-натуралисты» — пассивно-натуралистическая теория кредита¹⁾.

Конечно, между теоретиками каждой группы имеется масса расхождений, но все эти расхождения имеют формально-догматическое и второстепенное значение по сравнению с теми общими взглядами на сущность и социальную роль кредита, которые дают основание объединить их в одну группу и противопоставить другим группам. Каждая из групп, конечно, может быть разбита на ряд вторичных признаков на ряд подгрупп, что, однако, выходит за рамки настоящего очерка.

С точки зрения методологии теоретического анализа первые группы могут быть противопоставлены третьей. Исходный пункт для первых двух — примат обращения и спроса, для третьей — примат производства и предложения.

Наконец, общей чертой всех направлений, в отличие от марксовой теории, является апология кредитной системы: взгляд на кредит не как на историческую, но как на логическую, поэтому и неустраняемую форму экономической организации. Вместе с тем почти все теоретики признают социально-позитивную роль кредита; если одни считают, что кредит изжило вообще классовые противоречия капитализма (Прудон, Гезель), другие подчеркивают корректирующую роль кредита и замеченное в его природе «кооперативное начало» (Кинс, Кооможест), и, наконец, третьи — возможность смягчения классовых противоречий (Ло, Маклеод, Ган). Апология кредитной системы и нового общества — общая черта всех теорий кредита в отличие от марксовой теории.

I. Социальные реконструкторы и «новейшее» открытие Сильвио Гезеля.

Капитал есть власть над трудом; кредит есть власть над капиталом. Если капитал это первичная форма эксплуатации (в товарном обществе), то кредит это вторичная или производная форма эксплуатации. Крупно-концентрированное, относительно внеконкурентное и потому монополистически доминирующее над рынком капиталистическое производство не может быть организовано вне этой вторичной формы эксплуатации. Частное накопление предполагает капиталистическую утилизацию накапливаемого; эта сфера непосредственного приложения капитала в системе монополистического капитализма отсутствует (как общее правило) для подавляющего большинства тех, которые имеют возможность накапливать.

Кредит, который в эпоху промышленного капитализма идет рука об руку с конкуренцией, усиливая индивидуальную конкурентную способность одних, парализуя конкурентную способность других, порождая концентрацию и монополии, приводит в эпоху финансового капитала к устранению индивидуальной непосредственной формы капиталистической эксплуатации.

¹⁾ Самые названия этих направлений, конечно, весьма условны, но мы вынуждены ими пользоваться потому, что в литературе отсутствует терминология, которая соответствовала бы выданному здесь принципу классификации.

плоатацин. Чем дальше развивается капитализм, тем больше непосредственная форма эксплуатации заменяется опосредственной кредитом формой эксплуатации: «капитал, как собственность, отделяется от капитала, как функции» (Маркс).

При отсутствии кредита огромная масса индивидуального накопления была бы обречена на полную пассивность, и лишь при посредстве кредита эти мертвые фонды накопления могут оплодотворяться, стать средством производства капиталом. Эксплуатация труда осуществляется теперь без всякого труда эксплуатации со стороны массы капиталистов. Простое отношение капитал—труд заменяется трехчленной формой: владение капиталом—пользование капиталом—эксплуатация труда. Кредит лежит на стыке первого и второго моментов, владения и пользования капиталом. Чтобы стать эксплуататором, владелец денег вынужден идти на отчуждение своего капитала, на эксплуатацию своего капитала не только в своих, но и в чужих интересах, на получение лишь доли прибыли в виде процента.

Такова диалектика финансового капитала: эксплуатация труда может осуществляться преимущественно через эксплуатацию капитала. На этой почве вырастают уже в эпоху промышленного капитализма такие институты, которые специализируются именно на этой вторичной форме эксплуатации.

Таковы акционерные общества и банки.

При данном способе производства (капиталистическом), эта вторичная кредитная форма эксплуатации является необходимой, а потому и неустранимой.

Лишь изменение самого способа производства (капиталистического социалистическим), следовательно, устранение первичной формы эксплуатации может привести к устранению кредитной системы, как вторичной производной формы эксплуатации.

Между тем мелкобуржуазный социализм принимает эту вторичную форму эксплуатации за основную форму эксплуатации и надеется в своих широких планах социальной реформации осуществить экономическое равенство такой организацией кредитно-денежной системы, которая устранила бы всякую эксплуатацию человека человеком.

* * *

Направление социальных реконструкторов, концентрируя главное свое внимание на планах организации социалистической системы кредита, при этом почти не занимается анализом сущности, формы и закономерностей капиталистического кредита. Все опыты социалистической организации кредита уже по одному тому не могли не потерпеть жестокое фиаско, что все они либо вообще не имели никакой теоретической основы, либо базировались на очень шатком теоретическом фундаменте.

Грэй—Оуэн—Родбертус—Прудон.

Это направление ведет свое начало от старых учений о рабочем времени, как непосредственной единице денежной меры. Еще в начале XIX века Джон Грэй предлагал центральному национальному банку при посредстве сети филиальных банков взять на себя задачу определения количества рабочего времени, затраченного на производство разных товаров, и этим путем Грэй пытался организовать справедливый обмен по трудовой ценности¹⁾.

¹⁾ Ср. Маркс, К критике политической экономии, изд. 4, стр. 91—94.

Было бы излишним здесь подробно излагать историю всех других проектов и опытов организации справедливого обмена через кредитный аппарат, о которых так много написано в курсах по истории экономических учений и социализма¹⁾ и которые получили должную оценку у Маркса. Для нас важно лишь подчеркнуть то, что значительная часть всех социальных утопий XIX в., а также новые проекты XX в. сводили кредитную систему, как основной рычаг каузального переустройства. Вслед за Грэем и Оуэном, выдвигавшие идею конституирования ценности, пытались построить социализм на базе «трудового менового банка» («Labour Exchange Bank», 1832 г.), который и должен был сделать труд действительным масштабом ценности. Известны также попытки Мазеля (1829—1845 гг.) и Бонна (1849 г.) во Франции организовать «меновый банк» (Мазель) и «эмиссионно-меновый банк» (Боннард). Все эти опыты Оуэна, Мазеля, Боннарда имели одинаково плачевный результат, хотя временно окрыляли радужными надеждами трудящиеся массы и, главным образом, мелкую буржуазию²⁾.

Незадолго до Прудона, но значительно позднее Грэя, также Родбертус³⁾ выдвинул в качестве своего открытия идею «*Rechtsgeld - Tauschwirtschaft*» (менового хозяйства с трудовыми деньгами), идею, которая представляла из себя жалкую карикатуру на планы утопистов-социалистов, поскольку Родбертус предлагал считать ренту и прибыль в качестве «справедливого» вознаграждения соответствующих классов, и поэтому рекомендовал выдавать рабочим «трудоовые ассигнаты» по номиналу 4 часа за проработанные часы⁴⁾.

Однако, по существу все эти «банки» Грэя, Оуэна, Мазеля и др. были банками, т.е. кредитными институтами. Авторы всех этих проектов и опытов лишь по недоразумению называли указанные учреждения «банками», ибо специфических для банков функций, т.е. кредитных, они не выполняли, или не должны были выполнять таким же успехом Грэй, Оуэн и другие могли бы назвать свои «банки» меновыми конторами или учреждениями. Но цель их заключалась в организации справедливого обмена в полном отходе от специфически кредитных методов. Только недоразумительным пониманием сущности и форм кредита можно объяснить роковую ошибку указанных авторов в определении того института, который по их идее должен играть центральную роль в обществе, построенном на новых, т.е. социалистических, началах.

В отличие от всех этих проектов, «народный банк» Прудона сводился к идее не только «банка» по названию, как у Грэя и Оуэна, но отчасти и банком по существу, ибо Прудон действительно проектировал построить социализм именно на основе кредита. Однако у Прудона по существу нет вообще каузального анализа

¹⁾ См. интересную статью проф. З. С. Канцелеленбаума «Проблемы и оценки при социализме» («Очерки по теории и практике денежного обращения», вып. I, 1922), в которой дана систематизация и критика всех этих теоретических проектов. То же см. у К. Diehl в III к. Theoretische Nationalökonomie, S. 58-67, у А. Менгера «Право на полный продукт труда» и во всех курсах по истории экономической мысли.

²⁾ См. Karl Diehl, цит. соч., S. 525-529.

³⁾ См. его статью «Der Normalarbeitstag» (1871). Русский перевод Герца она помещен в VI выпуске серии «Экономическая система социализма в ее развитии», Гиз, 1925, стр. 286-305.

⁴⁾ Ср. предисловие Энгельса к «Ницше философии» Маркса, 1961 г., стр. 49.

кий капиталистического кредита, и его подход к кредиту чисто телеологический.

10 глава II тома «Системы экономических противоречий», посвященная анализу кредита, вполне выдержана в стиле прудоновских софизмов и скольжения по поверхности явлений.

«Что такое кредит? Это,—отвечает теория,—есть развязывание связанных ценностей, которое позволяет сделать эти самые ценности обращающимися и вывести их из инерции, в которой они ранее пребывали»¹⁾.

Прудон выводит сущность кредита не из капиталистических отношений, но из менового акта вообще, рассматривая кредит, как простую замену одной формы ценности другой, но не как движение капитала.

«Кредит есть аванс, который делает капиталист против вклада ценностей, трудно обмениваемых в ценностях наиболее обменеспособных и, следовательно, самых драгоценных, т.е. деньгах»²⁾.

Пренебрегая каузальным анализом, Прудон от этих определений прямо перескакивает к нормативному решению проблемы, выдвигая кредит в качестве фактора, должествующего устранить все социальные противоречия, и в первую очередь осуществить его великую идею «конституирования ценности».

«Конечная цель кредита,—говорит Прудон,—заключается в том, чтобы осуществить конституирование всех ценностей, т.е. сделать их без посредства монетизированного золота и серебра приемлемыми во всех платежах». «Очевидно,—твердо «верит» Прудон,—это означало бы разрешить проблемы распределения, основать равенство на законе труда, что привело бы человечество к самой высшей ступени личной свободы и мысленной коллективности»³⁾. Не доказав ровным счетом ничего, просто постулируя свой метафизический догмат, Прудон в отношении кредита просто ограничивается резюмирующим все его софизмы утверждением: «Теперь невозможно сомневаться... кредит является одним из наиболее действительных принципов (l'un des principes les plus actifs) эмансипации труда, увеличения коллективного богатства и человеческого благополучия»⁴⁾.

Прудон, однако, видел централизующую и прогрессивную силу кредита и высказал совершенно верную мысль о том, что «кредит и свобода торговли вели только к дальнейшему развитию монополии. Характер постоянства и законченности монополии получает неизбежно при посредстве кредита»⁵⁾. Ложное понимание основных законов капиталистического общества (исчерпывающую критику его учения дал Маркс в «Финште философии») закрыло для Прудона путь и для правильного понимания сущности кредита и его социальной роли. Поэтому и его мысль о том, что кредит на ряду с конкуренцией порождает монополию, не послужила для Прудона ключом к анализу тенденций капиталистического развития, но была положена на ряду с его общими этическими принципами в основу его планов социального реформаторства.

Мораль Прудона заключается в том, что человек равен человеку, как по отношению к вещам, так и сам по себе, неравенства же стоят

¹⁾ Proudhon, *Système des contradictions économiques ou Philosophie de la Monnaie*, t. II, p. 92.

²⁾ Ibidem, p. 93.

³⁾ Ibidem, p. 110.

⁴⁾ Ibidem, p. 117—118.

⁵⁾ Цит. по Жюконскому «Прудон и Луи Блан», Спб. 1866, стр. 52.

втором месте и порождаются либо дурной волей, либо невежеством. природе же вещей заложено стремление к вечному совершенству. «...либо бы заблуждением,—говорит Прудон,—думать, что закон природы,—измеряемость и неравенство». Это только кажется, в глубине природы происходит уменьшение изменений и замечается стремление к всеобщему равенству¹⁾. И вот «естественное» стремление к уменьшению изменений и всеобщему равенству Прудон открывает в кредитной системе, пытаясь превратить порождаемый ею рост и пополю в свою противоположность—общественный и даровый кредит таким образом, «чтобы труд народа, а не храбрость посредством известного научного, отчетливого и введенного в законный закон сочетания, подчинил капитал труду»²⁾.

Итак, вместо исследования объективных экономических законов, Прудон хочет подчинить последние своему собственному «научному» «положительному» закону, и устранить этим те неравенства, которые рождаются «либо дурной волей, либо невежеством». Теория Прудона заключается не в научном понимании, но в порицании закона капитализма, в их отрицании и замене их другими, метафизически установленными самим Прудоном законами³⁾.

И Прудонский проект социальной реконструкции при помощи формы банка носит отпечаток всей его телеологически-стафизической установки, и слабости каузально-научного анализа. Его мечта — это создание такого банка, который бы не зависел от внешнего (государственного) вмешательства, находился бы в ведении коммерческих камер, избираемых иродом, и представлял бы из себя систему полного хозяйственного финансового самоуправления.

Прудон верил, что все социальные противоречия легко могут быть устранены, если правительство примет его проекты декретов о ссудах и налоге⁴⁾.

Не найдя поддержки у государственной власти, Прудон сам организовал в 1849 г. «Общество народного банка», которое, аделав порядочно шуму в рабочих и интеллигентских кругах, ровно через 3 месяца разделило печальную судьбу всех прочих проектов социальной реконструкции при помощи кредита.

¹⁾ Цит. по Берке «Мораль Прудона» в «Этюдах моральной философии IX в», Москва 1908.

²⁾ Цит. по Жуковскому, стр. 42, 43.

³⁾ «По взгляду на человеческую личность, по собственному характеру, по поводу отношения к самым реальным вопросам Прудон был не только до известной степени идеалист, но и метафизик» (Жуковский, стр. 13).

⁴⁾ В проекте «Декрета о ссудах» огромное значение придается дисконтной политике. Так, в § 7 указывается, что размер % (кроме ипотек) вообще устанавливается временно и в размере всего 1%, а при краткосрочных ссудах он может быть понижен до ½%. Во то же время § 8 гласит: «Процент, взимаемый при ссудах под ипотечку, определяется в 5% и взывается вперед» (стр. 106, 7). Ясно, что этим он хотел, с одной стороны, развить промышленность и сделать рабочих и капиталистов, а с другой стороны, прямо пресечь непроизводительное кредитование земледельцев. В § 10 устанавливается сумма в 10 млн. франков, которая назначается немедленно банком для выдачи работникам, которых настоящие икон застанет без работы, в «промышленности и рабочим обществам будет принят немедленно кредит в 50 млн. франков на условиях ежегодных платежей» (§ 11).

Итак, его идея «свобода и равенство» — рабочих превратить во владельцев и капиталистов лишить их привилегий и сделать работающими, а земледельцев принудить к тому же разорительными условиями ипотечного кредита. Без всякого вмешательства силы будет устранено неравенство, и станут рабочими и владеющими и те, кто не могли, и те, кто не хотел трудиться (Проект Прудона полностью помещен в цитированном труде Жуковского).

Идея уничтожения безработицы при помощи кредита живая и до сих пор Герикини ее поддерживает Гук; в Америке — Пигу и др.

В теории и эксперименте Прудона заслуживает быть отмеченным один момент, которого не было у других экспериментаторов, и который роднит Прудона с современными реконструкторами, с одной стороны, и представителями экспансионистической теории кредита, с другой. По уставу прудоновского банка «знаки банка» выдаются не только обмен на звонкую монету, векселя, залог товаров и пр., но и под коллективные обязательства рабочих артелей, и просто под поручительство. Этим путем Прудон и предполагал в первую очередь ликвидировать наибольшее зло капитализма — безработицу, а работающих освободить от зависимости капиталистов, и в конечном счете подчинить капитал труду. Так как банк Прудона не имел (и по его уставу вовсе не должен был иметь) необходимых для него капиталов, то средством решения всех противоречий должна была служить просто эмиссия «знаков банка»¹⁾.

Следовательно, банковская эмиссия и должна была создать тот капитал, которого не было у безработных и занятых рабочих. Таким образом идея о творческой роли кредита, которая пронизывает теорию всех экспансионистов кредита, занимала важное место и в прудоновских планах социальной реконструкции. Однако, если экспансионистическое направление в теории кредита (Маклеод, Ган, Шумпетер) пытается теоретически обосновать это центральное положение их теории, Прудон относился к этому вопросу с полной беззаботностью, высказывая просто веру в то, что его «знаки банка» будут обладать полной силой денег.

* * *

Если в эпоху промышленного капитала кредит выступает, как ведущая экономическая сила, ведущая к концентрации, обобществлению и монополии, то в эпоху финансового капитала кредит становится исключительной формой капиталистического господства.

Вот почему, несмотря на то, что история безжалостно забрала все эксперименты социально-кредитного реформаторства, эти идеи продолжают жить и в наши дни, когда концентрация средств производства в кредитной форме достигла наивысшего развития.

Теория и проект Гезеля.

Главным теоретиком и вождем этого направления сейчас является (или был) Гезель, теория которого изложена в следующих трудах: *«Die neue Lehre vom Geld und Zins»* (Leipzig 1911), *«Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld»* (3 Aufl., 1920, Hessen), *«Aktive Währungspolitik»* (Erfurt, 1921) и пр.²⁾.

¹⁾ Также и Родбертус в своем плане широких социально-экономических реформ в числе прочих мер предлагал оставить за государством право эмиссии кредитных денег, при чем «в этих кредитных деньгах государство предоставляет всем работодателям, в соответствии с количеством занятых на их предпринимательских, беспроцентные займы для расплаты с рабочими» (цит. по «Государственный социализм. Лассаль и Родбертус», Гиз, 1925, стр. 284). Таким образом, «в государственном» (читай — полицейском) социализме Родбертуса, в котором «капиталисты, и рабочие (и это называется «социализмом»!) государство берет на себя почетную функцию финансирования предпринимателей, и всеми благами «творчества» кредитных денег пользуются именно эти последние посредством работодателя, получают «беспроцентные займы»). Прудон все же был более либералом, чем Родбертус...

²⁾ Из его последователей в других странах отметим Баггал'я *«Die Geld-Währung des Völkerbundes»* (Erfurt 1922), перевод с французского доклада автора, прочитанного в торговой палате Ниццы 2 июня 1920 г. и опубликованного во французском журнале «Eclairage du Soir».

Гезель имеет приверженцев в разных странах (Германия, Франция, Юго-Славия), которые так высоко возносят его имя, что ставят его наряду с Марксом и Лениным (!), но считают, конечно, еще выше последних¹⁾. Другие видят в теории Гезеля «диалектическое устранение марксизма», которое поднимает пролетарское учение на высшую ступень развития, ибо дает в руки пролетариата действительное средство освобождения от власти капиталистов²⁾.

Оставляя в стороне эту обильную литературу приверженцев Гезеля с ее претенциозной трескотней об исторических заслугах и учителя³⁾ и обращаясь к самому «учителю», мы в сущности не находим и у него даже подобия той действительно научной экономической теории, которая могла бы претендовать на обоснование его учения.

¹⁾ Hoffman, Marx—Lenin—Gesell. Die Entwicklung des Socialismus von Utopie zur Wissenschaft, Thüringen 1926.

²⁾ Dr P. Stanisick, Marx oder Gesell? Ein Mahnruf an Karl Kautsky, deutscher Sozialistenführer, Hamburg 1926.

³⁾ В этой трескотне гезельщины есть не мало занимательного, о чем, однако, иначе, как под текстом научного обзора, говорить нельзя. Например, если вы думаете, что Маркс завершил развитие социализма от учения к науке, то вы глубоко ошибаетесь! Великая заслуга Маркса в том, что он впервые поставил (sic!) проблему научного социализма... но не разрешил ее. Кто же ее решил?

Неувидевшая заслуга Гезеля в том, что он эту задачу разрешения теоретически анализ современного капиталистического хозяйства до такой точки, которая дает нам в руки рычаг, при помощи которого мы можем устранить капиталистический порядок (aus den Angeln hebeln). «Гезель начал там, где Маркс кончил. Сочинение Гезеля означает вообще диалектическое устранение марксизма и диалектическое устранение, которое дает возможность пролетариату учению подняться на высшую ступень. И по всякому случае не подлежит сомнению, что Гезель анализ капитализма глубже Маркса» и «богаче опытом стада капиталистического капитализма».

Так вешает некий Гоффман, поклонник Гезеля, в своей претенциозной брошюре «Marx—Lenin—Gesell». Маркса, Ленина и Гезеля он считает тремя великими учителями пролетариата, и их исторические заслуги «классифицирует» следующим образом:

«Маркс поставил проблему научного социализма, но не разрешил ее, и в руки пролетариата революционное оружие диалектического материализма».

Ленин разрешил ту сторону проблемы (социальной), которая относится к завоеванию власти пролетариатом, сняв маску с капиталистического государства и создав стратегию классовой борьбы.

Гезель завершил (vollendet) анализ капитализма и указал пролетариату средство, которое дает возможность уничтожить капитализм и открыть путь к построению свободного бесклассового общества».

Весьма характерно для этой новой разновидности социаль-рефинизма, идеи которого уже брошены в широкие пролетарские массы Западной (Германия, Франция, Юго-Славия), что они не решаются перед лицом пролетариата открыто поставить крест над марксизмом и исключительно в интимной обстановке и пропаганды говорят об исторических заслугах Маркса и Ленина.

На самом же деле у Гезеля и его лиги «Способной торговли—свободы денег» и «Интернациональной—валютной—ассоциации» (IVA) нет ни атома марксизма, ни от ленинизма.

И об этом достаточно красноречиво говорит другой популяризатор Гезеля—славянский д-р Станисик в своей брошюре «Marx oder Gesell?», в которой он заявляет, что «Маркс и Энгельс ошибались, когда они полагали, что сила эксплуатации, прибавочная стоимость создается на фабрике, т.е. в промышленности. И этим обясняется также безрезультатность шестидесятилетней борьбы, социалистической борьбы против капитализма» (курсив наш.—З. А.).

Возлагая на теорию Маркса-Энгельса всю вину за обильную, но бесплодную пролетариату борьбу в революционной борьбе, Станисик убеждает учение Гезеля способно направить силы пролетариата по правильному пути.

Все дело заключается в том, чтобы вырвать с корнем из идеальной почвы себе системы миловитого хозяйства «демоническую силу денег», ибо деньги только деньги порождают «первичный процент» (Urgrozent) или «чистый процент», как основную форму нагнетанного дохода. И учение Гезеля убеждает пролетариата: он теперь знает, мол, ясно с чем, а не с кем бороться.

проекта социальной реконструкции на основе денег и кредита и которая хотя бы попыталась объяснить причины неудач всех предшественников Гезеля.

Его экономическая теория, правда, отличается от теории Прудона или Родбертуса, но отнюдь не в положительную сторону, ибо она повторяет ошибки самых старых, примитивных и вульгарных теорий.

Достаточно указать, что его экономическая теория представляет из себя механическое соединение теории спроса и предложения в учении о ценности плюс номиналистически-количественная теория денег, в которой воспроизводятся в расширенном масштабе все ошибки старого Юма. Его теория ценности, денег и кредита (процента) стоит ниже всякой критики. Критиковать экономическую теорию Гезеля—это значит логично в открытую дверь и повторять азы политической экономии не только Маркса, но и Рикардо и Смита¹⁾.

нужно бороться. Нужно победить «демоническую силу денег» и тогда конец всякой эксплоатации.

Как же победить эту «демоническую силу»? Для этого нужно только измочить влияние на кредитную систему и через нее осуществить такую реформу денежного обращения и кредита, которая бы и обеспечила создание того самого «фискального общества», о котором мечтает Гоффман. Нет, конечно, никаких сомнений в том, что проекты гезельянцев никогда и нигде не будут осуществлены.

Но разве дело в том, чтобы эти проекты были приняты когда-нибудь правительством Германии и других стран? Действительная задача Лиги Гезеля не в этом, но в том, чтобы покончить с революционными марксизмом и создать теоретическую почву для того, уже абсолютно мирного реформизма.

Гезельянцы отвергают вообще всякую непосредственную борьбу с буржуазией и даже те мягкие формы экономической борьбы, которые практикуют профсоюзы и социал-демократия. Пролетариат, мол, должен бороться за кредитно-денежную реформу, и поэтому пропаганда, пропаганда и пропаганда идей Гезеля! И это называет д-р Станиски в своем обращении к немецкой социал-демократии действительной, единственно плодотворной верной массовой борьбой!

Гезельянство—это самая правая, самая реакционная доктрина из всех псевдо-социалистических доктрин, когда бы то ни было предлагавшихся пролетариату.

¹⁾ Учение Гезеля, в котором, как и у Прудона, столь же много остроумных схем и схоластики, сколь мало действительного теоретического анализа, фундаментализируется самыми примитивными и вульгарными положениями.

«Спрос и предложение,—говорит Гезель,—т.е. количества предлагаемых денег и количества предлагаемых товаров, определяют отношение, в котором обе вещи обмениваются. Это есть основной закон обмена. Что представляет ньютоновский закон тяготения для астрономии, то же означает это положение для учения о народном хозяйстве (1), которое может быть ни больше и не меньше, как комментарием к этому закону».

«Итак, «основной закон обмена» открыт, а политическая экономия превращается в учение о спросе и предложении, т.е. отброшена на несколько веков вспять!

Отбрасывая далее сущность денег с их функцией средств обмена, не понимая реальным счетом ничего в функциях денег и отношении денег к стоимости, как и в самой стоимости, Гезель прокламирует свой «номинализм», который представляет из себя причудливую амальгаму из количественной теории Юма и функционализма Гельфериха, и на этой прочной эклектической основе развивает свою собственную «пролетарскую» теорию о денежной монополии капиталистов.

С народно-хозяйственной точки зрения, деньги имеют только одно, соответствующее их действительному назначению, употребление, в именовании, в качестве «средств обмена». Это и есть «социальный подход» к деньгам. «Это не исключает того, что с частно-хозяйственной точки зрения, деньги получают иные применения, которые, однако, чужды их народно-хозяйственному назначению». С этого пункта начинается «изюминка» всего гезелевского учения.

«Естественно от волн владельцев товаров, предложение должно ежедневно появляться на рынке. Идет ли дождь или снег, сияет солнце или нет, неспокоен ли капиталистский или биржи, предложение всегда равно запасу благ» (1). И поэтому,

то же касается его проекта социальной реформы и плана национальной валютной ассоциации (IVA), то они, действительно, представляют нечто отличное от проектов Грэя—Оуэн—Прудона, но опять-таки не в положительную, а в отрицательную сторону, ибо упрощают задачу старых реконструкторов и до предела нивелируют и вулгаризируют.

Вместо денег, он называет предложение товаров «вещью, предметом, объектом».

При золотом обращении этой товарной субстанции, которая «по природе должна быть реализована» противостоит монополия собственников золота: «Владелец золота, может, следовательно, ждать, он может уменьшить... Конечно, рано или поздно, золото будет реализовано, ибо само по себе оно бесполезно, но этот момент может по своему произволу выбрать владелец золота».

А если воля товароладельца (и в том числе, конечно, владельцев товарных сил) связана, ибо они должны немедленно реализовать свои товары, и капиталистов — собственников денег — ничем не связана, и она зависит от положения товароладельцев. «Там — принуждение, здесь — свобода, а ожидание на одной стороне и свобода на другой, определяют цену» (S. 104). Владелец товара оказывается в плену у владельца денег, и поэтому «золото и не залор (Riegel) рынка или «товарного обмена», как выражались они» (S. 105).

Выводы из этого ясны и просты и, конечно, величественны в своей гениальности! Нужно уничтожить эту искусственную заданную в товарном обращении, освободить товароладельцев от власти денежных собственников и дать свободу ценности «конституироваться» в условиях свободного, всеобщего обмена...

И тут на выручку приходит кредит, который может освободить товароладельца от необходимости немедленной реализации своих товаров. Если это так раз потому, что предложение денег недостаточно, то кредит может закрыть круг покупателей, включая в круг последних и тех, кто не обладает денежной монополией. Однако «предложение товаров за наличные растет медленно, с которым падают продажи в кредит», а последние, в свою очередь, и повышаются с падением и повышением товарных цен (S. 111).

Таким образом, и кредит, который в конечном счете связан с увеличением денег — золотом, и движение которого подчинено движению современной организации кредитной системы не в состоянии разрешить противоречие между постоянным избытком товаров и срочностью их сбыта срочностью денежного спроса со стороны капиталистов — владельцев денег Гезеля все капиталисты суть денежные капиталисты!).

Если «спрос равен массе и скорости обращения денег» (S. 114), то тем самым что величайшая социальная проблема заключается в... такой организации и денежного обращения, которая бы навсегда устранила недостаточность спроса, монополизировала денежных собственников — капиталистов, превратила бы рабочих полный продукт их труда.

«Если мы найдем деньги, которые обеспечивали бы производителей их продукта их труда, то мы создадим наилучшие деньги» («Die Arbeitsverhältnisse», S. 93).

Вот та самая точка Гоффмана, до которой довел Гезель пролетарское учение, которое дает в руки пролетариату рычаг для устранения капитализма в бесклассового общества.

Читателю ясно, что в изложенных основах гезелевского «нового учения» нельзя найти, во-первых, ни одной крупинки пролетарского учения, никаких признаков новизны.

На самом деле, что здесь нового? Неужели теория спроса — предложение или ценности? Или, может быть, идея о «несправедливом обмене», или капиталистов и происхождении прибавочной стоимости из труда? Но ведь это просто списано у Прудона, которого, правда, Гезель не перестает призывать своим предшественником.

Итак, наконец, «новым» оказывается учение о деньгах, как средстве обращения — механическая теория денег, которая просто воспроизводит теорию процента, которая буквально копирует Джона Лоу Кента, и теория денежной интервенции и возможности обогащения таким путем всех людей в развитии Джоном Лоу в еще более яркой форме, чем это ныне в современных рецептах социальной терапии предлагает банкирский директор Гей

Гезель отнюдь не собирается создать центральный орган, который бы калькулировал товары по действительной их трудовой ценности и выдавал бы «трудовые бонусы», как это проектировалось Грэм—Брэем—Оуэном—Прудоном. Его путь к социализму куда проще и радикальнее всех этих планов и опытов.

Соответствующая организация кредитной системы способна побороть «демоническую силу денег» и, следовательно, власть денежных капиталистов над трудящимися. Что такое безработица? Это низкие цены на товар, которые препятствуют расширению производства. А что означают низкие цены на товар? Это—перепроизводство товаров, но не абсолютное, а относительное, и именно в отношении к предложению денег. Таким образом, перепроизводство товаров имеет место всегда только в отношении к предложению денег, а, следовательно, может быть определено, как «недостаточное предложение» (Unterangebot) денег. И проблема, которая стоит перед человечеством, гласит так: «Должно ли производство приспособляться к деньгам или, наоборот, деньги к производству?».

До сих пор именно производство приспособлялось к деньгам, а не наоборот; если же освободить производство от денежного ярма, то одними этми сразу будут устранены все противоречия капитализма: кризисы, резервная армия, классовые антагонизмы!

Вот это и есть единственно надежное орудие для освобождения пролетариата от экономического рабства. Предлагаемая Гезелем реформа кредитно-денежного аппарата ставит перед собой 3 цели:

1) Справедливый обмен, который устранит затруднения в сбыте, кризисы и безработицу.

2) Значительное ускорение менового процесса, что приведет к уменьшению числа торговцев и их аппарата и даст возможность обществу довести до минимума товарные запасы.

3) Удешевление обмена, что даст возможность свести к ничтожной величине разницу между ценой производителя и потребителя¹⁾.

Эту задачу и должен выполнить центральный нотный банк. Но ведь таковые банки существуют и сейчас во всех странах. Однако Гезель считает, что до сих пор во всех странах банковская эмиссия не базировалась на частию-хозяйственных потребностях в деньгах, а не на народно-хозяйственных, и потому эмиссионными банками никогда не удавалось полностью насытить народное хозяйство деньгами²⁾. Своей политикой они только обостряют денежный голод, усиливают спекуляцию и вызывают экономические потрясения. Еще менее может правительственная чеканка металлических денег удовлетворить денежный голод производителей, ибо золотом-деньгами целиком распоряжаются монополисты-капиталисты.

Нынешние нотные банки не приспособлены для выполнения великой задачи организации обмена и поэтому Гезель предлагает:

1) Лишить Рейхсбанк нотной привилегии.

2) Передать эту привилегию «Государственному денежному институту» (Reichsgeldamt).

Гезель указывает и конкретные методы осуществления его реформы:

1) Новые деньги должны быть бумажными, металлические деньги упраздняются.

¹⁾ Die natürliche Wirtschaftsordnung, S. 93.

²⁾ Буквально то же говорил и Ло в отношении Франции, см. стр. 386.

2) Эти бумажные деньги обладают («нужно ухудшить деньги, как вар»») не константной, но падающей еженедельно на 1% ценностью, поэтому всякий будет стараться от них избавиться, никто не будет копить, и тем самым капиталисты будут лишены своей налички¹⁾.

3) Выпуск и стягивание этих денег происходит в порядке широкого кредитования производителей из самого низкого процента, регулируется в соответствии с задачей стабилизации цен. «Не твердыми, но твердые цены образуют границу эмиссии для «Государственного денежного института». В случае повышения цен, этот институт в целях увеличения предложения денег снижает дисконт трехмесячных векселей до ставки в 1/2% или 0%!!

Такие деньги и такая кредитно-эмиссионная политика приведут к устранению кризисов, безработицы и даже прибыли: торговый капитал не сможет пользоваться своей монополией, и по закону конкуренции торговая прибыль упадет до общего уровня заработной платы. На этих же принципах Гезель предлагает реформу и интернациональную валютную реформу²⁾, план которой включает в себе массу деталей, но ничего нового не вносит к изложенным принципам. Этот проект утопичнее всех существовавших в истории социальных утопий.

Гезель хочет сохранить частную собственность и меновое общество и вместе с тем устранить единственный регулятор менового общества—закон ценности, ибо вне механизма колебания цен этот закон не может осуществляться.

Гезель хочет устранить стихийность обмена и сохранить анархию производства, называемую «экономической свободой».

Гезель хочет устранить власть капиталистов путем простой денежной инфляции, как будто все дело в монополии денег, а не в монополии средств производства.

Он совершенно не понимает того, что денежный капитал это только форма промышленного капитала и что капитал существует, как капитал только в действительном процессе производства, и что поэтому деньги не порождают прибавочную стоимость, но представляют лишь внешнюю фетишистическую форму, в которой эта прибавочная стоимость проявляется в обращении.

Устраняют ли хоть в какой-либо мере новые кредитные деньги Гезеля монополию капиталистов на средства производства? Дово-

¹⁾ Этот пункт не фигурирует в его новом проекте валютной реформы.

²⁾ В «Aktive Währungspolitik» Гезель воспевает свободу торговли и предлагает созвать Интернациональную валютную конференцию. Укажем некоторые пункты той интернациональной валютной реформы, которую, по мысли Гезеля, должна провести указанная конференция: 1) Выпуск банкнот во всех государствах, вступивших в IVA (Интернациональная валютная ассоциация), объявлен исключительным правом правительства; договоры с частными банками отменяются. 2) Выпуск банкнот во всех государствах IVA регулируется единым принципом, а именно банкноты эмитируются, если товарные цены падают и наоборот. 3) Для установления уровней цен во всех государствах IVA ведется на разнообразных основаниях статистика товарных цен. 4) Учреждается «Интернациональное валютное бюро», в котором обсуждаются все вопросы, и движимые практикой (S. 75). Говоря о значении этой реформы, Гезель указывает, что «золотая валюта является предпосылкой и жизненным началом кризиса» (!?), а его реформа устранит кризисы и «рабочие не будут более вынуждены праздновать недели и месяцы» (S. 75). Свою валютную политику он считает единственно надежной панацеей от всех бед капитализма и средством устранения классовых противоречий. История, пожалуй, не знает более нелепых карикатур на социализм, чем гезелевский проект.

точно вспомнить недавний опыт денежных инфляций во всех странах, чтобы понять, что никакая интервенция бумажных денег сама по себе не в состоянии экспроприировать капиталистов, поскольку средства производства остаются в их руках. Какая польза рабочему от того, что кредитно-денежная система будет построена по гезелевскому принципу? Сможет ли рабочий воспользоваться благами свободной кредитной эмиссии? Нет, если Reichsgeldamt будет требовать залога, который могут представить только капиталисты. Если же Reichsgeldamt захочет всех желающих снабдить своим дешевым кредитом, то неизбежен немедленный же под'ем цен, а, следовательно, по его эмиссионному принципу немедленное же сжатие эмиссии. Следовательно, если цены стабильны, то невозможна широкая эмиссия, и, наоборот, если практикуется широкая эмиссия, то долой стабильные цены! Гезель соединяет воедино два момента, взаимно исключющие друг друга.

И, наконец, нарасно Гезель предлагает декларировать падающий курс для своих «свободных денег». Они и без этой декларации будут падать, коль скоро государство всерьез возьмется за денежно-кредитную интервенцию. И разве мы не знаем, что падающая валюта никогда не устраняла ни кризисов, ни колебания цен и никогда не улучшала экономического положения рабочего класса! То, что широкая кредитно-денежная интервенция прямо ведет к инфляции—это несомненно. И еще более несомненно, то, что тот самый пролетариат, в интересах которого осуществляется реформа, больше всех страдает от инфляции.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что проекты Гезеля, теоретически необоснованные и практически нелепые, были отвергнуты буржуазией и не встретили мало-мальски заметной поддержки у пролетарских масс.

Ошибка этого направления.

Наш обзор теоретиков социальной реконструкции на основе кредита имел целью показать, что это направление не только не разрешило проблемы сущности, функций и социальной роли кредита при капитализме, но по существу даже не поставило этих проблем. Оно просто перескочило через них прямо к проблеме о роли кредита в социалистическом строительстве. Между тем, всякие попытки решения этой последней проблемы без решения первых проблем заранее обречены на неудачу.

Чтобы выяснить, какое — иужно знать сущее и его тенденции. Всякая новая теория «должного» — есть чистейшая метафизика, каковой и являются все перечисленные планы реконструкций.

В разрезе нашего анализа важно лишь поставить вопрос: почему некоторые социальные реформаторы в основу своих проектов организации обмена клали реформу кредита?

Объяснение этому (здесь мы не касаемся вопроса о социальной природе этой теории) мы видим только в том, что кредитная система действительно является стихийно-организующим аппаратом капиталистического общества, и именно этот аппарат является мощным рычагом социальной реконструкции. Капиталистическое производство, несмотря на индивидуалистическую форму присвоения, является по своему существу общественным производством. И общественный характер капитала проявляется в полной мере лишь при посредстве вполне развитой кре-

итной и банковской системы» ¹⁾. (Курсив наш.—З. А.) Анархической системе капиталистического производства кредитная система придает видимость организованной системы.

И все реконструкторы, принимая эту видимость за действительность, вполне логично считали, что обобществление кредита является вместе с тем и подчинением организованного благодаря кредитной системе капиталистического производства, контролю всего общества или действительным обобществлением всей экономической системы.

Однако «баиковое дело, несомненно, создает форму общего счетоводства и распределения средств производства в общественном масштабе, но только форму» (Маркс ²⁾). Она распределяет средства производства по отраслям производства и уравнивает прибыль капиталистов в среднюю норму прибыли, и тем самым как бы превращает все капиталистическое общество в единое акционерное предприятие, в котором каждый получает прибыль *pro rata*, вложенному капиталу.

Кредитная система уничтожает, таким образом, частный характер капитала и содержит в себе, но именно только в себе, устранив самого капитала» (Маркс).

Однако только устранение самого капитала, следовательно, частной собственности на средства производства и обобществление всего производства может дать то общественное содержание кредитной системы, формой которого последняя является и при капитализме.

У социальных реконструкторов, несмотря на слабость в экономической теории, и в том числе теории кредита, есть одно верное положение, которого нет у прочих направлений в теории кредита, а именно представление о кредитной системе, как факторе социалистического строительства.

Кредитная система действительно послужит мощным рычагом во время перехода от капиталистического способа производства к способу производства ассоциированного труда — однако лишь как один из элементов в связи с другими важными органическими переворотами в самом способе производства ³⁾.

Но именно этого не понимал и не понимает мелкобуржуазный социализм, который стремится сохранить частную собственность в средствах производства и одновременно устранить все противоречия капитализма. И чтобы «волки были сыты и овцы были целы», мелкобуржуазному социализму не остается ничего иного, как выдвигать идею обобществления кредитной системы, что должно привести к свержению тирании крупных капиталистов, но сохранить частную собственность, меновое общество, свободу и порядок!

Но, ведь, это значит повернуть назад колесо истории! И Спенсер Гезелю также не удастся осуществить свою реакционную утопию, и это не удалось Оуэну, Прудону и Мазелю!

Резюмируем наш вывод: направление социальных реконструкторов, не имея разработанной теории кредита, в отличие от других направлений, рассматривает кредит, как фактор переустройства капиталистической системы на социалистических началах. Эта утопия

¹⁾ Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 147.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Ibidem, стр. 148.

реакционная трактовка кредита, однако, не имеет ничего общего с действительными задачами социализма. Кредит во-первых, не всегда может быть использован, как мощный фактор социальной реконструкции (но лишь на известной ступени исторического развития), и, во-вторых, на основе только одной реформы кредита и денежного обращения не может быть построен социализм.

II. Пассивно-натуралистическая теория кредита.

Это направление в теории кредита являлось и является господствующим, и поэтому указать имена этих теоретиков—значит, перечислить подавляющее большинство всех экономистов, писавших по вопросам кредита.

Между отдельными теоретиками этого направления велась и ведется бесконечные и, на наш взгляд, познавательные бесплодные, споры о том, из каких внешне-эмпирических моментов должно быть сконструировано понятие кредита: Нужно ли включать в это определение момент раздельности во времени (Zeitdifferenz), между отдачей ценностей и получением эквивалента; является ли доверие признаком кредита, а если является, то основной или второстепенный это признак; «переносятся» или «передаются» блага в чужие руки; передается ли право собственности или нет; наконец, что является объектом передачи: просто благо (или ценность), или «богатство», или «капитал» и т. д. Нужно сказать, что при всем обилии расхождений в определениях кредита все экономисты этого направления (следовательно, подавляющее большинство экономистов вообще) сходятся на единой платформе пассивно-натуралистического понимания сущности кредита.

Кредит, с их точки зрения,—это передача реальных благ в чужое хозяйство для пользования, и при нашей постановке вопроса принципиально безразлично для существа проблемы, связан ли этот процесс с доверием, определенной срочностью возврата кредитованных благ и пр.¹⁾

¹⁾ Вот характерные для теоретиков этого направления определения (мы берем для иллюстрации представителей этого направления из старых и современных русских и иностранных авторов).

Рикардо: «Кредит является средством, которое переносится от одного лица к другому лицу для использования капитала» (Цит. по Миклашевскому, Деньги, стр. 449, М. 1896).

Дж. Ст. Милль: «Будучи лишь разрешением одному лицу пользоваться капиталом другого, кредит» и т. д. (Дж. Ст. Милль, Основания политической экономии, т. II, 2 изд., стр. 31, СПб. 1873 г.).

Шюнитц: «Кредит есть такой хозяйственный оборот, при котором хозяйственный субъект передает часть своего богатства в пользование другому хозяйственному субъекту с притязанием на будущее возмещение в заместных благах (in fungiblen Gütern) и прежде всего в деньгах» (Schönitz, Die kleingewerbliche Kredit in Deutschland, Karlsruhe 1918, S. 9).

Комомский: «Кредит—это такая форма частично-хозяйственного оборота, при которой имущество передается чужому хозяйству в пользование» (Цит. сочин., S. 25).

Зелигман: «Кредит—это меновая сделка, состоящая в передаче другому лицу временного пользования богатством» (Зелигман, Основы политической экономии, стр. 449, СПб. 1908).

Лексис: «Одно лицо передает другому некоторый объект под условием возмещения в будущем... Речь идет о передаче вещей» и т. д. (Лексис, Кредит и банки, стр. 11, М. 1923).

Мануилов: «Кредит состоит в передаче хозяйственных благ их обладателям сторонним лицам в их распоряжение на праве собственности...» (Мануилов, Политическая экономия, стр. 236, М. 1919).

Приведем образчик самого новейшего определения кредита Аммона:

«Под кредитом мы понимаем временное предоставление в меновой оборот одним лицом другому лицу суммы меновых ценностей («капитала»), заключающихся в деньгах или товарах. Это есть продажа временного ограниченного пользования капиталом»¹⁾.

С поразительным единообразием и на Западе, и у нас веками повторяется одна и та же трактовка сущности кредита²⁾.

Определения Косинского.

И те изменения, которые на основе марксовой теории некоторые наши теоретики пытались внести в это господствующее определение, ничего по существу в нем не изменяют. Каценелейбаум считает, что в отличие от «теории пользования» Коможенского Косинский развил «теорию производства». Но в чем эта последняя заключается? В подчеркивании того, что в чужое хозяйство передается не просто вещь или ценность, но ценность «в качестве капитала, имеющего круговращаться в предприятии заемщика»³⁾.

Итак, здесь два новых, по сравнению с Коможенским, моменты: во-первых, вместо вообще «вещи» или «блага» — «капитал», и, во-вторых, вместо просто «пользования» — «производительное пользование».

¹⁾ Alfred Ammon, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Jena 1926, II, S. 225.

²⁾ Можно встретить ряд определений, которые как будто отклоняются от приведенного «стандартного» типа, но это отклонение чисто внешнее, формальное. Так, например, Косинский и Каценелейбаум считают, что как видит сущность кредита не в пользовании, но в моменте времени (Zeitmoment) разделяющем передачу благ и получение эквивалента, и на этом основании ведут борьбу с теорией Кинга. Однако эта борьба впустую, ибо Кинг отнюдь не исключает момента пользования и лишь считает, что пользование должно быть объективно связано с Zeitmoment'ом (См., например, в его «Der Credit», II Teil, § 18 и в других местах этого же труда).

То же и у Вагнера, который и моменту времени прибавляет и момент доверия, но также отнюдь не исключает момента пользования (см. Handwörterbuch der Volkswirtschaftslehre, 2 Aufl., 1870, статья «Credit»). Этот момент логически вообще не может быть исключен из кредитного акта, ибо если что-то на каких-то условиях передается одним лицом другому лицу, то ясно, что это последнее будет «пользоваться» полученным от другого лица нечто. Другое дело, будет ли это пользование носить производственный или потребительский характер. Но момент пользования нельзя исключить из эмпирического определения кредита, и в том случае, когда этот момент в самом определении кредита, не фигурирует, он все равно подразумевается. Так, например, если Бунге говорит, что «кредит есть акт меновой передачи ценности или личной услуги по доверию к будущему или гражданению» (Бунге, Теория кредита, Киев 1852, стр. 14), то само собой понятно, что лицо, получающее ценность или услугу, будет так или иначе им пользоваться. То же самое следует сказать и относительно определений Туган-Барановского (Основы, стр. 432), Соболева (Кредит, 1918, стр. 5) и др.

Диль считает, что «кредитный оборот является правовой формой безнежного товарного оборота», а «кредитный оборот есть, в противоположность наличному обороту, такая форма возмездного (entgeltlichen) оборота, при которой услуга и возмещение распадаются во времени» (Theoretische Nationalökonomik, т. III, S. 537). Но и Диль отнюдь не отрицает момента пользования, и в его анализе Диль проводит разграничение между видами кредитов также и по тому моменту (производительный и потребительский кредит и пр.). Поэтому указанный спор идет о самой формуле определения, а сущность понимания кредита у нас с нашей точки зрения, идентичное.

³⁾ Косинский, Учреждения для мелкого кредита в Германии, Введ. стр. ССIII, М. 1901.

Замена «вещи» «капиталом» несомненно представляет некоторый прогресс в рамках данного теоретического направления. Эта замена была, повидимому, продиктована простым наблюдением того факта, что кредит и предприятия, его обслуживающие,—бабки, играют центральную роль в том процессе экономической эволюции, которая характеризуется вытеснением мелких предприятий (в первую очередь некапиталистических) крупно-капиталистическими предприятиями и непрерывной концентрацией и централизацией последних. Таким образом, и чисто-эмпирическая теория в наше время не может не рассматривать кредит, как форму капиталистической организации и как фактор эволюции капитализма. Отсюда бесплодность всякого определения кредита вне связи с категорией капитала становится очевидной и для сторонников этого направления, поскольку в таких определениях, как, например, Коможинского и др., игнорируется специфическая историческая особенность категории кредита, и эта последняя оказывается одинаково-значимой, как для первобытного обмена, так и для современного высоко-развитого капитализма.

Хотя Косинский принимает марксову теорию воспроизводства и даже органического состава капитала, его теория кредита, на наш взгляд, не является продолжением марксовой теории, но скорее искажением ее.

Как показывает экскурс автора в историю теорий кредита, Косинский считает самой важной чертой своего определения кредита то, что у него кредит связан с производством. В противоположность мнению самого автора, мы считаем, что самое ценное (и единственно ценное) в этом определении—это подчеркнутая в нем связь кредита не с производством вообще, но с капиталом и капиталистическим предприятием.

Поскольку «круговращение капитала в чужом предприятии и есть, очевидно, то элементарное явление, из которого составляются правильности массовых явлений кредитного хозяйства» ¹⁾, постольку автор элиминирует из определения сущности кредита не производительный или потребительский кредит. Однако, что из себя представляет тот вид кредита, анализу которого и посвящен весь труд Косинского, именно мелкий кредит?

Никаких специальных указаний по этому поводу мы не находим у автора, но поскольку сущность кредита он видит в его связи с производством и находит процесс круговращения капитала даже в домохозяйстве (!), не остается никакого сомнения в том, что в мелких индивидуальных предприятиях (не пользующихся наемной силой) тоже происходит круговращение капитала. А раз так,—значит, автор попадает в решительное противоречие с марксовой теорией и, следовательно, с самим собой, поскольку он разделяет марксову теорию воспроизводства и прибавочной стоимости. Если же под капиталом понимать средства производства вообще (а именно так и должно понимать капитал с точки зрения Косинского), то определение кредита Косинского оказывается столь же далеким от марксовой экономической теории, как и определение Коможинского.

¹⁾ Там же, стр. 70 (введение).

Косинский ограничивает понятие кредита только производственным кредитом и элиминирует потребительский кредит. Эту точку зрения вполне основательно критикует проф. Каценеленбаум и, критикуя, доводит до логического конца теорию Косинского, которую в основном разделяет и Каценеленбаум. Последний мотивирует свое мнение тем, что и «в потребительском хозяйстве затраты являются суть производственные затраты, и кредит на потребление — точки зрения производственный кредит»¹⁾.

Мы считаем, что это совершенно правильный вывод из той естественно-натуралистической точки зрения, которую мы взяли в основу теории кредита Косинский. Вместе с тем, стирается принципиальная грань между так называемой «производственной теорией кредита» Косинского—Каценеленбаума и «теорией позитивизма» Коможинского, поскольку под капиталом первая понимает а с б л а г а (а не производственное отношение), предназначенные для действительно капиталистического производства, так и для натуралистического производства, так, наконец, даже и для индивидуального потребления!

В обоих случаях б л а г а, называемые Коможинским Vermögen (имущества), а Косинским и Каценеленбаумом «капиталом», переданы в пользование в чужое предприятие, и в этом заключается «сущность кредита».

Из такого чисто натуралистического понимания сущности кредита это направление делает соответствующие выводы относительно функций кредита, его роли в капиталистическом обществе, и т. д. в условиях кредитной экспансии.

Функции кредита по Дилью.

По вопросу о функциях кредита в литературе этого направления основным встречаем то же однообразие взглядов, что и по вопросу о сущности кредита. Чтобы не затруднять читателей многочисленными цитатами, мы воздержимся от иллюстраций и ограничимся разбором функций, которые приводит Диль, поскольку последний утверждает все то, что высказывалось этим направлением о функциях кредита.

Диль приводит четыре «положительных» и одну «отрицательную» функции кредита:

1) Кредит приводит к «усилению производительной силы деятельности», ибо предоставляет возможность капиталистической деятельности и для тех, кто не располагает капиталом. Следовательно, кредит благодаря «перемещению капиталов» (Kapitalverschiebung), «увеличивает производительную работу наличных капиталов»²⁾. Это утверждение является общим местом для всех теоретиков кредита до настоящего времени: кредит не создает капиталов, а лишь переносит наличные капиталы.

2) «Количество необходимых для хозяйственного оборота наличных денег (металлических денег) значительно уменьшается благодаря кредитным платежным средствам». «Следовательно, кредит действует не только, как «перемещение капиталов» (Kapitalverschiebung), так же и как «перемещение покупательской силы» (Kaufkraftverschiebung).

¹⁾ Цит. соч., стр. 17.

²⁾ Цит. соч., S. 541.

burg) ¹⁾. Это тоже общее место для теоретиков данного направления: кредит не есть деньги, и, следовательно, кредит не увеличивает, но, наоборот, сокращает массу различных денег. Следовательно, кредит в этой функции лишь представляет экономию на издержках обращения и не увеличивает самой сферы обращения (ибо, если бы происходило последнее, то следовало бы признать кредитные знаки деньгами).

3) «Кредит может привести к большей стабильности цен», ибо торговцы, благодаря кредиту, могут не продавать при плохой конъюнктуре и выжидать лучшей конъюнктуры ²⁾. Этот тезис фигурирует у всех теоретиков, что вполне понятно, ибо очень сомнительно, насколько эта функция может быть причислена к «положительным». Если цены низки, то это означает избыток предложения (при обострении—кризис), что не может быть устранено кредитом. Избыточное предложение должно быть срезано рынком, и механизм колебания цен (в данном случае, снижения цен) является единственной формой и единственной возможностью восстановления равновесия. Кредит же в этом случае, временно противодействуя этой закономерности, не может побороть последней и вызывает лишь искусственную задержку сбыта, спекуляцию, что отнюдь не означает «большой стабильности цен», но, наоборот, задержку снижения (и даже повышения) цен в данный момент с тем, чтобы в следующий момент скрытая диспропорция проявилась с еще большей энергией, чтобы кризис принял более резкую форму. Следовательно, ни о какой «положительной роли» этой функции, с точки зрения стабильности цен, не может быть и речи. Итак, это положение отпадает.

4) «Кредит представляет услугу хозяйственной предусмотрительности на будущее время». Здесь речь идет о страховых обществах и т. п. Это, конечно, бесспорно, но говорить об этой функции, как об одной из основных, конечно, нельзя. Здесь просто не выдерживает масштаб значимости функций, и об этой функции, конечно, вообще, в данном разрезе не может быть речи.

Что касается отрицательного момента действия кредита, то такой заключается в том, что «благодаря перенапряжению (Ueberspannung), или хозяйственно-нерациональному употреблению кредита могут возникнуть опасности и ненормальности». Из этого вывод: если не «перепрягать кредит» (т. е. не выходить из рамок реального «накопления») и относиться «осторожно» к требованиям кредита от банков, то вообще действия последнего на народное хозяйство будут исключительно «положительными».

Итак, центральное значение для теоретиков этого направления имеют первые две функции. Они и определяют социально-экономический вес кредита (его роль) в системе капитализма.

Кредит играет, с этой точки зрения, пассивную и подчиненную роль в развитии производительных сил. Кредит не в состоянии вызвать к жизни новые капиталы, но лишь распределяет наличные капиталы, следовательно, просто хозяйственные блага, а этим дает возможность лишь более производительного употребле-

¹⁾ Ibidem, S. 542.

²⁾ Ibidem, S. 542.

ния наличных благ. Об этом вполне отчетливо говорил еще Дж. С. Милль:

Кредит и капитал.

«Примером сбивчивости понятий о сущности кредита может служить утрированный тон, которым так часто говорят о его национальной важности. Он не может создать нечто из ничего. Очень часто рассуждают о расширении кредита так, как будто оно равносильно созданию капитала или как будто кредит и есть сам капитал. Страшно необходимость доказывать, что, будучи лишь разрешением одному лицу пользоваться капиталом другого лица, кредит не увеличивает, а лишь переносит средства производства»¹⁾.

Во времена Милля и Рикардо этот тезис имел *raison d'être*. Тогда на самом деле кредит просто представлял из себя «разрешение одному лицу пользоваться капиталом другого лица», ибо, если бы такого разрешения не последовало, то капиталовладелец мог бы использовать свой «капитал», т.-е. блага или деньги, для учреждения своего собственного производства или какой-нибудь малюсенькой торговли (впрочем, и тогда уже этот путь для многих был закрыт). Однако нескритичное повторение этого тезиса более поздними и даже большинством современных авторов говорит о недооценке ими роли кредита в капиталистической системе.

Представим себе, что в условиях современного финансового капитала последовал массовый отказ в «разрешении одному лицу пользоваться капиталом другого лица». Как бы экономисты ни трактовали понятие капитала, но у всех это последнее связывается с «доходом» (Ertrag), прибылью (Gewinn) или процентом.

Спрашивается, то «нечто», что осталось бы у всех тех, которые отказались таковое передать «другим лицам», являлось бы капиталом? Ни в коем случае, ибо не только мелкие, но даже более крупные средства отдельных лиц в условиях современного крупного концентрированного производства не могут быть капиталистически утилизированы, не могут принести ни «доход», ни «прибыль».

А раз так, имеют ли основание эти теоретики повторять, что кредит только переносит капитал и только увеличивает производительность капитала? Могут ли они говорить о существовании капитала (даже при их понимании этого термина) без кредита? Ясно, что нет, ибо в условиях современного капитализма только через кредит и «создаются» капиталы²⁾.

Нельзя далее утверждать, что производительность капитала только «увеличивается», нельзя потому, что без «кредита нет капитала, именно в кредите проявляется общественная форма капитала» (Маркс). Поэтому современное капиталистическое производство вообще невозможно без кредита. Следовательно, исторический тезис этого направления о «перенесении капитала» в современных условиях по меньшей мере неточен, и с большим основанием можно говорить о «создании капитала», понимая под этим весьма неточным термином превращение через кредит потенциального капитала в капитал (функционирующий капитал) и

¹⁾ Основания, II т., стр. 31.

²⁾ Под «созданием» здесь понимается специфическая, именно кредитная форма капиталообразования.

основе существующих материальных фондов. Отсюда и безусловная недооценка этим направлением роли кредита при капитализме. С точки зрения этого направления, кредит вовсе не является необходимостью для капитализма, но лишь фактором сопутствующим или содействующим. Они поэтому не понимают и роли кредита в уравнении нормы прибыли, движении цен производства, следовательно, в равновесии капиталистической системы и тенденциях капиталистического развития, ибо универсально-натуралистическая (над-историческая) трактовка сущности кредита (и капитала) закрывает путь к пониманию всей исторической и социальной специфики этой категории (равно, как и прочих категорий политической экономии)¹⁾.

Правда, теоретики этого направления, под впечатлением фактов новейшей эволюции капитализма (главным образом, акционерных обществ), говорят о «кооперативном начале», заложенном в кредите (Коможинский), и о разрешении противоречий между общественным производством и частной собственностью благодаря кредиту. Об этом писали и Дж. Ст. Милль, и Кинс, и Коможинский, и с особым энтузиазмом Гильдебранд. И этот тезис также стал «стандартным». В самое последнее время среди прочих этот тезис применяет к понятию кредитного рынка без всякой критики также и Бекерат:

«Общая народно-хозяйственная функция кредитного рынка заключается именно в том, что разрываются границы издержек отдельных хозяйств (публичных и частных) в производственных или потребительских целях, границы, которыми последние связаны величиной собственных состояний»²⁾.

И вместо того, чтобы понять ту специфическую форму, в которой при наличии кредита проявляются имманентные противоречия капитализма и специфичность процессов промышленного цикла, ряд натуралистов кредита просто говорят о «смягчении» или даже устранении противоречий капитализма благодаря кредиту.

Так, Кинс, хотя считает нелепым взгляд о том, что «обобществлением кредита и предоставлением кредита бедным может быть устранена бедность», все же признает, что кредит «уменьшает неравенство между теми, которые располагают Vermögen (богатством), и теми, которые такового не имеют»³⁾.

¹⁾ Экономисты, сторонники социального метода в политической экономии, глубже понимают роль и необходимость кредита в системе капитализма. Так, Амион (Grundzüge, S. 231) пишет: «Кредит сам по себе имеется на каждой ступени индивидуалистически организованного менового общества: однако интенсивность современной хозяйственной жизни и объем производства современного народного хозяйства были бы невозможны без кредитной организации». Вместе с тем Амион указывает, что эволюция банков ведет к их монополистическому господству на рынке капиталов, с чем связывается опасность коллизии между частно-хозяйственными интересами банков-монополистов и общими интересами всего народного хозяйства. Эту опасность Амион видит не только в росте влияния банков на промышленность и подчинении последних первым, но также и в усилении влияния банков на денежное обращение, ценность денег и, следовательно, на все народное хозяйство в целом: «Централизованные кредитные организации, которые господствуют на капитално-денежном рынке, в состоянии через расширение или сжатие кредита произвольно влиять не только на снабжение деньгами отдельных предпринимательских отраслей или отдельных предприятий, но также и в целом на сжатие или повышение общего уровня цен в народном хозяйстве» (Grundzüge, S. 231).

²⁾ Beckerath, Geldmarkt und Kapitalmarkt, S. 58.

³⁾ Credit, II Teil, S. 195.

Другие идут еще дальше этого, но одинаково наивны как более, так и менее радикальные взгляды теоретиков этого направления на социальную роль кредита.

Трактуя капитал и кредит строго натуралистически и видя лишь поверхность явлений капиталистического общества, они не принимают того, что сущность капитала не меняется от той или иной формы его организации, что эксплуатация труда и устраняется, но лишь заменяется вторичной более сложной и противоречивой формой эксплуатации через кредит, через эксплуатацию самих капиталистов.

Второй тезис: кредит замещает деньги, сокращает *les frais* обращения. Кредит, с этой точки зрения, не увеличивает массы обращающихся капиталов, но лишь сокращает количество наличных денег. Это, в сущности, развитие первого тезиса: кредит не создает капитала. То, что кредит сокращает потребность общества в металлических деньгах и этим сокращает *les frais* обращения, конечно, не может быть оспариваем (так же, как и то, что кредит активизирует наличные общественные фонды воспроизводства). Но и это положение в том виде и в той связи, в которой оно у них фигурирует, недостаточно, а потому и неверно. Этот тезис натуралистов в данной формулировке на голову был перебит еще в середине прошлого века остроумным Кокленом.

Критика натуралистов Кокленом.

«Пусть отвергают вообще, — писал Коклен, — возможность увеличения ценностей посредством кредита, тем не менее факт его существования. Если политическая экономия в своем настоящем положении (это сохраняет силу и для современной политической экономии. — З. А.) не объясняет этого явления, тем хуже для нее, но не следует, опираясь на сомнительную теорию, отвергать очевидные факты. Что бы ни говорили, прямое и необходимое действие кредита на торговые отношения есть увеличение количества суммы ценностей, посредством которых каждый промышленник совершает свои обороты и тем самым увеличивает производительные средства их»¹⁾. Конечно, здесь речь идет не об использовании банком сбережений, но о создании новой покупательской силы через эмиссию по анцепт и пр. И, анализируя по отношению к этому типу кредитования учет векселей, Коклен вполне резонно утверждает: «Таким образом всякий имеет возможность получить обратно, только в другой форме ссуженные им ценности, тогда как полученные им ссуды остаются за ним до истечения срока его обязательств. Следовательно, его средства, его производительная сила увеличиваются на все количество полученных им ссуд, не теряя несколько от ссуд, произведенных им. Ясно, что в этой системе капитал для каждого увеличивается на сумму оказываемого ему кредита» (стр. 80).

Здесь вопрос поставлен ребром, и в этой постановке получил Коклена ясный и определенный ответ.

¹⁾ Коклен. О кредите и банках, стр. 82, пер. со 2 изд. С. Висковат. Спб. 1861.

Комментатор Коклена, строгий натуралист Курсель-Сенель, припёртый к стене Кокленом, ничего не может возразить по существу, и пытается просто уклониться от ответа ссылкой на то, что в этом случае происходит увеличение капиталов лишь с частью-хозяйственной точки зрения. Но ясно, что это только увертка, ибо если у о количества лиц увеличились «капиталы», которыми они оперируют, и если это увеличение не вызвало никакого уменьшения «капиталов» у других, то очевидно, оставаясь при своем строго фетишистическом понимании, Коклен имеет полное основание отвести возражение Курселя:

«Можно ли отрицать, — говорит Коклен, — что в приведенной нами системе производительный капитал каждого увеличивается; а если это справедливо для каждого лица в частности, то может ли оно быть несправедливо для общества? К тому же должно заметить, что все это не гипотеза, а факт, который совершается в глазах всех и в действительности которого всякий легко может убедиться». И дальше идет указание на то, что неограниченно может удешевлять сумму своих оборотов в сравнении со своим богатством, не затрачивая кредита других.

Итак, Коклен просто фактами бьет натуралистическую теорию, и точно так же новейшие издания натуралистических теорий опровергаются теми же фактами со стороны Гана и Шумпетера. Спор о творческой роли кредита сохраняется, таким образом, к свое значение¹⁾, и бессилие натуралистической теории в решении этой проблемы совершенно очевидно. Правда, и сам Коклен запутывается в теории кредита и противоречит себе, и так же, как и современные экспансионисты, не в состоянии довести решения проблемы до конца. Они не в состоянии этого сделать, ибо у них нет необходимой для этого общетеоретической базы, правильной теории ценности, капитала, воспроизводства и движения формы капитала, но огромная заслуга этого направления заключается уже в одном том, что оно с полной очевидностью вскрыло теоретическую и эмпирическую дефективность натуралистической теории.

Все натуралисты не устают говорить об «огромном значении» кредита в хозяйственной жизни, но это «огромное значение» выглядит у них довольно скромно. Так, например, Мануйлов, говоря о чрезвычайно важном значении кредита в народном хозяйстве²⁾, видит эту «чрезвычайность» в том, что, во-первых, увеличивается быстрота оборота капиталов, во-вторых, создается возможность сезонного удовлетворения спроса на капитал (за счет, конечно, наличных капиталов) и, в-третьих, сильно «облегчается» (замечим: облегчается) накопление капиталов³⁾. Однако все эти пункты вовсе не говорят о необходи-

¹⁾ Мы совершенно не согласны с Туган-Барановским, который считает, что спор о «творческой» роли кредита «является характерным образчиком схоластических споров», и которым эконоомисты так «сливаются» (Основы, изд. 5, стр. 286). Спор идет о роли кредита в капиталистической динамике, следовательно, о его роли в развитии производительных сил. Является ли кредит необходимостью в системе капитализма или только одним из содействующих факторов? Антипатия пассивная роль кредита в капиталистической эволюции? Это отнюдь не схоластические, но центральные вопросы теории, без правильного ответа на которые невозможно понимание внутренних законов капитализма и форм их проявления. Наконец, на основе этих теоретических вопросов решается проблема о границах кредитной экспансии, проблема, имеющая решающее значение для политики и практики эмиссионных и депозитных банков.

²⁾ Мануйлов, Политическая экономия, вып. I, стр. 275, М. 1919.

³⁾ Ibidem, стр. 276.

ости кредита для капитализма, и в этом основная ошибка натуралистов и классиков, в том числе. Однако ошибочное понимание кредита вытекает из того, что натуралисты вообще не вскрыли сущности кредитной капиталистической системы, ибо эти корни лежат не в вещах, «благах» и «капитале», как суммы последних, и в производственных отношениях, выраженных в вещах. И натуралисты берут вещь, как вещь, и думают, что в этом суть дела. Пассивисты берут социальную форму вещи в ее фетишистском виде (деньги, капитал) и думают, что в самом этом и есть суть дела. Вот почему ни то, ни другое направление не в состоянии решить и основных контrovers теории кредита.

Пределы кредитной экспансии.

После сказанного относительно сущности, функций и социального значения кредита в трактовке пассивно-натуралистической теории требуется особый анализ и последний вопрос—о границах кредитной экспансии. Кредит не в состоянии «создать» новый капитал; кредит может только перераспределить, наличные капиталы, кредит не ведущий, но пассивный фактор капиталистического развития. Раз так—значит, если рассматривать проблему в плоскости анализа Гаана, активы банков определяют величину пассивов.

Самое большее, на что решаются пойти в этом вопросе натуралисты—это признать то, что не только действительные сбережения и временные скопления средств могут быть использованы для активных операций, но, однако, только для краткосрочных операций на денежном рынке,—говорит Бекерат,—поскольку богаче снабжены средствами, поскольку к нему притекают не только длительно свободные «деньги» и им корреспондирующие свободные мобильные потребительские блага (Nutzgüter), но также часть временно ставших свободными «денег» и им соответствующие избытки благ. Наоборот, капитал на денежном рынке, поскольку здесь по правилу речь идет о кредитовании для новых вложений в производство, вообще притягивает длительно свободные «деньги» и хозяйственные блага¹⁾. Это характерно для всей натуралистической теории, при чем у Бекерата шпрингизм особенно отчетлив, ибо о «деньгах» он говорит только в качестве отождествляя их с товарами, считая, конечно, что такое денежное накопление идентично действительному накоплению, и, следовательно, не понимает различий между действительным капиталом, денежным капиталом и денежно-судным капиталом.

Итак, «граница» дана: наличные блага, им соответствующие «деньги», и в том числе все текущие счета и фонды, следовательно, все фактивные ценности. Для натуралиста форма и сущность вещей совпадают в любой момент всегда столько (или должно быть столько) наличных денег и фиктивных денег, сколько действительных благ. И кредит здесь производит только некоторые «переброски», но ясно, что он не может «перебросить» того, чего не существует, например, кредитовать торговый и промышленный капитал без того, чтобы не иметь налично «капитала», т.е. благ! Ведь это же абсолютная истина для натуралиста, и он просто разводит руками, когда кто-нибудь дерзает в этом сомневаться.

¹⁾ Цит. соч., S. 96.

Между тем, основания для сомнений явились. С полным основанием в этой сомневались и Коклей и Маклеод и сомневаются сейчас Ган и Шумпетер.

Критика этих взглядов.

Спрашивается: эффективна ли та граница, которую устанавливают все натуралисты? Действительно ли активные операции целиком связаны пассивными? Этот тезис опровергается просто фактами. Достаточно присмотреться к деятельности одних эмиссионных банков, чтобы убедиться в ложности этого тезиса. Если мы возьмем эмиссионный банк, у которого металлическое покрытие эмиссии составляет 25% (например, Госбанк СССР), то спрашивается, какое отношение к пассивам имеют 75% эмиссии, реализованной в порядке активных операций? Ясно, что никаким предварительным денежным накоплением и, следовательно, никаким пассивами это кредитование не связано. И ведь это же факт, а против фактов не спорят!

Итак, этот тезис, по меньшей мере, не имеет всеобщего значения, ибо этому «закону» не подчиняется деятельность как раз тех банков, которые играют огромную роль в капиталистической экономике. Но и в отношении частных акционерных коммерческих банков (*Deposit-banken*), — если только экономист не отождествляет «нормы закона» (регламентации банковской деятельности) с объективным экономическим законом — этот тезис принципиально не имеет силы. Жирооборот и акцепт — вот методы, которые дают возможность активным операциям банков эмансипироваться от объема наличных пассивов, эта эмансипация, как показал Ган, постоянно происходит в действительности.

Банк создает покупательскую силу, и именно эта возможность освобождает производство от непосредственной связанности с наличным спросом и наличным денежным накоплением, и благодаря этому банк и кредит становятся в одно и то же время самым сильным из средств, выводящих капиталистическое производство за его собственные пределы, и одним из самых мощных очагов кризисов и спекуляций¹⁾.

А если бы все обстояло так, как это представляется натуралистам, в частности Бекерату, тогда бы и кризисов никаких не было. Если бы всегда всякому «благу» «корреспондировали» бы по Бекерату деньги, и все активные операции в точности соответствовали бы сумме денег — благо, тогда каким образом возможно было бы перепроизводство товаров? Большинство натуралистов совершенно не понимает, какую роль играет денежная форма в общественном воспроизводстве, и поэтому они не могут понять ни воспроизводства, ни роли кредита в этом процессе.

Отсюда — банкротство теории перед фактами. Кредитный механизм дает возможность эмансипации от пассивов не только для активных операций, обслуживающих обращение, но в известной мере и для кредитования производства. Но этот вопрос мы рассмотрим в связи с анализом экспансивистской теории.

¹⁾ Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 148. Эта фраза была сказана Марксом по поводу общественной функции банков. Мы считаем, что и по отношению к данной частной функции (эмиссии), выполняемой банками, вполне приложима эта оценка.

Научный вес пассивно-натуралистической теории.

Резюмируем: пассивно-натуралистическая теория правильно ищет в материальном процессе факторов, обуславливающих процесс образования, и в числе последнего кредит; она анализирует материальное содержание общественной формы кредита. Ее плюс так и в том, что она выдвигает производственный момент при анализе сущности, функций, форм и значения кредита. Но она не дает исчерпывающей и правильной теории кредита, ибо, во-первых, ложно трактует сущность капитала, во-вторых, не вскрывает различий и движения форм капитала, в-третьих, натуралистически трактует сущность кредита, и поэтому оно не может правильно определить место кредита в логическом развитии категорий теоретической экономики, вскрыть его органическую, объективно-экономическую связь с законами ценности, денег (и денежного обращения), и капитала и воспроизводства.

Неразрывная цепь основных вопросов — сущность, функции, роль и границы кредита — при капитализме не находит теоретически и эмпирически верного решения у натуралистической теории. Ложные исходные положения, отсутствие обще-теоретической базы не могли не привести к построению теоретической системы, противоречащей самым элементарным и очевидным фактам капиталистической действительности.

Эту задачу построения такой теории, которая бы соответствовала фактам и объясняла факты и давала бы ключ к пониманию капиталистической динамики, взяло на себя экспансионистское направление в теории кредита, к анализу которого мы переходим

(Продолжение следует).



Два шага назад.

Ранее проф. Д. М. Петрушевского „Очерки из экономической истории средневековой Европы“).

Ц. Фридлянда.

В нашей республике, в среде академических работников есть две группы ученых: одна из них за десять лет революции приняла марксизм, мыслит и творит марксистски, другая постепенно отходит от нас, иногда не замечая, что уже говорит «не-марксистской прозой», а чаще ждет возможности открыто или из-под угла напасть на нас. Если по отношению к первой группе мы, марксисты, должны проявлять терпимость, добиваться совместной работы и исправления ошибок, то по отношению ко второй группе, какими бы авторитетами она ни была представлена, необходима непримиримость, против нее следует объявить в идеологической области ожесточенную борьбу. Марксизм должен быть воинствующим учением, а не любительным меценатством!

Д. М. Петрушевский принадлежит ко второй группе. Его новая книга тоже блестяще доказала: *перед нами манифест антимарксистской исторической школы в СССР*. Проф. Петрушевский поднял знамя Риккерт, Виндельбанда, Н. Вебера на борьбу с марксизмом. Мы слишком умудрены опытом революции, чтобы «эзоповский язык» профессора нас мог обмануть. Д. М. Петрушевскому этот прием столь же мало поможет, как и его учителю Г. Риккерт. Последний в своем предисловии к русскому изданию «Философия истории» писал в ноябре 1907 г.: «Взгляды мои большей частью пытались в России связать с политическими спорами... но я хотел бы здесь самым резким образом заявить, что всякий, видящий в моих взглядах политическую тенденцию, рискует совершенно не понять их. Меня прозвали философом буржуазии. Почему? Потому, что я, между прочим, оспариваю так называемое материалистическое понимание истории Маркса и Энгельса. Но я ведь оспариваю его не из политических, но из чисто логических соображений (курсив наш. Ц. Ф.). Я пытаюсь показать, что политическая программа социализма выведена не на основании исторического материализма, но что, наоборот, материалистическое понимание истории обязано своим существованием политическим точкам зрения ценности. Это говорит, правда, против чисто теоретической ценности марксистской философии истории, но решительно ничего не говорит против или за политические идеалы социализма...». Мы привели эту длинную цитату из предисловия Рик-

керта, чтобы дополнить книгу Петрушевского выводом, который он не сделал в своей книге по обстоятельствам, от него не зависящим. Но в подобных «культурно-ценностях» Риккерт, содержание и смысл рассуждений нашего автора «в которых логических проблемах современной исторической науки».

Книга Д. Петрушевского состоит из трех частей: 1) методологическое введение, 2) изложения работ Допша, М. Вебера и 3) собственные исторические концепции. Наиболее интересная часть книги ее—второй раздел. Русский читатель, не знакомый с работами Допша и т. д., сможет познакомиться с ними в ярком и сравнительно доступном изложении Петрушевского. Методологическое введение представляет собою попытку «самостоятельно сформулировать выводы «последнего слова» (в возрасте 20—30 лет) буржуазной философии истории,—введение отличается эклектизмом и беспомощностью. Естественно поэтому, что и исторические концепции автора могут не быть внутренне противоречивы и малоубедительны. «Очерки» служат для нас доказательством методологического отступления автора на позиции реакционно-идеалистической школы, а следовательно, и его полной деградации. По сравнению с «У. Тайлером», «Очерками из истории социального общества и государства» новая книга Петрушевского подтверждает для нас в СССР тривиальную истину, что, чем дальше от марксизма, тем дальше от подлинной науки.

«В процессе специальной научной работы,—пишет Д. М. Петрушевский,—очень важно бывает осмотреться вокруг себя, разглядеть основные линии и тенденции, развитые в данной научной области и по возможности отчетливо их формулировать». Это особенно необходимо теперь, когда наша методология социальных наук переживает острый кризис. Таков основной пункт рассуждений автора, но он не дает нам анализа причин этого кризиса, не отмечает даже его основных особенностей. Про Виппер был в этом отношении более решительным и последовательным.

Наш интерес к вопросу о корнях и природе кризиса методологии истории не является праздным любопытством. В конце концов в этом кризисе не является модных европейских философов, да и самого Петрушевского. Об этом он говорит в своем «введении», утверждая, что то, «что становится предметом исследования и как далеко это исследование проникается в бесконечность причинных связей, это определяют господствующие над исследователем и его временем ценностные идеи». Эти «ценностные идеи»—результат краха «эволюционизма»—этой нирваны теоретической мысли, которая со времен позитивизма одолевала буржуазную науку в обществе. Войны и революции последнего десятилетия перевернули ее наизусть. Они нагромодили горы фактов прошлого, испепелили все старые концепции и требуют новых теорий, новых обобщений. Но крах старых методологических школ, в конечном счете—результат краха современного буржуазного общества; эта марксистская истина все еще остается неизменной для буржуазных мыслителей, в лучшем случае они кокетничают с ней, но не могут преодолеть своей классовой сущности и тех идеологических рамок,

и которые они поставлены «господствующими идеями господствующих классов». Отсюда беспомощность новых методологических школ или их открывшая реакционность. Надо понять мир, чтобы его изменить. Нельзя предполагать, что он может быть таким, каким он был до 1917 г. Каким он должен быть? Компас потерял буржуазной интеллигенцией... Но, что особенно печально, он потерял частью нашей советской интеллигенции, которая думает его обрести, подогревая старые теории.

Итак, мы ничего не узнаем в книге Д. Петрушевского о природе и корнях современного кризиса общественных наук, в том числе и истории, автор говорит нам лишь о том, что старые системы, объясняющие средневековье, потерпели поражение (К. Бюхер и т. д.), что наша задача — не спешить с обобщениями, твердо помнить и уяснить себе, что историческая наука не может по существу своему устанавливать общие законы развития, что ее возможности ограничены, что наша привычка вкладывать исторические факты в «прокрустово ложе» социологических законов вредно отразилась и отражается на состоянии конкретно-исторической науки. В борьбе с диктатурой методологического натурализма автор зовет нас к разумному «самоограничению». Беспечными и иллюзорными претензиями тех, кто хочет немедленно «создать науку об обществе, о законах и ступенях его развития», пишет он, или, по крайней мере, заложить ее основы в твердой уверенности, что на этом фундаменте не в далеком будущем будет выстроено стройное здание науки, ничем не уступающей в всеобщности своих законов любой науке о природе; подобная цель может быть идеалом, лишь направляющим нашу работу. Речь идет здесь не о самоограничении историков, которые, как и всякий исследователь, должны проявить максимум осторожности в своей работе, быть кропотливыми исследователями в своей области и не удовлетворяться теми фактами, которые они находит, по правильному замечанию Петрушевского, исключительно в поле своего зрения; речь идет об отрицании теоретической ценности социальных наук. Д. Петрушевский — исследователь Риккерта, — и для него сама природа истории, как и вообще любой социальной науки (идеографической) предопределяет ее «внутреннюю количественную неспособность стать подлинной наукой об общих законах развития (номографической). Для нас теоретическая ценность науки определяется ее практической пригодностью, а, следовательно, возможностью критически проверить открытые наукой законы общественного развития в кропотливой работе по переустройству общества. Там, где нет возможности этой проверки, — там нет науки. А социальные науки, в трактовке Петрушевского, не могут нам дать подобных результатов по существу своему, поскольку они отказываются устанавливать общие законы развития; их теоретическая и практическая ценность равна, следовательно, нулю.

Мы сознательно несколько гиперболизировали выводы автора, потому что в конечном счете лишь в подобного рода противопоставлении марксистской и идеалистической методологии истории можно выявить то, что действительно отличает одну школу от другой. Если Петрушевский все же

вынужден делать ряд уступок, если он, говоря о *при* идеографических знаний, вынужден утверждать, что они не только сохраняют единичное, однократное, иррициональные конкретные причины связи явлений; если он дальше, оставаясь историком, вынужден в отличие от Риккерта и вслед за М. Вебером говорить об идеальных типах, которые должны «вышkolить» способность сводить следствия к причинам, если он, подталкиваемый дальше своей «исторической совестью», говорит, что общественная наука должна наряду с чисто идеографической задачей описания индивидуального ставить себе и другую чисто генерализующую, номографическую в широком смысле слова задачу («по существу побочную, но от этого не менее настоятельную задачу»), — обобщая общих понятий, без которых ее основная задача не может быть выполнена; если он, наконец, вынужден ввести в идеологическую науку «социологические категории», которые могут приближаться к «социологическим законам», — то он тем самым обнаруживает внутреннюю противоречивость и эклектизм всей своей системы. В этом ее основной грех, в этом лучшее доказательство тому, что «философия истории», которой пользуется Д. Петрушевский, ничего общего не имеет с историей, как наукой. Собственно все учение М. Вебера об «идеальных типах», которое с «поправками» принимает наш автор, сводится именно тем, что здесь «философ от истории» опровергает блестящего историка, но остановился при этом на полпути, запутавшись в сетях своих идеалистических конструкций.

И в самом деле у родоначальника школы Риккерта ход метафизических рассуждений отчетлив и ясен: «как историк, историк не оценивает своих объектов; он лишь просто находит, эмпирически констатирует факт их существования». Именно эта сторона дела так понравилась Э. Мейеру, который торжествующе приветствовал Виндельбанда и Риккерта и их отрицание «рассуждений», «социологических обобщений» в истории. Но Э. Мейеру, по Эд. Мейеру, «это повествование о том, что было». Но это определение истории старо, как сама история. Она не может удовлетворить Риккерта, сконструировав систему культурных ценностей, от которых делает из исторического факта объект изучения. Историк констатирует факт существования ценностей, относя их к ценностям высшего порядка (государство, экономическая организация), т. е. выясняя, имеет ли индивидуальность исторического факта какую-либо некую именно ценность. Таким путем историк разлагает «факт» на отдельные элементы, устанавливая их связь между собою. Чтобы гарантировать себя от произвола при анализе прошлого, он относит эти элементы к определенным всеобщим ценностям составного характера, признанным историей. И дело не в том, есть ли в этих всеобщих ценностях что-либо общее с теми же ценностями, а в том, что история с их помощью устанавливает тип рационального остатка, который не поддается каузальному выжиданию. Высшей всеобщей ценностью является бог: «Бог есть абсолютная ценность, к которой все относится». В этом познании абсолютных и всеобщей ценности — раскрытие «мирового смысла» абсолютно чистых от конкретного содержания общих законов развития.

Метафизический монизм Риккерта приводит его к ясно сформулированному выводу—генерализирующий и индивидуализирующий методы не могут быть объединены, закономерно-научный и культурно-научный способы познания не могут быть соединены в истории, «потому что весьма мало вероятно, чтобы понятия закона совпадали всегда по своему содержанию с общими понятиями науки о культуре». Само понятие закона, как принципа исторического универсума, утверждает Риккерт, логически противоречиво, и поэтому даже социология не может помочь истории, не может заменить «фихтенианскую историю», как системы отнесения к культурным ценностям.

Читатель видит теперь, в какой мере Д. Петрушевский заимствует и в каком направлении он опасливо поправляет метафизическую школу методологии истории. Проф. Петрушевский хочет ввести в историческую науку закон, через щели, оставленные Риккертом, предварительно вместе с ними очистив ее от всякой скверны конкретности. «Между стремящейся к установлению общих понятий и вечных законов наукой,—читаем мы в книге Д. Петрушевского,—и действительностью разверзается пропасть все более и более широкая и глубокая». Здесь нет отчетливой формулировки Риккерта об абсолютно-чистых от конкретного содержания исторических понятий, об «иррациональном остатке», но принципиально это является приращением их теоретической ценности: они являются исходной точкой рассуждений нашего автора. Задача историка сводится теперь к тому, чтобы наметить средства, какими следует заполнить пропасть, т.е. материализовать метафизическую сущность ионографических понятий, и с их помощью познать конкретный факт. У Петрушевского и Риккерта передаточными ремнями служат исторические понятия или понятия с индивидуальным содержанием. Они еще наполнены конкретным содержанием, но им уже возвышаются над ним не потому, что в них выявляется типичное, общее в индивидуальном, а потому, что они образованы на основе их объективного отношения к общепризнанным ценностям; они одновременно служат познанию этих ценностей, «сообщая объективную силу нашему знанию, мыслью, упорядочивающей хаотическую действительность приемлемым для всех образом». В этих логических рассуждениях, однако, нет ни грамма логики, они насквозь метафизичны и вредны для конкретно-исторической работы.

В самом деле, какую ценность имеет одно констатирование исторического факта без его познания? С чего мы начинаем познание? Из раскрытия причинных связей между ним и другими подобными фактами. Но эти причинные связи коренятся не в иррациональных ценностях, а в проявлениях каких-то общих процессов, действительно происходящих в действительной жизни. Установление причинной связи исторических явлений начинается и сводится к установлению типичного в индивидуальном. Индивидуальные особенности исторических фактов определяются положением «типичного», во времени и пространстве. Само противопоставление повторяемого неповторяемому есть абсурд, потому что мы можем познать индивидуальное лишь путем раскрытия того общего, что в сопоставлении тысячи фактов дает нам

нем однократное представление. Отбросьте это положение, и вы бесцельны в исторической науке.

Риккертская школа спасает себя тем, что навязывает историческому факту «отношение к культурной ценности», но это то, что не соответствует конкретной действительности, ни в индивидуальном, ни в типическом сознательном приращении «идеального», которое мешает историческому познанию действительности, потому что скрывает от нас подлинные личные связи. Точнее: эти «культурные ценности» являются сами продуктом этой действительности, они сами по себе есть определенное, ложное раскрытие типических связей исторических фактов, которое дает нам представление о социальной природе тех, кто заменяет анализ типического в индивидуальном, противопоставлением одного другому. Между общим и индивидуальным пришлось перебросить мостик риккертцам. Но до чего он шаток! Он сделан из «духовной материи» того, чтобы провести нас из царства эмпирики в небеса абсолютных идей.

Мы не можем, утверждает Д. Петрушевский, исчерпывающим образом познать факта во всех его индивидуальных особенностях потому, что «бесконечный катитесь поток неизмеримого бытия»... Прекрасно! Но каков выход или все же история—наука о конкретном в его развитии? «Специфическое значение, какое имеет для нас та или такая составная часть действительности, находится, конечно, как раз не в тех из ее отношений, которые она делит с наивозможно более многими другими» (Курсив наш. Ц. Ф.), т.е. не в познании закономерности или ниспавления неповторяемого. Итак, мы снова вернулись к «бесконечному потоку неизмеримого бытия». Но нам, всем нам, необходимо вырваться из него... Как? «Объективное значение всего опытного знания покоится не только на том, что данная действительность упорядочивается с помощью категорий...». В этом смысле номологическое знание является мощным инструментом исследования общественных феноменов. Великолепно! Следовательно, «повторяемое» должно быть познано с помощью постоянных «повторяемых» категорий. Эти «категории» историчны, они меняются во времени и пространстве соответственно своим носителям. Кто эти «носители»? Индивидуальная воля исследователя или интересы социальной группы? Нет, что признано «всеми»! Что же определяет их интерес к той или другой части действительности? Интерес к малейшей части рассматриваемой нами в каждый данный момент индивидуальной действительности обуславливается ценностными идеями, которые определяют интересы исследователей. Итак, «сознание определяет бытие, культурные ценности определяют интересы носителей «категорий», с помощью которых мы вступаем в поток фактов. «Категории» эти — применение точек зрения, специфически определенного характера, которые опираются на ценности, идеи, не обоснованные в своем значении из эмпирической материи. Их значение коренится в нашей вере в их сверхэмпирическое значение; в том, что жизнь в своей иррациональности имеет всевозможными значениями ценностных идей, а, следовательно, имеет

обычна и теми конкретными формами, которые принимают отдельные факты. Но, сколько бы Д. Петрушевский и его учителя ни плавил свои «категории» на огне метафизики, они должны быть какими-то более или менее «плотными» материальными орудиями, чтобы быть пригодными для исторического анализа. Этого не желает признать автор, он ведет борьбу с этой еретической, материалистической мыслью... Он доказывает, что причинное объяснение явлений не есть исчерпывающее причинное сведение его к полной действительности. Очевидно, что мысль о факте не «живет» в самом факте, но и бесспорно, что в данном случае Д. Петрушевский бьется в сетях «факта», который он фетишизирует, открывая в нем то, что не может быть сведено к причинности,—это то, что в этом факте «индивидуально».

Говоря о причинах, мы неизбежно, признает наш профессор, «сводим» оставшие части явления, но это сведение имеет пределом индивидуальное, иррациональное. Мы «должны», но не можем его исчерпать. Исторические «законы» тем более ценны, чем они богаче конкретным содержанием; но общие законы, единственно имеющие научное значение, бедны содержанием, а, следовательно, малоценны с исторической точки зрения. Так, Петрушевский сам обесценивает теоретическое значение того познания причинности в истории, тех «категорий», которое он только что объявил абсолютно необходимыми для исторического исследования.

Он спасает свою эклектическую концепцию, поправляя и дополняя Г. Рексберга М. Вебером. «Каково вообще значение теорий и теоретических выводов для познания культурной действительности?», спрашивает Петрушевский. И отвечает: в создании системы «идеальных типов, в конструировании утопии». Мы понимаем его затруднительное положение: спасаясь от «получего эмпиризма» старой исторической школы, который держит его самого в тисках, он сталкивается с попытками подменить конкретную действительность «мертвящей схемой» (Бюхер). Он, как историк, готов работать схемой, лишь бы не насловать факты, но он мыслящий буржуазный историк, и он пытается осознать историческое прошлое на путях буржуазной методологии истории. Что удивительного в том, что он запутался в «категориях», одним полюсом которых является знаменитый факт, а другой — социологический закон, «абсолютно чистый» от географического содержания.

Из какого материала должен быть сконструирован «идеальный тип»? В какой мере мы будем иметь здесь дело с общими «законами» или историческими индивидуальностями? Мы уже знаем, что они могут быть в каждом данном случае в различных «дозах». Оставим в стороне учителя, М. Вебера, но нашего автора при ответе на этот вопрос раздражат противоречия действительности и губит противопоставление общих понятий конкретному факту. И в самом деле, идеальнотипическая конструкция развития истории объявляются двумя подлежащими строгому различению понятиями: «идеальный тип», «мыслимый образ», который в своей «абстрактной чистоте» нигде нельзя найти в действительности, и вся задача исторической науки в том, чтобы обнаружить, в какой мере данный исторический факт близок или далек от сконструированной нами утопии.

Идет ли здесь речь о дедуктивных понятиях, которыми историки, пользуемся в такой же мере, в какой им пользуются и другие общественные науки и наука вообще? Марксизму чужд вулгарный эмпиризм, потому что он не только описывает изменения, а стремится найти законы, управляющие ими и тогда, когда эти изменения имеют известную форму, и тогда, когда они находятся в том взаимоотношении друг с другом, которое наблюдается в данное время, т.е. и марксизм изучает переход от одной формы к другой, из одного порядка взаимоотношений к другому. Маркс стремился понять, научно доказать необходимость определенных порядков общественных отношений, на основе строго-научного учета фактов, лежащих в их основе. Критика этих взглядов должна заключаться в критике не идей, а в сопоставлении ими фактов с другими фактами. Для него важно, чтобы факты были как можно точнее исследованы и действительно представляли собою различные степени развития, да сверх того важно, чтобы не менее тщательно были исследованы порядок, последовательность и связи, в которых проявляются эти степени развития (см. статью Зибер о «Капитале», цит. в предисловии ко второму изданию первого тома). Совершенно очевидно, что подобная точность и осторожность Маркса, как историка, могла бы удовлетворить Петрушевского. Более того, у Маркса он нашел бы и другое удовлетворяющее его положение: не описание, а анализ конкретной действительности, индивидуальных фактов с помощью политико-экономических и социологических абстракций (производительные силы, производственные отношения, классы и т.д.). С их помощью Маркс сводит историческую индивидуальность к типичному понятию, к «социологической категории». Но стоит только ближе присмотреться к рассуждениям Петрушевского, чтобы обнаружить метафизическую беспомощность его конструкций там, где Маркс, как историк конкретного, использует вооруженный абстрактной философской мыслью. Послушаем Петрушевского. Вот «идеальный тип», — «городское хозяйство», — с помощью которого исследователь анализирует прошлое на данной ступени развития европейского общества. Как был получен этот идеальный тип? Он получен «путем одностороннего выдвигания одной или некоторых черт зрения и соединения множества рассеянных и различно существующих, здесь больше, здесь меньше, местами и во все не встречающихся отдельных явлений, которые подходят к этим односторонне выдвинутым точкам зрения, в одну объединенную и обобщенную мысленную картину». И мы опять возвращаемся к той же худшей метафизической мысли автора. Или эта «мысленная картина» соответствует нашему познанию отдельных фактов, их индивидуального соотношения, как проявления типичного, являясь абстракцией действительных, входящих отношений или это фикция «культурных ценностей», придуманная и введена автором и навязанная им данному порядку явлений. Петрушкин поясняет: идеальный тип помогает нам наглядно представить в себе явления в своеобразии их соотношений. Прекрасно! Мы, как будто и здесь дело с абстракцией фактических отношений, которые

оправдывается лишь постольку, поскольку она соответствует этим отношениям. Но так рассуждал К. Маркс. А Д. М. Петрушевский вслед за М. Вебером утверждает: идеальные типы не являются даже «гипотезой», они укажут нам лишь направление к образованию гипотез. Они не есть изображение действительного, но они дают изображение средств одностороннего выражения. Что изображение конкретного факта в истории отлично от мысли об этом факте, это очевидно, потому что осознание его означает познание факта, как проявление типичного, как установление действительно существующих отношений и причинных связей, элементом которых является данный факт. Потому, что каждый из этих фактов лишь «социальный псевдоним» целой группы ему подобных, а не фикция и не основной элемент «групповой фикции», именуемой «идеальный тип». Усиленно рекомендуем проф. Петрушевскому перечитать марксову критику Прудона или во всяком случае его письмо к Анненкову от 1846 г. Он найдет там много поучительного для себя, потому что идеи Прудона, в конечном счете, это «идеальное отражение» философских взглядов мелкой буржуазии и ее интеллигенции. Не Петрушевского ли имел в виду К. Маркс, когда писал о фикциях, которыми оперирует Прудон, конструирующий ряд произвольных гипотез. Они для него не являются «рабочими гипотезами», «не соответствуют действительным, происходящим, общественным отношениям, а — благодаря историческому извращению он видит в фактических отношениях всего лишь воплощение своих абстракций. Сами эти абстракции являются формулами, дремлющими в лоне бога отца с самого сотворения» (Маркс).

Мы прибегли к цитате из Маркса, не для того, чтобы подкрепить свою мысль «текстами», а для того, чтобы доказать, что все логическое изложение Петрушевского, со всеми поправками, которые он вносит в теории своих учителей, дает нам не новые точки зрения, а лишь реставрирует старую прудонистскую ветوشь. По всем видимостям, буржуазным философам и методологам нет пути вперед: они смотрят назад. Виппер восклицает тем Шатобриана и Жозефа де-Местра в своих новых силлабусах, а Петрушевский идеализирует философские категории мелкого буржуа. Раскройте «Философию нищеты», уважаемый профессор, и вы найдете все свои «идеальные типы». Прудон оперирует ими блестяще, он даже предвосхитил вас «ваших учителей в отрицании развития этих «утопий» и в их превращении во внеисторические категории. А об этом, и только об этом, идет речь у Петрушевского, это центральная мысль его рассуждений — это та высшая «культурная ценность», к которой он относит все свое исследование. После бурного плаванья по океану номографических и идеографических понятий профессор приводит нас в тихую гавань «вневременных и внепространственных категорий» (стр. 57). «Тогда и станет ясным,—читаем мы в конце введения,—что, например, понятие «капитализм» может иметь не только то содержание, с каким оно циркулирует в широком ученом обороте, нося в себе все признаки чисто исторической категории, адекватной лишь капиталистическому строю Евро-

и, (но) и более широкое, считающееся с капиталистским развитием и средневековой Европы и древнего мира и со всеми другими случаями капиталистического хозяйства»... Это будет идеальное понятие!

Так вот о чем речь идет! Удивительное «открытие Америки!» Маркс сказал Прудону, что все его идеальные типы исторические понятия, что, устанавливая «вневременные» и т. п. понятия, мы ликвидировали развитие; марксизм ожесточенно боролся с предрассудками каких-то «общих законов», законов одинаковых для всех времен и народов, ибо они дают нам возможности познать историческое своеобразие каждой иной эпохи, а Петрушевский снова их «возрождает». «Каждый исторический период имеет свои законы»; «одно и то же явление, вследствие различия в строе этих (общественных и естественных) организмов, разнородности их органов, различия условий, среди которых они приходится функционировать и т. д., может поэтому на различных ступенях развития подчиняться совершенно различным законам, утверждает Маркс; Д. Петрушевский, стремясь понять индивидуальное в историческом акте, пришел, наконец, к конструированию «внеисторических» категорий, чтобы понять конкретное, присущее данной исторической эпохе и существующему в данных условиях, он предлагает нам воспользоваться социологическими понятиями, пригодными для всех исторических эпох, для всех условий исторического развития. Поистине убедительный вывод о логической природе исторического знания.

Мы ссылаемся на «экономические категории» Прудона не потому, что мы убеждены в том, что нет ничего нового под луной. «Но» уже то, что неавно опровергнутые наукой положения стали теперь знаменем буржуазной мысли, модной теорией сегодняшнего дня всех врагов марксизма в России. Новостью является откровенная попытка наступления на марксизм в республике; новостью является благодушное отношение некоторых марксистов к авторитету профессора, которому дозволено «опровергать марксизм». Введение свидетельствует о том, что Петрушевский сделал значительный шаг назад от марксизма к реакционному идеализму. Дело не только в том, что проф. Д. М. Петрушевский не марксист, но констатирование факта; мы считаем необходимым отметить его полную методологическую беспомощность. Это отразилось и на конкретной исторической части его работы. Д. М. Петрушевский сделал два шага назад от марксизма и от подлинной исторической науки.

• • •

Конкретно - историческая часть «Очерков» должна служить иллюстрацией основных положений методологического введения. И, если изучение работ Дюпюи и других исследователей средневековой Европы прошлого времени дает нам много интересного и свежего материала, будит нашу мысль, если собственные замечания и экскурсы автора, как историка, часто поражают нас глубиной его эрудиции, то его социологические концепции находятся на одном уровне с его методологическими ре-зультатами. Мы в кратких заметках не имеем в виду анализировать

крепно-исторический материал «Очерков»; мы хотели бы иллюстрировать на конкретных примерах, к чему ведет метафизика методологии при конкретном историческом исследовании. Задача автора доказать, что «господство натурального и безобменного хозяйства, хозяйственная и политическая независимость вотчин, в которых сосредоточилась вся хозяйственная жизнь средневековой Европы, отсутствие до XI—XII веков городов, как центров промышленности и торговли, крепостное дорабощение вотчинной крестьянской массы, политическое и феодальное раздробление страны», — все эти элементы старой, но все еще господствующей у нас исторической концепции не выдерживают критики. Размах его работы еще шире. Он считает, что исходная ошибка этих концепций в неправильном представлении о дофеодальной Европе и Римской империи последних веков ее существования. «Римский мир и мир германский в течение ряда веков самым различными способами и путями соприкасались друг с другом и воздействовали друг на друга, и новая европейская культура явилась не отрицанием древней, а продуктом развития...» Германский мир не отличался тем примитивизмом марки, о которой так много и восторженно писала романтическая школа. Между европейскими народами и Римом эпохи распада была лишь «количественная разница» в структурах хозяйственных отношений, но не принципиальная: и там, и тут денежное, товарное хозяйство было основой социального развития. Отсюда дальнейший вывод об ошибочности наших представлений по вопросу о натуральном хозяйстве средневековья, отсутствии городов до XII ст. и т. д., и т. п. Вслед за Дюпием Д. Петрушевский говорит о «вотчинном капитализме» эпохи средневековья. Но центральным является следующий вывод: «феодализм не есть проблема экономической и социальной истории, как и близко она с ней соприкасается. В процессе феодализации Европы происходило не разложение, а сплавивание государственного организма, создавалась система политическо-сословных государственных сословий. Вывод: «историю средневековой Англии следует признать нормальной историей феодального государства». Опровергая, таким образом, все ранее установившиеся взгляды, Д. М. Петрушевский доказывает нам, что речь идет здесь не только о пересмотре конструкций конкретных явлений и процессов, но и тех общих понятий, которые лежат в основе этих конструкций. Перед нами программа революции в исторической науке о средневековье, да и в социальных науках в целом: необходима тщательная логическая обработка общих понятий, заявляет автор, чтобы из хаоса создать стройную систему исторических и социологических категорий действительной исторической действительности. Эта революция осуществляется с помощью двух орудий — «идеальных типов» — капитализм и государственная власть. Эти два понятия мы находим и в эпоху раннего и позднего средневековья и в эпоху древнего Рима и у германцев. Особенно велико значение государственной власти — силы, осуществляющей исключительные изменения в социально-экономических отношениях того или другого общественного строя.

В хозяйстве древнего Рима Д. Петрушевский обнаружил капитализм, несмотря на отсутствие фабрик, заводов, рабочих и предпринимателей, заработной платы и «многого другого, характерного для временного капитализма, в его хозяйственной и социальной индивидуальности». Общее, однако, по мнению Петрушевского, то, что там и тут решающую роль играет обмен и прибыль. В Римской империи постепенно «капитализм снимался с политического якоря», он становился спекулятивной, а экономической формацией, выявляя свои торжеские тенденции. Основное затруднение для античного капитализма было в слабом «техническом развитии древнего мира»; благодаря этому в античном хозяйстве не могло победить крупное предприятие (крупное предприятие осуществлялось здесь в форме совокупности мелких хозяйств) и т. д. Казалось бы, что поэтому «античный капитализм» представляет собою некое историческое понятие, что в этой способности перейти на высшую ступень прогрессивного капитализма лежит некое указание на необходимость трактовать понятие «капитализм» исторически. Д. Петрушевский отрицает это, он упорно говорит нам об «идеальном типе» и тем самым затрудняет нам выяснение своеобразия экономических явлений античного мира.

Но именно потому, что он абстрактной фикцией затрудняет конкретный анализ исторических фактов, он вынужден социально-экономические перевороты древнего мира выводить не из хозяйственных изменений, а из конкретного развития, а разубавить гордиев узел вмешательством государственной власти. Оказывается, что в римской истории последних столетий государство вело с обществом борьбу за существование, в результате которого общество было повержено в прах и захвачено в цепи самого сурового рабства... Не находит ли читатель, что это удивительно «иовая» мысль и удивительно плодотворная для конкретного исторического анализа?

Сила государства в Римской империи возрастала и привела к опустошению всего общественного организма, превращению живого социального тела в извне направляемый механизм, лишенный всякой инициативы и свободы действия. Государство взяло на себя колоссальные функции, оно объявило войну обществу, оно создало жадную бюрократию, опирающуюся на налоги, оно связало все живые силы, — оно создало систему государственного социализма, «в его беспощадно резких формах государственного рабства» и т. д., и т. п. Д. М. Петрушевский изложил нам роль государства в деле распада Римской империи не без пафоса и художественного блеска. Он даже заставил нас предположить, что дух его «идеального типа» витает вне времени и пространства, и своими крыльями захватывает грешную землю нашей республики. Может быть, мы ошибаемся, но профессор так не любит употреблять «вульгарных слов» — классы, классовая борьба, марксизм и т. д., и мы, естественно, могли ошибиться...

Но пусть беспристрастный читатель сам судит о том, в какой мере подобные рассуждения о капитализме, о социализме в античном мире помогают нам в борьбе с «мертвыми схемами», мы утверждаем, что, по крайней мере,

кой Бюхера, нам хотят навязать нечто еще более вредное: «теорию внесто- рических категорий».

Д. М. Петрушевскому в его новой книге, по существу, чужда идея развития. Он часто делает оговорки по этому поводу, он готов даже отрицать позитивное утверждение, но стоит только прочесть III главу о германской марке, чтобы убедиться в этом. Мы не отрицаем значения его позравлений против романтической школы, идеализировавшей марку, но мы утверждаем, что в угоду своей новой «мертвящей схеме» он изобразил ее, как легку развитого денежного хозяйства, однако без достаточного для этого окования.

Что же удивительного в том, что в главе о средневековой вотчине он говорит о «вотчинном капитализме», о феодализме, как системе исключительно политического характера. Остается непонятным, каким образом еще в эпоху дофеодальную произошло ослабление всемогущего государства, и еще более неясно, каким образом оно, потеряв свои силы, все же было достаточно мощным, чтобы определить пути социально-экономического развития средневекового общества. Бесспорно, что в феодальном обществе сеньор обладает государственной властью. Но каким образом частно-правовая территория стала иммунитетным округом, каким образом частная власть сеньора в отношении к зависимым от него людям оказывается осложненной элементами власти государственной? Мы не находим ответа у проф. Д. М. Петрушевского потому, что для него очевидно, что хозяйственной основой этого преобразования, раздробления государственной власти является капиталистическое хозяйство! И здесь снова неисправимый вред ему как историку приносит его «идеальные типы». Оказывается, что этот процесс определяется и направляется государством, которое осуществляет, создавая систему политически соподчиненных сословий, своеобразное государственное разделение труда. Эта теория также не блещет новизной, и марксистам так часто приходилось опровергать эту теорию, что, право, мы можем только рекомендовать проф. Петрушевскому ознакомиться с классическими возражениями против этой теории, хотя бы у Энгельса в «Анти-Дюринге».

Повторяем, основой «государственной теории» феодализма является учение Допша о «поместном капитализме». Мы оставляем в стороне анализ Петрушевским *Capitulare de villis*, это безусловно самые интересные страницы в его книге; мы солидаризируемся с его критическими замечаниями по поводу схемы Бюхера, но мы обращаем внимание читателей, и в данном случае, на тот вред, который причиняет автору, как историку, его методология истории. Он вынужден на стр. 194—195 со всей осторожностью исследователя утверждать, что анализ *Capitulare de villis* доказывает, что на ряду с сильно подчеркнутыми «потребительскими» задачами, поставленными перед этими королевскими вотчинами, должны быть отмечены и их второстепенные задачи, вводящие посылки в общий хозяйственный оборот страны; он старательно отмечает постепенную победу в них новых денежных отношений; а в угоду

своей схеме на стр. 206 он говорит о владениях Сен-Жерменского аббатства, как о крупно-капиталистическом предприятии, и на стр. 208 приходит к следующему выводу: «категории натуральной замкнутого домашнего хозяйства совершенно неприемлемы для хозяйственной жизни, какую мы наблюдаем в поместьях духовных и светских землевладельцев любой из этих (европейских) стран и в любом из эпох средневековой истории». Ошибка Д. Петрушевского не в том, что он опровергает схемы Бюхера и Зомбарта, доказывая их искусственность, а в основном грех в том, что он не учитывает конкретного своеобразия данной эпохи и данной эпохи средневековья, ошибка его в том, что он в схеме противопоставляет свою еще более вредную схему вездесущих и изменчивых социологических категорий. Вот вывод Петрушевского: «Если с понятием капитализма (какого?) не соединить определенных социальных признаков, связанных с определенной исторической эпохой социального развития новой Европы и не думать, что капитализм (какой?) — мыслен без лишенных средств производства рабочих..., то становится ясным (ясность «идеального типа»!), что капитализм возможен в самой различной социальной обстановке». И здесь фантазия автора гуляет свободно и беспрестанно: «аграрный капитализм античного мира», «феодалитский капитализм» средневековья и т. д. Мелкое фермерство, коллективное хозяйство оказывается также капиталистическим («мы не находим оснований не признать...» его таковым); барское хозяйство средневековья достигает «основную» массу своих продуктов на рынок и т. д. (сравни со стр. 194). И, в самом деле, зачем стесняться! Исторические понятия должны быть «абсолютно чисты» от конкретного содержания — в этом гарантия их применения в общепонятные!

Мы оставляем другие откровения автора. Отметим только в главе о «эволюции средневекового поместья» два момента. Д. Петрушевский говорит о бродяжнической массе, вне-цеховой массе трудящихся средневековья, как о пролетариате («пролетариат уже существовал, как широкая масса...»). Почему это пролетариат, а не «пред-пролетариат», или пролетарская масса, из которой лишь позже, через столетия формировался пролетариат? Что дает эта новая «социальная категория», переходящая на все эпохи? Но это деталь. В этой главе есть нечто более любопытное. «Законодательство о рабочих» XIV в. объявляется «социальным законодательством о справедливости» (!). Это законодательство служило «не интересам одного класса, в ущерб интересам других, — пишет Д. Петрушевский, — а интересам всего общества и всего государства...». И дальше «авторы этого ордонанса и статута были воодушевлены идеями социальной справедливости». Больше того, после чумы и жестокой ошесточенной социальной борьбы это законодательство было необходимым для восстановления социального мира! Благородная мысль! Если ее отнести к «культурным ценностям», то это дало бы возможность точно установить классовую физиономию Д. М. Петрушевского.

шего. Здесь метафизика методологии истории дала свои зрелые плоды. Дело не в том, конечно, что мы думаем отрицать, что законодательство о речах XIV в. не способствовало развитию буржуазного общества и торжеству политики капиталистических интересов, дело в «моральной оценке» этого законодательства, как «справедливого» и т. д. Ведь с этой точки зрения мы можем многое из кровавой европейской истории подавления трудящихся подвести под подобную «категорию». Да, автор «Уата Тейлора» шагу назад, он делает в этом направлении большие успехи...

Отметим в заключение последнюю главу, посвященную «городскому хозяйству». Ее меньше всего коснулся дух «идеальных типов», и она потому выгодно отличается от остальных глав осторожностью в трактовке темы, и большей исторической выдержанностью. Но следует отметить, что проф. Петрушевский умудрился и в этой главе, анализируя классовую борьбу в городе, давая интересную характеристику учению Фомы Аквинского, ни одним словом не упомянуть «классовую борьбу». «И Аристотель и Фома Аквинский,—читаем мы в «Очерках»,—являются в равной мере защитниками народного хозяйства, подводящими под него моральную базу и синхронизирующими его в глазах как всех тех, кому были дороги интересы просветленного высшими нравственными началами общежития..., но и всех тех, чьи самые жизненные, материальные и хозяйственные интересы были ограничены связями с «городским хозяйством в его конкретной реальности». Вот образчик того, как Д. Петрушевский умудряется, говоря о классовой борьбе в городе, избежать понятия класс и классовая борьба.

Общий вывод: проф. Д. М. Петрушевский, блестящий знаток средневекового, попытался выступить в СССР с антимарксистским манифестом. Он дал нам блестящие доказательства тому, что подобная попытка грозит научной квалификации автора. Проф. Петрушевский сделал два шага назад; историческое значение его книги таково, что она вызовет, будем надеяться, у нас, марксистов, решительный отпор. Пора нам вспомнить, что в истории, как в философии и в политике мы должны оставить академическое благодушие: на нашем знамени написано: «воинствующий материализм».



Конгресс по эстетике и искусствоведению

Л. Зивельчинская.

(Галле, 7—9 июня 1927 г.).

Чрезвычайно вредно рисовать картину упадка и разложения буржуазного общества и его идеологии одной какой-либо краской. Пагубно для того, что буржуазная идеология уже целиком и окончательно себя изжила, при своем финише. Такое настроение очень напоминает легкомыслие, которое жаждем восклицанием: «шапками закидаем». Если бы этот процесс происходил так просто и легко, если бы наш классовый враг был так слаб и помогать, то было бы загадкой наличие пролетарской диктатуры на одной шестой части суши. Умаление сил классового врага так же бесполезно, как и неверие в силы своего класса, в рядах которого мы боремся. Только точное знание сил врага, их направления, их величины, их сил обеспечивает возможность победы.

В нашей среде, молодой и старой, часто приводится слышать о распадае буржуазной идеологии. Однако очень редко проводится достаточная дифференциация, устанавливающая степень и характер идеологического упадка. Необходимо попытаться установить некоторые общие признаки идеологического разложения, так сказать, категории упадка.

Некоторым наблюдателям кажется, что по росту числа увеселительных заведений в таких мировых центрах, как Берлин, Париж, Лондон, можно судить о степени упадка буржуазного общества и его идеологии. Нам известен знаменитый театральный маэстро Мейерхольд по всей видимости полагает, достаточно показать «фокстротирующую Европу», чтобы убедить зрителя в закате европейской культуры. Но история показывает, что разные общественные формации, как раз накануне своей гибели, обнаруживают свою волю к самосохранению в пышном расцвете различных этических и судорожных порывов к самоусовершенствованию. Так было с римской империей накануне ее гибели; так было с католической церковью (сохранившей и расширившей области и источники экспансии Римской империи), прежде чем она уступила свое господство буржуазно-национальным политическим организациям — светскому государству. Но какие явления такого же порядка можно наблюдать в современной Европе?

Итак, вышеупомянутый признак, как вообще всякие этические ориентиры в решении общественных проблем, недостаточен.

Более серьезные наблюдатели указывают, что важным признаком упадка класса является его влияние на остальные классы, его руководство массами в целом. Это суждение заслуживает серьезного внимания. Оно, вообще говоря, верно. Но кто возьмется утверждать, что современная буржуазия уже утратила свое идеологическое господство над массами? Если буржуазная идеология уже утратила свое влияние над умами трудящихся, то не существовало бы социал-демократии, христианских социалистов, коммунистических и фашистских профсоюзов.

Всякий класс удерживает свое идеологическое господство до тех пор, пока он сохраняет свою экономическую мощь. Чтобы новый класс, а

суде пролетариат, мог свергнуть экономически господствующий класс, нужно, чтобы он в своей передовой части освободился от идеологического ята враждебного класса. Тут легко заметить некоторый «порочный» круг, внутри которого безнадежно и беспомощно бьется социал-демократическая мысль.

Но Ленин с гениальной ясностью и точностью разрешил этот вопрос. Революцию активно совершает меньшинство того класса, в интересах которого революция происходит. Стратегически необходимым условием победы революции является не абсолютное арифметическое большинство, а «решающее большинство в решающий момент в решающем месте».

Итак, хотя буржуазия еще удерживает, и, к сожалению, довольно прочно, свое экономическое и идеологическое господство, но дни его все же сочтены, так как на исторической сцене уже появилось активное меньшинство, освободившееся из-под гнета буржуазной идеологии и призванное «до основания разрушить старый мир».

Стало быть, некоторые весьма основательные доказательства «начала конца» господства буржуазной идеологии, несомненно, явились.

Одним из явных симптомов упадка идеологии того или иного класса, это неверие в силы своего класса. Имеется ли этот симптом у современной буржуазии? Частично да, но еще пока в очень небольших размерах. Явно упадочное шпенглерианство было эфемерным цветком в послевоенной Германии в результате ее ошеломительного разгрома. Серьезного влияния и значения это умонастроение не приобрело не только в странах - победительницах, но даже в самой Германии.

Имеются, однако, явные другие косвенные признаки этого неверия в собственные силы—это широкое распространение мистики в форме веры в предсуществование и загробное существование души и предначертание судьбы. Это—два кита, на которых держится антропософия. Такие, с позволения сказать, «приципы» составляют явное порождение отчаявшегося самосознания, ясно или смутно видящего свою неминуемую гибель и судорожно хватающегося за призраками и болотными огнями. Однако не надо преувеличивать размеров влияния и значения западной мистики. Есть еще много буржуазных голов, которые сохраняют значительную ясность мысли.

Самый значительный и серьезный признак разложения заключается в том, что центральный орган современной буржуазной идеологии—буржуазная общественная наука—топчется на одном месте, неспособен совершать значительные новые открытия, раздвигать новые увлекательные горизонты. Он в лучшем случае либо в эклектической смеси повторяет мысли, которые когда-то были открытиями, либо устанавливает отдельные частные истины и заблуждения. Но создать объединяющую систему, лишившую противоречий, современная буржуазная мысль бессильна.

И вот с этой точки зрения необходимо рассматривать недавний конгресс по эстетике и искусствоведению. В Галле 7—9 июня 1927 г. собрался весь цвет современной немецкой искусствоведческой и эстетической мысли. Многие докладчики импонировали своими седыми головами, громкими именами и, в особенности, зитуэазмом, ноодушевлявшим безукоризненно составленные речи.

Но что же они сказали?

Повестка дня состояла из трех разделов:

1. Общие проблемы:

1. Макс Дессуар — Историческое и систематическое рассмотрение искусства.

2. Пауль Менцер — Искусство и воспитание.

3. Пауль Франкль — Роль эстетики в методе науки о духе.

4. Гергарт Роденвальд — Значение периодов в истории искусства.

5. Вильгельм Вебер — Искусство и история.
6. Эмиль Утц — Новый реализм.

II. Проблема ритма:

1. Теодор Циген — Ритм в общем философском рассмотрении.
2. Давид Катц — Чувство вибрации и ритм.
3. Адм ван-Шельтем — Ритм в этиологическом освещении.
4. Георг Бэзек — О красоте немецкого стиха.
5. Рихард Виттзак — Ритм и декламация.
6. Вольфганг Вальтерсгаузен — Ритм в музыке.
7. Ганс Принцгори — Ритм в танце.

III. Проблема символа:

1. Эрнст Кассирер — Проблема символа и ее значение в философии.
2. Рихард Торивальд — Символ в свете этнографии.
3. Фриц Штрик — Символ в искусстве слова.
4. Вилли Дрост — Форма как символ.
5. Арнольд Шеринг — Символ в музыке.

Необходимо воздать полную справедливость докладчикам и организаторам конгресса: затронуты важные проблемы, поставлены они интересно, сделана попытка осветить их со всех сторон.

Ограничимся рассмотрением общих докладов. Наиболее содержательными и характерными являются первый и последний доклад первого раздела.

Макс Дессуар ¹⁾ — основатель общества и журнала для эстетики общего искусствознания — поставил три важных и интересных проблемы. Каково взаимодействие исторического и систематического метода в искусствознании? 2. Какова роль личности в искусстве? 3. Есть ли поступательное движение в искусстве?

Макс Дессуар не подвергает сомнению, что все произведения искусства, словесного, пластического и музыкального, тонко впитаны в общую историческую ткань данного народа. Разумеется, понятие народ есть единственно однологическое понятие, которым оперирует Макс Дессуар; классы и классовая борьба для него чуждые понятия. Зависимость искусства от народа, времени, от расы и формы общественной жизни, от климата и среды принимается Дессуаром как аксиома ²⁾. Таким образом, Дессуар держится той теории Тена на этот вопрос: история меняется, движется, бушует, а термическое университетское искусствознание осталось во многом верным Тену (обавляется лишь мысль об имманентной закономерности искусства).

«Художественные формы имеют свою собственную жизнь и ставят свои собственные задачи. Благодаря этому они имеют свою собственную логику и возвышаются над историческим процессом, который в конечном счете непознаваем ³⁾». Систематический метод таит в себе опасность прелесть индивидуальное и конкретное в искусстве, исторический метод ищет общие принципы. Оба метода взаимно дополняют друг друга и взаимно независимы. Систематическое познание искусства не лишено исторической обусловленности и исторической ограниченности. С другой стороны, историческое познание искусства невозможно без применения каких-либо систематических принципов.

¹⁾ Конгресс чествовал Дессуара, праздновавшего 60-летний день его рождения.

²⁾ Die Abhängigkeit von Volkstum und Zeitlage, von der Rasse und der des Gemeinschaftslebens, von Klima und von der Umgebung bindet die Kunst.

³⁾ Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XXI Band, I Heft, 137 Seite.

⁴⁾ Die künstlerischen Formen führen ihr eigenes Leben und schaffen sich in besondere Aufgaben. Gerade dadurch erhalten sie ja eine gewisse innere Logik und leben sich aus dem geschichtliche Gesamtvorgang heraus, der bis zu einem hohen Grade irrational bleibt.

⁵⁾ Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XXI Band, I Heft, 133 Seite.

Другими словами, Макс Дессуар пытается гармонически сочетать так называемый генерализирующий и индивидуализирующий метод общественной науки, между которыми Риккерт вырыл непроходимую пропасть. Но эта правильно поставленная Дессуаром познавательная задача давным давно теоретически и практически разрешена марксистской философией, марксистским общество- и искусствоведением, достижения которого целиком игнорируются всеми докладчиками на конгрессе.

Каково значение личности в искусстве?

В истории искусства личность значительно ярче запечатлена, чем в истории права. (Это сравнение принадлежит Дессуару). Художественное произведение ценно постольку, поскольку в нем выявлена личность художника. Но если бы произведение искусства было только выражением индивидуальности, то не было бы возможности и повода для истории искусства. Это взаимодействие общего и частного в проблеме личности в искусстве аргументируется ссылкой на Зольгера — философа-романтика и предшественника Гегеля, который рассматривал художественный гений, как «индивидуализацию идеи» (*Individualisierungspunkt der Idee*).

Правда, проблема личности в искусстве не рассматривается Дессуаром в такой связи, как самостоятельная, а лишь как частный пример проявления в применении взаимодействия систематического и исторического, или генерализующего и индивидуализирующего метода. Но все же столь интересной общей проблеме можно было бы посвятить больше внимания и не ограничиться только точкой зрения Зольгера.

Вопрос о поступательном движении в искусстве рассматривается также вскользь. Несомненно, нельзя найти прямой восходящей линии в развитии искусства. Успехи и развитие искусства не могут быть измерены одной координатой.

В связи с вопросом о поступательном движении в искусстве ставится Дессуаром проблема о цели развития искусства. Эта цель, по-Дессуару, может стоять в искусстве, как метафизический смысл, под искусством, как природный и психофизиологический процесс, внутри искусства, как правило, которое объединяет частности.

В этих рассуждениях Дессуара обнаружилась метафизическая сущность его образа мыслей. Неметафизическое, научное познание не оперирует категорией цели даже тогда, когда его занимает вопрос развития. Научное искусствоведение занимается лишь вопросом: наблюдается ли на протяжении истории обогащение (количество) и улучшение (качество) художественных средств при выражении различных идеологий, *Gesinnung*, умонастроений. Кто откажется ответить отрицательно на этот вопрос?

Макс Дессуар, в сущности, уклонился от ответа на вышеуказанный вопрос в той метафизической форме, какую он у него принял. Но это как раз, так сказать, простительно, понятно, так как на метафизические вопросы мудрено давать разумные и научные ответы.

Макс Дессуар кончает свой вступительный доклад поэтическим остроумным сравнением: каждая звезда имеет свой собственный путь, это не мешает всем созвездиям быть связанными общим законом движения.

Обратимся к изложению последнего доклада по разделу: общие проблемы.

Эмиль Утиц пылко, увлекательно произнес свою речь на тему: «Новый реализм». Она своим острием направлена против экспрессионизма, против его вражды к технике, к цивилизации. Эмиль Утиц пытается теоретически преодолеть экспрессионизм и посвящает этой проблеме целую книгу, которая находится уже в печати: «*Die Ueberwindung des Expressionismus*» (Преодоление экспрессионизма). Названный доклад составляет, повидимому, лишь резюме этой книги.

Эмиль Утиц ставит экспрессионизм и его восстание против техники и жизни в связи с разрушительными тенденциями против капитализма, а иной с ним механизации. С горечью и обидой Утиц декларирует: «и разрушить капитализм», — и с радостью прибавляет: «на самом деле существуют небывалые формы крупного капитализма (*Man tollt Kapitalismus zerschmettern, vorher kaum geahnte Formen des Kapitalismus werden Wirklichkeit*)».

Эмилию Утицу мыслится разложение капиталистической системы и падение цивилизации и техники. Ему, как и самим экспрессионистам, идет в голову мысль, что возможно сохранение самой высокой техники при разрушении капитализма, как экономико-социальной системы.

Доклад Эмиля Утица, в сущности, представляет собой сатирическое, посвященное пламенной защите техники. Для этой цели даже задан жилищный вопрос: жилищная нужда может быть изжита, благодаря им техники. Да, Волга впадает в Каспийское море! Нужно только, «цивилизация» была на службе культуры, это программа; и культуру определять форму и размеры этой службы». Игра шпегельграссовых лягуш!

Эмиль Утиц мечет громы и молнии против романтического презрения экспрессионистов перед прошлым, против их гравидозных прогнаний. Зато он прославляет страх перед программами, работоспособность, тишость, спокойствие, трезвость нового реализма. «Счастье»¹⁾ возмещается, самодовольство, смирение, уверенность в тихой гавани, дающей «от неугомонной ярости океана»²⁾. Однако Эмилия Утица и творит мелочная мелкотравчатость (*Biedermeierei*) и мелкий пошлост о реализма. Он провозглашает необходимость объединить некоторые типичные черты экспрессионизма — гравидозность размаха с приемлемостью у новых реалистов.

Не нужно долго ломать себе голову, чтобы отгадать, что «счастье», это — поэтический символ тех великих социальных потрясений, пережила Германия с 1914 по 1923 год. Ясно также, что Эмиль Утиц горит от тленной и упорной работы эпохи восстановления, стабилизирующего реализма, ей воспевает гимн Эмиль Утиц.

Все это было бы, так сказать, в порядке вещей. Но от доклада, читаемого на конгрессе по эстетике и общему искусствознанию, можно было бы ждать каких-нибудь веских теоретических положений и объяснений. Утиц совершенно бессилие установить какие-либо социологические. Он не догадывается о причинах экспрессионизма, его выкриков нутного протеста против неумержимого хода истории, раздавливающей мелкую буржуазию. Ее голос надрывно звучит в экспрессионизме.

Обращает на себя внимание своей бессодержательностью доклад о периодизации в искусстве. Вопрос о периодизации в истории искусства имеет лишь эвристическое значение, не больше того, как географический. Дело лишь в том, что установить подобие географической сетки на историческую картину чрезвычайно сложно и трудно, вследствие неумолимости переходов от одного периода к другому, и крайней сложности все возрастающего материала. Что же предложил автор доклада? Деление на три периода: примитивный, архаический и классический, при чем все искусство, начиная с Восточного, есть классический период, может ли облегчить такая периодизация работу искусствоведа?

¹⁾ «Счастье в углу» — название пьесы Зудермана.

²⁾ «Man hat aber ausserdem Angst vor der Programmatik überhaupt. Man ist ten, und man ist bescheidener, stiller, ruhiger, nüchterner geworden. Ein „Bild in der Natur“ meldet sich an, ein Sichbegnügen und Sichdrücken, die Sicherheit verlorener, geschützten Hafen von der entfesselten Wut des Ozeans». Seite 1.

Если так скромны результаты и выводы основных докладов первого раздела порядка дня конгресса, то позволительно думать, что достижения университетского искусствознания, т.-е. буржуазной науки об искусстве, весьма невелики за последние годы.

Стало быть, выставленный в начале этого очерка тезис о том, что буржуазная наука об общественной жизни—искусство есть отрасль общественной жизни—топчется на месте, оправдан.

Если теоретическая сторона конгресса, сравнительно, бледна, то тем длиннее его организационная сторона. Тут, действительно, есть чему поучиться! Всем участникам конгресса, незнакомым с местными условиями, был заранее обеспечен квартира. Обеды были организованы в столовой университета по сравнительно умеренной цене. Всем участникам конгресса были розданы бесплатные трамвайные билеты и предоставлен свободный вход во все городские учреждения: музей, зоологический сад, парк и т. д. При этом все это делалось без проволочек и волокиты, достаточно было показать шпильку участника конгресса. Накануне открытия съезда была товарищеская встреча, в результате которой все перезнакомились друг с другом. Единственный участник конгресса, приехавший из Москвы, встречал всеобщее внимание, благожелательное отношение и был осыпан бесчисленными вопросами, касающимися строя и отношений внутри Советского Союза. Не обошлось без курьезных, но характерных эпизодов: двое парней, показавших похитку здание университета, в котором происходили заседания конгресса, спросили, откуда он. Он объяснил. На его ответ последовало дружное восклицание: «Ein fabelhaftes Land!» (Сказочная страна). Во время товарищеского чаепития все участники конгресса должны были назвать свои имена и город, откуда они приехали. Когда москвич произнес слово «Москва», то все сразу обернулись и раздался дружный шопот, как будто зашпиготантованных людей: «Moskau!».

В первый день конгресса, вечером, городской магистрат торжественно устраивал участников конгресса ужином в старом здании городского самоуправления. Во второй день вечером был прекрасный концерт, программа которого была составлена из набранных произведений средневековой музыки. В третий день вечером—опера Генделя в городском театре. В четвертый день уже докладов не было, был дневной спектакль в старом театре Гете, ажурный по городу. Разумеется, все это бесплатно. Но все же надо иметь в виду, что участие в конгрессе обходилось каждому члену «Общества изучения эстетики и общего искусствознания» в 8 марок, т.-е. 4 рубля, а члену—в 12 марок, т.-е. 6 рублей.

Словом, организационная сторона конгресса достойна внимания и похвалы.



КРИТИКА

и БИБЛИОГРАФИЯ

А. Н. ТОПОРКОВ. Элементы диалектической логики. «Работник Просвещения». Москва 1927 г. Стр. 135.

В наши дни всеобщего интереса к диалектике уже одно название книги привлечет к ней внимание широкого читателя. Внимание это будет тем более заслужено, что автор обнаруживает и несомненное знание предмета, и умение изложить его просто, насколько это вообще возможно в подобной теме. Тем тщательнее мы должны поэтому разобрать содержание работы, и тем большие требования ей мы можем предъявить.

Прежде всего следует указать, что название книги шире ее содержания. Хотя автор и не обещает дать курс или систему диалектической логики, а лишь ее элементы, однако и элементов диалектической логики в настоящем смысле этого слова читатель не получает. Диалектическая логика есть наука о всеобщих законах и формах движения в природе, общества и их отображении в человеческом мышлении. Поэтому по своему существу своему она предполагает включение в состав своих категорий понятий об основных хотя бы формах движения материи и не может ограничиваться, подобно формальной логике, субъективной стороной деятельности или иной трактовкой так называемых законов мышления, структуры мышления, суждения и умозаключения.

Но от рассмотрения элементов диалектической логики в полном смысле этого слова, от построения системы категорий материалистической диалектики автор как раз и отказывается. На стр. 5, отказываясь включить в свои «Элементы» проблему отношения количества и качества, А. К. Топорков пишет: «Вообще выявить систему категорий материалистической диалектики — задача весьма трудная и отнюдь не элементарная; трактовать об отдельных категориях — только о качестве и количестве — было бы недиалектично: самый существенный вопрос учения о категориях — вопрос об их взаимной связи». Что вопрос о взаимной связи категорий — самый существенный и вместе с тем очень трудный вопрос — это верно, проблема, скажем, взаимоотношений качества и количества, как указывает здесь же автор, непосредственно связана с проблемой прерывности и непрерывности, их трактовкой в современной математике и естествознании — тоже верно; но еще более верно, что без этих важнейших категорий элементов диалектической логики» не получается.

Книга А. К. Топоркова по сути дела представляет собой не изложение диалектической логики, а взгляд на нее со стороны, попытку внешне сопоставления некоторых ее положений с положениями формальной и индуктивной логики. Эта задача, конечно, сама по себе тоже имеет важное значение, хотя, естественно, не столь большое, какое представляла бы попытка дать не рассуждения о диалектической логике, а самое изложение, хотя бы и в самом грубом очерке.

Важнейшим в работе А. К. Топоркова является рассмотрение так называемых законов мышления, составляющих основу формальной логики.

Целый ряд положений книги, в которых автор частью повторяет Гегеля, частью марксистскую критику формальной логики, — связь между тождеством и различием, тавтологичность закона тождества и т. п., — указывается автором правильно. Однако в существеннейшем определении смысла закона тождества в диалектической логике А. К. Топорков не достаточно исследователен.

В изложении А. К. Топоркова закон тождества в диалектике должен выражать в процессе мышления требование большей определенности мысли, но так как никакая конкретная мысль не может получить окончательную, вполне законченную определенность, тождество, как путь к определенности, никогда не может быть законченным. Поэтому тождество невозможно без различия (см. стр. 17—18). Хотя в дальнейшем А. К. Топорков утверждает, что таким образом тождество у него оказывается моментом в процессе различения, однако, как не трудно видеть из всей постановки вопроса, скорее различение, у него есть момент тождества, приближения к все большей и большей определенности. Однако самое существенное не в том, на чем сделать ударение в единстве тождества и различия, хотя еще Гегель утверждал, что именно отрицательное есть движущее. Существенно то, что на деле в самом понимании значения тождества в этом единстве А. К. Топорков не выходит за пределы им же критикуемой формальной логики. Целый ряд авторов, бесспорно стоящих на формально-логической точке зрения, трактует закон тождества аналогично тому, как его понимает автор «Элементов диалектической логики».

По существу дела трактовка вопроса А. К. Топорковым в очень многом совпадает, например, с точкой зрения Минто. Даже аргументы и некоторые примеры в защиту необходимости выхода за пределы формальной логики взяты им тоже у Минто. Стоит сравнить стр. 18 и 19 «Элементов» со стр. 198—199 «Дедуктивной и индуктивной логики» Минто (перевод В. Ивановского, изд. 5, М. 1905)¹⁾.

Правда, можно сказать, что-де и сам Минто не вполне свободен от гегельянщины, поскольку основоположник диалектики оказывал на него иногда косвенное влияние в понимании некоторых вопросов через различных английских гегельянцев и полугегельянцев. Но даже, скажем, и Н. Лоссий, несмотря на всю свою явную враждебность к Гегелю, в вопросе о законах мышления, понимает смысл закона тождества в основном так же, как и А. К. Топорков. В своей «Логике» (т. I, стр. 94) он пишет: «Мы утверждаем, что все мировое бытие подчинено законам определенности, т. е. закону тождества, противоречия и исключенного третьего».

Итак, понимание закона тождества, как требования определенности, является широко распространенным в логике, и выдавать его за элемент диалектической логики не приходится. Диалектическое понимание тождества отличается двумя особенностями. Во-первых, тем, что для Гегеля понятие тождества есть не только выражение формы мышления, но и определенной стороны существования процесса в природе. Понятие тождества отражает самосохранение предмета в процессе развития. Сам по себе закон тождества есть чистая тавтология. Пока я говорю: пролетариат есть пролетариат, — мое знание о предмете ничем не обогащается. Скорее, наоборот, я испытываю некоторое разочарование, так как форма суждения предполагает какое-то движение мысли, в суждении же $A=A$ мы топчемся на одном месте, ничем не раскрывая содержания подлежащего.

¹⁾ Следует отметить как общий недостаток книги, что автор, повторяя ряд положений, высказанных ранее его в новейшей литературе кем-либо другим, не считает своей обязанностью сослаться на свой источник. Как будто задача популяризации не избавляет всегда от выполнения этого требования.

Однако, когда мы изучили пролетариат как класс в его связи с другими классами, установили его специфические отличия и его историю, понятие тождества приобретает значение указания на единство всех различий и изменений, характеризующих развитие данного предмета, указывает нам на то, что, несмотря на все эти изменения, перед нами все же данный предмет, он не перешел еще в нечто иное. В этом смысле тождество объективно нам дается вместе с различием, как момент различия. Поскольку же мы отвлекаемся от различий, возводим конкретное тождество в отвлеченное тождество, мы получаем не совокупность процессов изменяющихся вещей, а совокупность обособленных предметов, метафизическое, формальное определение тождества.

Во-вторых, тождество как момент в процессе мышления вовсе не является, очевидно в противоположность различению, тем, что придает определенность мышлению.

Вообще говоря, определение понятий, как и предметов, дается путем различения их от других конечных предметов. Всякое определение есть отличие, как говорил Спиноза (между прочим, приводя это положение Спинозы, А. К. Топорков не отмечает, что у Спинозы уже оно имеет онтологическое значение).

Поэтому определенность мышления, понятий достигается не только не столько при помощи удержания момента тождества, сколько фиксированием различий (что в противоположность прежде высказанному о законе закона тождества тоже отмечает Топорков, стр. 18—19). Но и на свою очередь должны быть сняты в единстве понятия предмета, и единство тождества и различия дает нам определенное знание. Если возьмем, например, понятие «пролетариат», то определенность в нашем мышлении будет зависеть от того, насколько глубоко и существенно мы отличили это понятие от всех остальных понятий; однако же в самом фиксировании различий нам дается момент тождества, поскольку сами эти различия мы в свою очередь рассматриваем, как что устойчивое.

Реальный процесс есть, однако, и снятие тождества предметов и различия, и различий в их тождестве. Различия в свою очередь есть нечто окостеневшее, «снимаются», как моменты развития данного предмета, т.-е. его тождества с собою.

В процессе развития само это тождество, наконец, достигает такого момента, когда различия не совмещаются уже в его единстве и предмет превращается в нечто иное. Поэтому определенность конкретного диалектического мышления, т.-е. такого, которое должно отражать определенность предмета, взятого не изолированно и неподвижно, а в его движении, вовсе не характеризуется одним лишь требованием тождества мысли. Как мы видели, даже в том случае, когда предметы рассматриваются статически данными, «путь к определенности» лежит вовсе не только через удержание момента тождества, он дается лишь как горюха в фиксировании различий. Тем более трактовка закона тождества нашим автором неверна по отношению к процессам,—историческим, развивающимся и преходящим предметам.

Поэтому, указывая в один ряд с утверждением единства тождества различия на момент тождества, как на требование в диалектической логике определенности в мышлении, и тем самым противореча самому себе, мы горюха отдаем дань старым, формально-логическим предразсудкам. Определенность, последовательность мышления вовсе не обеспечивается тем, что понятия остаются неизменными, тождественными с самими собой, тогда отражаемая ими действительность, предметы ее изменяются. То-

стность себе понятный должна отражать тождественность себе предметов и упраздниться вместе с нею. Нарушение требований логики в рассуждении заключается не в том, что какое-либо понятие мы мыслим совмещающим в себе противоположные определения и различным в различных отношениях, а в том, что эти различия отрываются от действительной жизни предмета, а налицо оказывается противоречие и изменение понятий тогда, когда в предмете их нет. Диалектическая точка зрения в данном случае неразрывно связывается с материалистическим критерием истины.

Так же как недостаточно выяснено автором взаимоотношение тождества и различия, недостаточно и его понимание закона отрицания отрицания.

Разбирая на стр. 31 «отрицание отрицания», самое «отрицание» А. К. Топорков понимает в том смысле, что если нам в процессе развития дано некое А, то получающееся из него какое-либо не-А не есть нечто неопределенное, а дается нам вполне закономерно; не-А должно стать из неопределенного определенным. Из ростка ячменя получается определенный стебель, из ячменя не вырастет рожь. Отрицание же мы должны в свою очередь отрицать, т. е. вновь получить нечто определенное. Таким образом, какая-либо данная серия фактов в развитии не есть нечто несвязное, а подчиняется всегда некоему общему закону данного ряда.

Такое понимание закона отрицания отрицания слишком суживает его содержание. Что в развитии дается всегда некий общий закон его — бесспорно. Но указание на наличие закона не исчерпывает содержание того типа развития, которое указывается законом отрицания отрицания. Согласно ему возникающее из А некое не-А не вообще должно быть нечто определенным, а определенным образом определенным, как противоположное А, т. е. как отличное от него в каком-либо существенном отношении. Поэтому и следующая ступень развития, отрицание отрицания, есть вновь не нечто вообще определенное, а определенным же образом сбитая вторая определенность, противоположность противоположного.

Третье в этой связи не есть просто первое, а противоположное первое, т. е. отражает в себе его содержание. Это и есть очень общая форма развития в природе и истории, которая, конечно, как и все диалектические формы, не может быть чисто внешне, схематически одета на любое содержание, а оправдывается лишь как вывод из конкретного изучения предметов. Поэтому капитализм не просто определенная, смешившая строй мелких производителей, неразрывно связанных со своими фактами производства, общественная форма, а определенным образом определенная форма. Она отличается от строя мелких производителей в решающем определении — владения средствами производства, противоположна ему. Ее переход в новую форму поэтому не есть просто смена одного определенного другим определенным вообще, капитализм сменяется в свою очередь строем, отличным от него в том же существенном отношении, в отношении к владению средствами производства. Поэтому высшая ступень формально оказывается подобной первой ступени развития, но она обогащена всем предшествующим процессом, — не просто повторяется первое, а возникает новое положительное, как отрицание второй, развитой формы.

Недостаточна и трактовка А. К. Топорковым гегелевского учения о понятии, суждении и умозаключении. Вначале (на стр. 42) автору почему-то кажется, что гегелевское учение о взаимоотношении общего, особенного и единичного стоит и падает вместе с его учением о чистом сознании. Затем (на стр. 50) он приходит к заключению, что Маркс

разделяет мысль Гегеля об единстве общего, частного и конкретного. Ницше, в заключение (на стр. 58) наш автор пишет, что Маркс ориентирован и очень близок и очень далек от Гегеля, поскольку он отбрасывает самую оригинальную часть гегелевского учения о понятии — учение о чистом самосознании и заменяет его понятием революционной практики.

Должен сознаться, что вся эта «диалектика» кажется мне недостаточной целью и результатом не столько неясного изложения, сколько непонимания сути дела. Гегелевское учение о понятии, взаимоотношения общего, частного и единичного, конечно, неразрывно связано со всей системой и не может быть просто без всяких оговорок передано марксизмом. Но это соображение в равной мере относится и к гегелевскому учению о взаимоотношении количества и качества, причины и действия и т. п. Однако в «поставленном на ноги» виде мы их берем от Гегеля. Так же Маркс берет и гегелевское учение об общем, частном и единичном, рассматривая их, однако, не как моменты развития логической идеи, а как выражение реального взаимоотношения между общим и единичным в действительности. Учение о чистом самосознании вовсе в данной связи не так оригинально у Гегеля, оно вообще для его времени было не ново, критику же практики имеет такое же отношение к проверке истинности этих утверждений, как и всяких других.

Непонятно автором оказалось и значение гегелевского учения о заключении, поскольку он упускает в нем самое важное, — что Гегель классификацию умозаключений строит исходя из того, насколько оно находит себе выражение не в его необходимом содержании, закон предельности.

Неполна данная в книге критика индуктивной логики (стр. 68, 79). Недостаток индуктивизма не в том только, что он осуществляет полностью схему Милля, исчерпать все стороны какого-либо явления нельзя, но и в том, что индуктивисты недооценивают различия между сущностью и явлением, единичным и общим (в этом смысле энгельсовы статьи «Естествознание в мире духов»), не находят настоящего места кривизне, отысканию генезиса явлений.

Наша рецензия несколько растянулась. Из изложенного вытекает, что в ряде существенных пунктов нельзя полностью согласиться с автором работы. Однако это вовсе не делает его работу бесполезной. Целый ряд вопросов в ней поставлен, некоторые проблемы освещены вполне удовлетворительно (историзм, проблема практики и т. д.). А если принять во внимание те трудности, которые стояли на пути автора, работу его следует признать все же значительной. Пожелаем, чтобы в следующих книгах автор переработал соответствующие главы своей книги, так как даже в данном изложении хотя бы и ограниченного круга затронутых проблем огромна.

Ник. Карс.

А. ВАРЬЯШ. Диалектика у Ленина. (Популярное изложение философии диалектического материализма на основании сочинений Ленина). М., 1928. Стр. 185.

Странная книга!

Ни одно из обычных определений, просящихся на перо рецензента к ней не подходит.

Во-первых, ее только условно можно назвать книгой Варьяша, только условно можно назвать А. Варьяша ее автором. Во-вторых, в-третьих, только в сопровождении вопросительных и восклицательных знаков можно говорить о том, что воззрения, в этой книге

ние, есть воззрения ее автора, ибо еще совсем недавно, в других своих работах, автор книги по некоторым вопросам придерживался взглядов прямо противоположных.

Книгой мы именуем обычно работу, обладающую хоть какой-либо степенью самостоятельности в исследовании, постановке или изложении трактуемых ею проблем.

Ни первого, ни второго, ни третьего в книге А. Варьяша нет. По беглому подсчету, свыше полусотни страниц в ней образуют цитаты из Ленина (главным образом, из т. X), остальное—тоже пересказ, большей частью почти дословный, Ленина и Энгельса. Самому А. Варьяшу принадлежат, собственно говоря, лишь несколько соединительных абзацев предложений и подзаголовков. Это—не книга, а хрестоматия. А. Варьяш же не автор ее, а составитель. Точнее было бы и написать: Философия у Ленина (так как речь в книге идет о всей совокупности философских воззрений Ленина, а не только о взглядах его на диалектику), собрание отрывков из его сочинений, избранных, систематизированных и частью пересказанных своими словами А. Варьяшем. Мы вовсе не хотим сказать, что такая хрестоматия вообще не нужна. Но нельзя эксплуатировать интерес к диалектике, преподнося хрестоматию под видом новой работы. Косвенно признает это и сам автор, стыдливо прибавляя к заглавию более близко выражающий суть книги подзаголовок: философия диалектического материализма на основании сочинений Ленина.

Хрестоматии—вещь нужная, когда их не слишком много, когда они составлены со знанием дела и ограничивают себя кругом задач, которые они действительно в состоянии разрешить.

Хрестоматия А. Варьяша не обладает, к сожалению, ни одним из этих достоинств. Она далеко не первая, и не самая полная, она бесконечно претворозна и, наконец, комментарии составителя в ней не стоят на должной для работы о Ленине высоте.

Так, главке, трактующей закон взаимного проникновения противоположностей, важнейший закон диалектики, А. Варьяш предпосылает следующий подзаголовок: «Этот закон дает более глубокое понимание взаимодействия.—Развитие происходит благодаря реальным противоречиям действительности.—Раздвоение единого и познание его противоположных сторон—закон диалектики, формулированный Лениным. — Развитие есть борьба противоположностей. Анализ Лениным обмена товаров как пример этого закона.—Диалектика исследования и объяснения (суб'ективная диалектика) есть отражение об'ективной диалектики в природе и обществе.—Точка зрения формального мышления.—Противоположность означает противоречие вполне определенных реальных моментов действительности, в которой обе противоположности вместе существуют. — Безотносительность и противоположность.—Связь между двумя законами диалектики.—Учение диалектики о скачках.—Критика постепенности (эволюционизма).—Исторический обзор возникновения теории эволюционизма. — Критика Ленина органической школы в социологии.—Переходные звенья развития.—Диалектика и софистика.—Суб'ективная и об'ективная гибкость понятий» (стр. 95). После такого подзаголовка читатель вправе ожидать хоть каких-либо пояснений, примеров, иллюстрирующих закон, которых сколько угодно можно найти у Ленина и т. д. Его ждет, однако, разочарование. Вслед за подзаголовком в 15 строк следует... 2 странички текста, заканчивающиеся цитатой, да несколько дополнительных замечаний и цитат дается в следующей главке из 9 страниц. Заглавия поедают текст. Ясно, что никакое изучение Ленина таким способом не получается.

То, как А. Варьяш комментирует ленинский текст, также не заслуживает быть признано удовлетворительным. Возьмем несколько примеров. На стр. 49, выясняя тактику Ленина в борьбе с философским ревизионизмом, А. Варьяш характеризует позицию Ленина следующими словами: «Ленин огорён своей критикой неправых, главным образом, против эмпириокритиков, против русских махистов, желавших быть марксистами. Эмпириокритики и эмпириосимволисты не считали себя идеалистами. Ленин боролся против них по-товарищески, надеясь уяснить им их заблуждения. Но он счёл нужным выступить против них, чтобы, разоблачив их, оградить тех марксистов, которые могли пойти за ними и тем самым разойтись с ортодоксальным марксизмом». Изобразить Ленина кротким наставником по меньшей мере странно. И с какой целью? В поучение кому? Никакой особой нежности к эмпириомонистам Ленин не проявлял, что могут, надеюсь, засвидетельствовать и они сами, несмотря на то, что Богданов был в то время близким к Ленину, а Ленину лично было особенно тяжело рвать с ним.

На стр. 182 А. Варьяш пишет, что «отношение формальной логики к диалектике можно характеризовать так, что формальная логика представляет собой пределы и о-у-про-щ-е-н-и-й (курсив мой.—Н. К.) случай диалектической логики». Основание этому Варьяш видит в том, что «готовые вещи можно и должно рассматривать как результат процесса как относительный предел их».

Во-первых, «готовая вещь» вовсе не есть предел процесса. Понятие предела, хотя бы и относительного, вообще здесь неуместно. Формальная же логика, по Плеханову, есть частный случай диалектической, как покой есть частный случай движения, и вовсе не представляет собой «у-п-р-о-щ-е-н-и-й случай» диалектики. Очевидно, что вещи разные. Ошибки, вытекающие из смешения их, демонстрирует А. Варьяшем на стр. 84: «Законы формальной логики представляют собой, таким образом, также и законы представлений, суждений и умозаключений, поскольку они рассматриваются как готовые результаты мыслительных процессов». По сути дела—это полная капитуляция пред формальной логикой, и писать подобные откровения в книге о диалектике, да еще диалектике у Ленина, можно, либо не отдавая себе отчета в том, что пишешь, либо будучи вообще уже по ту сторону добра и зла... Если законы формальной логики есть законы суждений и умозаключений, как результатов мыслительного процесса,—то большего не потребует ни один противник диалектики. Ибо результатом мыслительного процесса, поскольку он берется в чистейшей, а не с психологической стороны (в данной связи нас интересует только первая), является установление понятий и законов о действительности.

На стр. 109 А. Варьяш, излагая Ленина и оказываясь в несостоятельности роли критика механического материализма, как это часто бывает в подобных случаях, выступая против применения «механического метода» в различных науках, утверждает, в противовес механистам, что «каждая наука должна найти и выработать сама свой собственный метод». Что наука природу надо в ее своеобразии,—это верно, но что каждая наука, да не «сама», т.-е., очевидно, без помощи других наук, и философии в том числе, должна «найти и выработать» «свой собственный» метод—в наше время, в эпоху глубочайших связей между различными научными дисциплинами, в век торжества диалектико-материалистического метода—звучит, по меньшей мере, нелепо.

А. Варьяш в своем изложении стремится, хотя и не всегда с успехом, как мы видели, быть верным Ленину. Это похвально.

Но для всякого, кто читал хоть какое-либо произведение А. Варьяш, остается неясным,—как он совмещает в своей голове прямо противоположные друг друга точки зрения.

Достаточно двух примеров.

Как известно, в наших философских спорах А. Варьяш выступал и выступает как один из активнейших механистов. Одновременно, в рецензируемой книге, А. Варьяш слово в слово повторяет ленинскую критику механического материализма. В каком же случае верить А. Варьяшу? Где же настоящие убеждения? Он—и там, и тут. А это все равно, что сказать,—его нет ни там, ни тут.

Одним из центральных пунктов спора последних лет был вопрос о сущности философских воззрений Спинозы,—был ли Спиноза материалистом, следует ли его субстанцию понимать как материю. Много было сложено копий. А. Варьяш выступал в рядах защитников точки зрения Л. Аксельрод и посвятил Спинозе не один десяток страниц в своей «Истории философии», наговорив там о спинозизме совершенно невероятных вещей, отмечавшихся уже на страницах нашего журнала. Теперь же, не говоря худого слова, в кратком словаре, приложением к книге, А. Варьяш пишет: «Спиноза—крупный философ (1632—1677), материалист. У Спинозы есть только одна субстанция с двумя атрибутами: протяжением и мышлением. Главное сочинение его «Этика». И все. И это во время драки, когда буквально в дни выхода книги, на диспуте в значительной части вращавшемся вокруг Спинозы, выступал Варьяш в ряду с несколькими своими соратниками, отрицавшими материализм Спинозы, и ни словом не обмолвился о своем несогласии с ними. Можно ли после этого брать всерьез и нынешние замечания А. Варьяша? Нельзя брать всерьез. Никто не поручится за то, что напистет он завтра, а в таком случае и разговор с ним бесполезен. Он своеобразный последователь Кратила: его мысль нельзя уловить даже один раз.

Что же касается данной книги, то, резюмируя все сказанное выше, можно заключить: учиться ленинизму, но по оригиналам, а не по переложениям, по Ленину, а не по Варьяшу.

К.

А. ТАЛЬГЕЙМЕР. Теоретический кризис соц.-демократии. Перевод под ред. Т. А. Аксельрода. Госиздат. 1927 г. 167 стр.

Главная часть работы Тальгеймера (1—113) посвящена критическому изложению юбилейного сборника «Живой марксизм», выпущенного в 1925 г. О. Иенсенем в ознаменование 70-летия рождения Каутского. Критика Тальгеймера впервые появилась в том же году на немецком языке в теоретическом органе Коминтерна. К этому приложены две главы: о «крестьянском вопросе в Австрии...» и о «новом экономическом обосновании реформизма...», печатавшиеся уже раньше в «Большевике».

Тов. Тальгеймер хорошо делает, начиная свою работу с главы о том, каких проблем австро-марксистские теоретики не поставили в своих юбилейных писаниях. Действительно, их молчание очень многозначительно. Оно распространяется как раз на наиболее ударные и революционные темы: о СССР и ее успехах, о минувших революционных боях в срединной Европе, об империализме, о проблеме диктатуры пролетариата и пр. Впрочем, метод замалчивания—это старый традиционный метод каутскианства. Если Бернштейн перед войной прямо ревизовал Маркса, то Каутский и его школа делали это косвенно, или замалчивая важнейшие проблемы современности, или «академизируя» их, т.-е. отрывая от актуальной политики. Таким образом, Каутский умудрялся целое десятилетие прилежно писать о революции, не затрагивая «пустякового» вопроса о сроках и конкретной подготовке революции в самой Германии. Но возьмем теоретическую прессу сегодняшней с.-д., хотя бы за истекший год. Мы там увидим все кроме анализа: китайской революции, английской забастовки, венского восстания, движения

руг казнн Сакко и Ванцетти. Эти «мелкие» события, если не попадают, лишь в виде некролога, *post factum*, инспирированные соответствующим нравоучением по поводу революционных безумств пролетариата.

Тальгеймер излагает по порядку философско-социологические, политические и экономические «труды» авторов сборника.

М. Адлер ревнует учение Маркса к государству. Он возвращается к Гегелевскому отождествлению понятия общества и государства. Государство, выступаящее под псевдонимом «принудительного порядка», сохраняет идлера и для социалистического общества. Он не мыслит себе социализма «карательной власти». Все это тем легче «доказать», что Адлер похищает понятие общественного базиса, спутывая его с надстройкой и я общественное сознание, как исходный пункт анализа. Таким образом, получается «поставленный на голову исторический материализм». М. Адлер, юрнт Тальгеймер, «фактически заменяет материализм идеализмом, в то же время сохраняет материалистическую видимость для идеализма и идеалистическую видимость для материализма. С одной стороны, несмотря на действительное согласие с основными положениями буржуазного мировоззрения, имеется как будто противоречие с этим мировоззрением, с другой стороны, при полном отрицании всех основ марксизма, с ним как будто находится видимое согласие» (20). Вся эта, характерная для австро-марксов, акробатика выполнена на свойственном Адлеру тяжеловесном, запутанном философском жаргоне.

М. Адлера сменяет О. Бауэр со своей «ученической» работой о «мировоззрении капитализма», встреченной, кстати сказать, восторженным хвалами со стороны с.-д. прессы. Гвоздем бауэровской статьи является о том, что материализм есть выражение анархически-капиталистического общества, «последовательная философия системы свободной конкуренции». Материализм, вещает Бауэр, отвечает схеме выполнения ритма, а идеализм — схеме планирования. Материализму вменяется даже вину причинный метод объяснения природы, свойственный, якобы, только одному лишь капиталистическому мировоззрению в отличие от высшего логического метода. Сам Бауэр, отвергающий как материализм, так и неокантианство, склоняет к идеалистическому скептицизму, который чему-то представляется ему освобождением от «буржуазной системы», а более остроумны и глубоки рассуждения Бауэра и о других философских системах. Уже исходный пункт его анализа идеалистичен. Бауэр грызает философию от экономического базиса, допуская рядом с «тракннгентной», т.-е., по его терминологии, зависящей от общества исторических действий — также и имманентную историю, развивающуюся по собственным законам. Но субъективная «имманентная» логика не может быть ничем иным как гегелевским саморазвертыванием понятий. В конкретных объяснениях отдельных философских систем Бауэр пользуется методикой аналогий, ничего не доказывающим, кроме разве собственной фантазии автора.

Тальгеймеру не составляет труда показать всю историческую обоснованность бауэровских построений. На ряде исторических примеров и удачно вскрывает социальную сущность материализма и идеализма показывает, что нельзя слишком упрощенно «приписывать материализму идеализм определенной экономической формации и ставить их в прямую связь с этой последней» (22). Господство материалистического или идеалистического мировоззрения зависит как от соотношения классов сил, так и от потребностей науки на данной ступени ее развития.

Кранольд прокладывает дальше путь от идеализма и скептицизма прямому ханжеству. Для Кранольда «религия как таковая есть со-

ная часть человеческой природы». Но, не удовлетворенный этим открытием, он хочет и... Маркса привлечь к делу религиозной пропаганды. Окажется, что «социалистический человек по их (Маркса и Энгельса.—И. А.) мнению должен быть, конечно, атеистичен, но вовсе не безрелигиозен». Путь таких дешевых средств осуществляется «путешествие на небо Карла Маркса». Тот же Краинольд бредит богом как «совокупным понятием всех тех элементов мирового целого, которым можно сказать ты», высказываешься за славяную этику против исторического материализма, социализм считает системой ценностей и пр., и пр.

Дальше, Шаксель предлагает социологию, которая «должна строиться на биологически-психологическом основании», Г. Э. Граф сочетает «геополитику с историческим материализмом (готовя, по словам Тальгеймера, «географическое руководство для империалистической внешней политики»), а О. Иенсен провозглашает «обединение марксистской социологии и психоаналитического исследования». Применяя теории Фрейда о комплексе Эдипа, о символике снов и пр. к социологии, Иенсен преподносит нам революцию как «социальный психоз», как восстание невежественной, слепой, преисполненной страстью к разрушению массы. «Нужно быть слепым, говорит Тальгеймер, чтобы за маской «отца», «самца», «сыновей», Эдипа, «матерей» не узнать сейчас же венского гофрата с его дражайшими чадами и домочадцами... Психология инстинктивной жизни и распадающейся прогнившей буржуазной семье возводится в абсолют, исторически обобщается и искажается; в этом и заключается простой секрет фрейдистского глубокомыслия...» (57—58).

Во 2-й главе Тальгеймер демонстрирует нам «излюбленные коньки мелкобуржуазного социализма». Перед нами дефилирует целый сонм мелкобуржуазных социалистов со своим тощим багажом. Г. Заупе требует, чтобы с войной бороться «профилактическими» средствами, и утверждает, что «времена империалистической мировой борьбы миновали». Ода Ольберг провозглашает неомальтузианизм и вынужденное ограничение деторождаемости у рабочих культурной необходимостью и пропагандирует фазово-гигиенический идеализм». А. Симсен плачется о недостающих пролетариату «психологических предпосылках социализма» и предлагает обучать молодежь «общности труда», как средства против уличных выступлений и стачек. Р. Зейдель жалуется на некритическую массу и требует от профсоюзов поменьше выборности, «побольше бюрократии». Кассау также жалуется на «недостаточное понимание рабочим классом «функций трудовой работы», и видит в интеллигенции «контролирующую инстанцию». Наконец, Кете Лейхтер и Бруно Цвещш разводят меланхолическую философию социализации. Они, правда, вынуждены признать провал австрийских попыток социализации, но это не мешает Цвещшу мечтать об ассоциации семейных хозяйств, как о «фундаменте грядущего общественного порядка».

В 3-й главе Тальгеймер показывает сползание с.-д. экономистов к «марксистской» вульгарной экономике. Отто Лейхтер трактует о мировой войне, как об эпохе «расширенного воспроизводства и высокой конъюнктуры. А. Браунталь излагает работы К. Каутского о деньгах и пытается применить их к эпохе инфляции. Он, конечно, не понимает, что инфляция, как верно замечает Тальгеймер, при помощи инфляции политически разлагала участвовавшую тогда в коалиционном правительстве социал-демократию, чтобы затем, после поражения рабочего класса осенью, 1923 г., создать себе политические предпосылки для своей собственной стабилизации.

Де-Вольф пишет о «периодах благополучия и депрессии» и, как юный вульгарный экономист, рассматривает кризисы лишь с точки зрения «проблемы циклов», не видя их двойственного характера, их роли в отовке гибели капиталистического общества. Закон кризисов он приписывает в закон сохранения системы, в естественный закон.

Тальгеймер вскрывает также метод вульгарной экономики с тем же образом Лейхтеру удается «доказать», что война есть эпоха разового воспроизводства. При помощи рассмотрения экономических процессов с точки зрения индивидуального капиталиста. Таким путем Лейхтер смешивает производительное потребление с непроизводительным и нахождение всего общества подменяет частно-капиталистическим. Как приходит к своим жалким утопическим выводам о борьбе с инфляцией? Выходит, решение этого вопроса из всего комплекса экономических и политических явлений. В результате буржуазия, не вооруженная марксистским методом, оказывается лучшим теоретиком в теории денег, чем «марксист» Близталь. Методом вульгарной экономики пользуется и Реннер, критике которого посвящена 5-я глава книги. Реннер вульгаризирует марксизм, обращаясь к прудонизму в вопросе об обращении, перекрашивая на аксо-социалистический лад процесс капиталистической концентрации, подменяя, вслед за Меигером, экономические понятия юридическими и пр. В чем, книга Реннера, как и австрийская аграрная программа (6 глава книги), уже неоднократно разбиралась в нашей прессе.

Наконец, глава 4-я дает краткий суммарный очерк об историческом месте и практической роли современного австро-марксизма.

«Современный австро-марксизм», — говорит Тальгеймер, — является в критическим преодолением коммунизма посредством буржуазной идеологии. При этом австро-марксисты пользуются не буржуазными идеями, а буржуазной апологетикой. Австро-марксизм — эклектико-противоречивое, разнородное учение. Каждый из авторов, «жизнь марксизма» опровергает другого. М. Адлер ликвидирует при помощи негитизма диалектику и материализм. О. Бауэр ликвидирует не только марксизм, но и адлеровскую ликвидацию марксизма. Краинольд выводит в небесные области религии и в то же время ликвидирует «продуцируемый порядок» Адлера. Граф объединяет адлеровский экономический капитализм с неисторическим натурализмом и т. д., и т. п. Капитализация буржуазной упадочной идеологией сопровождается социальной капитуляцией перед буржуазией, в лице, может быть, политиков и экономистов. Все их объединяет отвержение марксизма и утверждение буржуазного общества.

Работа тов. Тальгеймера в общем и целом достигает своей цели. В полупамфлетной форме она разоблачает все теоретическое убожество и нищий эклектизм, радикальный разрыв с марксизмом, «нищенскую» австро-марксистских «теоретиков». Читатель встретит в ней не одно интересное замечание со свойственными Тальгеймеру самостоятельностью и ртотой кругозора и знанием исторической обстановки.

Однако, нельзя умолчать и о некоторых недостатках книги. Они вытекают в первую очередь из самого метода изложения. Тальгеймер не продемонстрировать все статьи сборника «Живой марксизм». В силу этого он вынужден был скользить по огромному количеству тем. Изложение и критика в таких условиях неизбежно принимает чрезвычайно бедный характер. В порядке беглости изложения Тальгеймер не смог в достаточной мере информировать читателя о связи разбираемых систем со всей идеологией их авторов. Возьмем пару примеров. Тальгеймер ставит Краинольда как в некотором роде исключительное явление. И

ноль предугадывает «ближайший этап» М. Адлера и О. Бауэра (стр. 38, 39). У неосведомленного читателя получается впечатление, что эти-то авторы, по крайней мере, ничего пока общего с религией не имеют. Однако достаточно открыть написанную в 1924 г. М. Адлером работу: «Das Sociologische in Kants Erkenntnisstheorie», чтобы убедиться как раз в обратном. Три четверти этой пухлой работы посвящена разбору кантовской философии религии. Автор, не удовлетворяясь реставрацией «критики чистого разума», следует за Кантом, по дебрям «Критики практического разума» и возрождает основные ее категории: религию, бога, бессмертие. Так что путь Кранольда-предуказан уже М. Адлером, если не считать, может быть, большей интимности и церковности в кранольдовских отношениях к своему богу, с которым он на «ты». Но это уже дело оттенков и личного темперамента.

Возрождение религиозного социализма—общая тенденция современной социал-демократической идеологии, отражающая соответствующий напор буржуазных классов. Оспрашиваемая требование отделения церкви от государства, имеющаяся в последней партийной программе, О. Бауэр заливаются пелушом, чтобы доказать, что эта мера отнюдь не ослабит религиозных чувств народа. «Верующие боятся, некоторые свободомыслящие надеются, что отделение церкви от государства поколеблет религию. Боязнь первых столь же не обоснована, как и надежда вторых... Наша Линцская программа требует отделения церкви от государства не как меру, враждебную религии, а лишь как необходимое следствие демократии» (О. Бауэр, «Социал-демократия, религия и церковь», Вена 1927, стр. 61—62). Австрийские социал-демократы прекрасно знают, что проповедь атеизма стоила бы им не одной пачки мелкобуржуазных голосов, но... они смело надевают сутану социал-демократических попов. (См., например, выступление Реннера на Кильском партийном съезде. *Protocoll*, стр. 20).

Откровенное признание религии и даже активная разработка религиозных и этических проблем, так же, как и повсеместное утверждение аграрных программ—вещи, конечно, не случайные. Временное укрепление капитализма и связанная с этим реакция являются для социал-демократии периодом естественной передышки. Эту передышку она стремится всячески использовать, лихорадочно укрепляя свои позиции внутри и вне партии путем приключения мелкобуржуазных и интеллигентских элементов. Таким путем она надеется следующий подъем рабочего движения встретить на основе тесного союза рабочей аристократии с возросшим и идейно окрепшим мелкобуржуазным сектором внутри и около партии.

Интересно было бы также показать хотя бы общую связь адлеровской «теории принудительного порядка» с его остальными взглядами на государство и демократию. В подобную же общую связь следовало бы ввести таких идеологов профдвижения как Зейдель и Кассау. Дело в том, что их взгляды не совпадают с официальным австро-марксизмом, двигаются по линии позного и откровенного отрицания марксизма и проповеди «идеалов» англо-американского профдвижения. Эта же профсоюзная идеология становится сейчас, пожалуй, немаловажной составной частью всей идеологии II Интернационала.

Ряд обобщений в этом направлении значительно повысил бы интерес работы тов. Тальгеймера.

Остановимся еще на нескольких замечаниях автора. В начале книжки Тальгеймер пишет, что «в Германии первое появление лево-марксистских течений можно заметить в 1903 г. на Дрезденском партийном съезде» (1). Это утверждение кажется нам неверным. Исходным пунктом первого размежевания течений внутри германской с.-д. правильное было бы считать уже начало

руссии с Берштейном, т.-е. 1898 г. Если сравнить первые дискуссии гугления Каутского и Бебеля, с одной стороны, и Р. Либкнехт и Паррад, другой, то можно увидеть, как в самой постановке вопросов, так и в тонах большую разницу; здесь чувствуются уже первые контуры будущего деления на центр и на левых радикалов. Каутский и Бебель с самого начала пытались отделить критику теоретических изгладов Берштейна от критики, которой они (пока еще скрыто) симпатизировали. Роза с самого начала была как по теории ревизионизма, так и по практике и преследовала стического оппортунизма считала даже самым важным в той борьбе. Но в аких вопросах, как реформа и революция, отношение к буржуазной демократии, как социальная оценка берштейнианства и делаемые из нее организационные выводы критика Розы отличалась от критики Каутского. Впрочем, все эти отличия субъективно не бросались еще тогда особенно в глаза. Широчайшей проверкой центризма стали лишь, как правило в дальнейшем мечает Тальгеймер, вопросы о всеобщей стачке и об империализме. Это условием иустро каутскианства, его бегство от растущих противоречий империализма под сень утопических кабинетных построений о всеобщем разоружении, о «революции» организованных, о новом либерализме и пр. показавшая в полной мере. Что же касается Дрезденского партийного, то он как раз шел в историю как наиболее единая и решительная демонстрация солидарности против ревизионизма, собравшего открыто лишь 11 голосов. Так, в этой мере, дело обстояло формально. После Дрездена даже Берштейн нужден был возвратиться (из тактических соображений) к марксистскому мнению о теории ценности и прибавочной ценности, и о классовой борьбе, а рывая даже с идеей экспроприации и пытаюсь весь спор свести к вопросу о «редакции» (См. его «Теорию и практику современной социал-демократии»). На следующем же партийном в Бремене Берштейн был даже одолен инициатором постановки вопроса о политической стачке. Это временно и лишь и внешняя победа над ревизионизмом были прерваны лишь после кабарского поражения 1905 года в России. Начиная с 1906 г. размежевание между центром и левыми, на основе сползания центра вправо, пошло быстро и полным.

В 4-й главе Тальгеймер сравнивает австро-марксизм с легальным марксизмом, как интернациональным явлением. Он считает, что легальный марксизм есть «сопровождающий момент развертывающихся буржуазных эволюций»... в то время, как современный австро-марксизм «классическим образом выражает подчинение и рабочей аристократии и части мелкой буржуазии контрреволюции» (112). Не входя здесь в обсуждение исторических или легального марксизма, расцениваемого Тальгеймером односторонне и око (он был в такой же степени выражением левых настроений буржуазии, как и попыткой совлечь рабочее движение на путь классового сотрудничества), остановимся на второй части его положения. Мы думаем, что «классическим ясным выражением подчинения рабочей аристократии контрреволюции» является скорее необерштейнианство, ставшее официальной идеологией II Интернационала. Австро-марксизм же, особенно в лице М. Адлера и К. Бауэра, как раз и претендует на левую ориентацию, на идеологию солидарности с «ульгарному» берштейнианству. Ради этого он ридится в самые край, прикрывается формулами довоенного каутскианства и даже критикует с леинизмом (в вопросе о демократии и диктатуре, о революции, о крестьянстве). Он не хочет отставать от веяний времени и «готов, лиризирующих официальных вождей II Интернационала, признать кое-какие факты современности, например, успехи социалистического хозяйства в СССР. Русскому читателю не зачем долго доказывать, что все это поощряет живая левизна, единственной целью которой является сохранение во II Интернационалом более лево-настроенных, еще доверяющих старому Интернационалу».

и симпатизирующих стране советов социал-демократов. Но что вся эта работа ведется достаточно тонко и замаскированно, видно хотя бы из того факта, что огромное большинство австрийских рабочих продолжает (и после венских событий) идти за Бауэрами и Адлерами. И Тальгеймер признает, что австро-марксизм «представляет из себя реальную действенную силу в рабочем классе, как бы ирреальны, ничтожны, смешны и глупы ни были его теоретические построения. Он действует как парализующий яд» (112). Вот именно.

Австро-марксизм есть не «классически ясное выражение контрреволюции», а «первоклассный лицемер и виртуоз в деле протестирования марксизма», как выражался Ленин о Каутском. Поэтому нельзя вместе с Тальгеймером рассчитывать здесь на быструю победу коммунизма, на то, что «при первом оживлении революционного движения эта идеология застоя испарится из голов рабочих» (113). Здесь нужно длительное и резкое разоблачение того маскарада, терпеливое и систематическое вскрытие принципиальной тождественности австро-марксизма со всей остальной идеологией II Интернационала. Мало того. Подобная теоретическая работа критики будет вполне успешной лишь в том случае, если она будет сопровождаться со стороны коммунистических партий революционной практикой, как ее иллюстрацией. Ибо «идти ниже и глубже к настоящим массам: в этом все значение борьбы с оппортунизмом и все содержание этой борьбы». Этого старого Ленинского правила никогда не следует терять из виду. Лишь длительной комбинированной атакой революционной теории и революционной практики можно добиться здесь перелома в пользу коммунизма. Но и сама теоретическая борьба «входит, — как говорит Тальгеймер, — как часть в «организацию революции», в революционную подготовительную работу, в революционную пропаганду и представляет не меньше практическое значение, чем организационная и агитационная работа» (113). Этим мнению целям и служит, несмотря на некоторые отмеченные нами недочеты и не всегда достаточно популярное и ясное изложение, работа Тальгеймера.

И. Альтер.

«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК». Основатель: Эмиль Дюркгейм, т. I. *L'année sociologique. Fondateur Emile Durkheim. Tome I* (1923—1924). Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris. Librairie Felix Alcan. 1925. 80 francs. 1012 pages).

После значительного перерыва, длившегося с 1913 по 1925 г., во Францию вновь начал издаваться интересный «Социологический Ежегодник», на этот раз уже под коллективным руководством учеников Е. Дюркгейма.

Сам основатель ежегодника, выпустивший под личным руководством знаменитых солидных томов, умер в конце 1917 года. Издание ежегодника, несомненно, было громадным предприятием в научной жизни знаменитого французского социолога. Оно содействовало собиранию сил и оформлению своеобразного социологического направления, которое по праву может рассматриваться самым влиятельным и интересным в современной французской социологической мысли.

Первый том *L'année sociologique* выпущен был Е. Дюркгеймом в 1899 году, в разгар соревнования модных тогда течений: психологизма Гартла и органицизма Вормса. Изданием ежегодника и выпуском своих других работ Дюркгейм положил начало существованию социологической школе, которая хотела эмансипировать социальную науку от естествознания и индивидуальной психологии и превратить ее в совершенно самостоятельную науку — социологию, с своим специфическим предметом и методом.

Талантливость основателя, сравнительная прогрессивность в постановке решения вопроса способствовали постепенному укреплению новой логической школы и вытеснению других направлений.

Необходимость пристального внимания к изданию ряда новых работ, едовавшая вскоре мировая война, внесшая сильнейшее расстройство научную жизнь Франции, заставили социологическую школу на время издать издание ежегодников. Только в 1923 году удалось, собрав необходимые средства и силы, приступить ученикам Е. Дюркгейма к возобновлению журнала «L'année sociologique». Вышедший в 1925 году первый том, как по форме и направлению, так и по объему, воспроизводит довоенный «L'année sociologique» Е. Дюркгейма. По традиции он делится на две части. Первая содержит оригинальные работы, главным образом, по различным вопросам теоретической социологии. В данном выпуске помещена большая статья Мосс «Опыт о даре, форме и основании обмена в древних обществах» (Essai sur le don formé et raison de l'échange dans les sociétés primitives), занимающая 186 стр. Другая часть тома включает критические вышедших за 1923 и 1924 гг. работ по разным вопросам социологии, занимают на 800 страницах громадное их количество. Общим частям присылается и в memoriam неизданных работ Е. Дюркгейма и пожелания к мировой войне его сотрудников. Анализ книг дается по следующим отделам: общая социология, религиозная социология, социология семьи и юридическая, экономическая социология, социальная философия, наконец, Divers. В последний входит разбор книг по языку, письму, театру, эстетике.

Незнакомый с учением социологической школы, с «дюркгейзмом», будет только недоумевать приведенной выше номенклатурой, по которой каждая, к примеру, получает также наименование социологии. Близкое знакомство с учением Дюркгейма должно рассеять недоумение и направить на выяснение мотивов, которыми руководствовался «социолог», ставившая необходимость существования ряда социологий. Основной мотив заключался в желании полного реформирования социальных наук, четкого отграничения от соприлежащих областей: психологии и естественных наук разграничение возможно лишь при признании наличия специфического предмета и метода социальных наук. Все социальные науки должны быть связаны единством метода. Общая социология, имеющая своим объектом рассмотрение социального факта in abstracto, вообще предмета и метода социологии, должна дополняться наличием частных социологий, являющихся результатом применения общего метода к различным областям конкретной социальной жизни.

Нет необходимости здесь останавливаться на разборе этой структуры социологической школы. Это нами сделано в другом месте. В данном случае нельзя не отметить, что она представляет большой интерес и является прогрессивной, нежели соответствующая часть учения Тард и Парсонса. В пределах каждого отдела анализ книг проводится с точки зрения зрения социологической школы. Для того, чтобы читателю стала известна сущность рецензий, необходимо кратко остановиться на основных моментах учения Е. Дюркгейма. Таковыми нужно признать: теоретико-познавательные новшества, точка зрения на предмет и метод социологии, взгляды на сущность причины социального развития. Дополнением явится выяснение личности школы дюркгейзма.

Теоретико-познавательные взгляды Дюркгейма основываются на разнице двух родов познания: чувственного (sensible), индивидуального по своему происхождению и познания через понятия—коллективного. Коллективное сознание принудительно навязывает индивиду понятия: время,

причинности, пространства и т. д. Коллективные представления представляют не просто сумму индивидуальных, но их особый, новый синтез, не могущий быть объяснен законами частей. В факте коллективного происхождения понятий заключается достаточная гарантия их объективности. Мы в другом месте определили теорию познания Дюркгейма, как своеобразное сочетание интуизма с социологизированным кантовским априоризмом. Метафизичность же не осталась характерной чертой дюркгеймовской теории познания и вообще всего его учения.

Теоретико-познавательные взгляды социологической школы тесно увязываются с дальнейшей стороной доктрины Дюркгейма, с воззрением на предмет и метод социологии. Предметом последней являются социальные факты, т. е. действия, «способные оказывать на индивида внешнее принуждение». Последнее придает социальным фактам своеобразие, отграничивает от психических и органических, которые «существуют лишь в индивидуальном сознании и благодаря ему». Так как социальные явления могут быть рассматриваемы с различных точек зрения, то должны существовать на ряду с общей социологией и конкретные. Реформированная социология отличается помимо различия ясно очерченного предмета еще и специфическими методами. Характерными чертами социологического метода являются: объективность (соц. факты должны рассматриваться как объекты, вещи); социологизм (не индивид, а его сознание исходный пункт исследования, но общество и его коллективное сознание), исторический аспект, различение нормального от патологического, отыскание причин явлений при помощи, главным образом, сравнительно-исторического анализа. Тем не менее, в своем обосновании новой социологии Дюркгейм остановился на полпути. Общество для социологической школы не более как коллективный психический субъект. Основное, что она видит в обществе—это коллективное сознание, являющееся внешним для индивидов. Поэтому ей совершенно чуждо марксистское положение, что производственная деятельность людей составляет основу их совместной жизни. Отсюда тот «объективизм» метода, сущность которого открыл Ленин, критикуя Струве, отсюда метафизический социологизм, который мало что имеет общего с приматом общественного в марксистской методологии. Если к этому прибавить утверждение, что «главным орудием социологических исследований» является метод сопутствующих изменений и что понятие диалектического развития не находит себе места в социологических построениях дюркгеймовской школы, то станет очевидным весь облик учения социологической школы о методе социологии. Тем же характером полноточности может быть отмечена и дальнейшая сторона учения Дюркгейма—его теория социального развития. Основная тенденция исторического процесса заключается в постепенном развивающемся разделении труда между людьми. Причина последнего кроется в изменении моральной и материальной плотности общества, в конечном счете в росте населения. С увеличением разделения труда в обществе увеличивается солидарность между его членами. Устранение существующих в современном капиталистическом обществе патологических явлений возможно на основе развития корпораций, организованных по профессиональному признаку. Путь их организации является путем уничтожения неравенства, так и установления общественной солидарности и моральной сплоченности.

Лозунг солидарности был и остается лозунгом целого общественного течения, отражающего интересы радикальной буржуазии. Дюркгейзм представляет идеологическое выражение ее политических и социальных устремлений. Его мы могли видеть ожесточенно сражавшимся в конце прошлого столетия против клерикализма и военщины, особенно во время дела Дрейфуса. Несомненно, частичным осуществлением его социальной программы была организация парламентского радикального блока во Франции в послевоенный период.

Исходя из указанных выше основных моментов своего учения, автор из «L'année sociologique» рецензируют литературу по разным проблемам обществознания. Некоторым работам посвящается до пяти страниц, много лишь перечисляются. Большим пробелом «Социалистического Ежегодника» является отсутствие оценки советской литературы. Русский читатель не найдет в томе ни одной ссылки на книги, издаваемые в Советской России. Русская эмигрантская литература также представлена чрезвычайно бедно.

Сказанного, нам кажется, достаточно для того, чтобы составить общее представление о ежегоднике.

«L'année sociologique» является, несомненно, интересным предпринятием социологической школы. Он дает обзор большому количеству национальностей и международной литературы с точки зрения дюркгеймизма. Он может служить богатейшим источником для изучения социологических направлений вообще и социологической школы во Франции в особенности.

Ф. Тележников

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — «Литературное наследие». Том I. Из автобиографии. Дневник 1848—1853 гг. Госиздат. Москва 1928. Стр. IV + 748. Тираж 3.000 экз. Цена 5 р. 50 к.

В июле сего года исполняется столетия годовщина со дня рождения Н. Г. Чернышевского, и к этому моменту Госиздат приурочил опубликование неизданных до сих пор его произведений и переписки. До настоящего времени из всего предназначенного к опубликованию материала изданы были только часть дневника за 1853 г. (во 2-й части 10-го тома сочинений Чернышевского, 1906 г.), письма к родным из Сибири (да и то с пропусками писем, задержанных в свое время жандармами и только теперь открытых), письма к Добролюбову, Некрасову и Зеленому (издание «Скопским Рабочим» под редакцией Н. Пиксанова в 1925 г.) и небольшое число его писем в разных периодических изданиях и сборниках. Между тем, имеется свыше 800 писем Чернышевского, до сих пор не опубликованных и имеющих войти в следующие два тома его «Литературного наследия». Кроме того, имеется еще ряд его беллетристических и исторических произведений, написанных в тюрьме и ссылке. Можно пожелать, чтобы Госиздат, не останавливаясь перед коммерческими соображениями, скорее выпустил в свет все неизданные сочинения великого писателя.

В лежащий перед нами первый том «Литературного наследия» вошли два варианта автобиографии Чернышевского с тремя приложениями к ней: дневник за 1848—1853 годы, охватывающий вторую половину его студенчества и жизнь в Саратове перед иступлением в брак, два приложения к дневнику («О том, какие книги должно давать читать детям», 1849 г.) и письмо к «Матери невесты», т.-е. к матери его будущей жены, Ольги Софратовны Васильевой, 1853 г.). Документы эти снабжены примечаниями сына писателя, М. Н. Чернышевского, проф. С. Н. Чернова и Н. А. Лисеева, которому принадлежит и общая редакция издания. Кроме того к книге приложен список упоминаемых в дневнике Чернышевского и разработанный почему-то на две части (русские и иностранцы) и этим порядком затрудняющий наведение справок. Список составлен не совсем удачно: в первых, многие пояснения ровно ничего не говорят и не объясняют; во вторых, в списке не указано, на какой странице данное лицо упоминается вследствие чего обратные справки, т.-е. нахождение страницы, где упоминается данное лицо, по списку, невозможно, а это в сильнейшей степени обесценивает список; в-третьих, он чрезвычайно неполон: достаточно сказать, что при беглом сравнении каких-нибудь двухсот страниц текста с тем же самым мы констатировали около трех десятков пропусков, в том числе в

волю существенных, напр., пропуск Бахметева (стр. 539), возможно, того самого приятеля Чернышевского, который послужил ему прототипом для фигуры Рахметова в романе «Что делать?» и об отношениях которого к Чернышевскому вообще мало известно.

Некоторая небрежность редакции замечается и в самом тексте книги и в примечаниях. Так, в настоящем издании дневник Чернышевского напечатан полностью, с восстановлением тех мест, которые в свое время были выпущены М. Н. Чернышевским. Тем более странно, что в полном издании дневника попадает пропуск против первого неполного издания (напр., на стр. 644, строка 14 сл., где выпущена строка, имеющаяся на стр. 62 дневника в собрании сочинений Чернышевского). Некоторые примечания, сделанные М. Н. Чернышевским, механически перенесены в рассматриваемую книгу, не соответствуя ее содержанию (напр., прим. 3 на стр. 680, взятое со стр. 97 старого издания той части дневника и содержащее ссылку на другую часть 10-го тома, где был опубликован «Словарь к Ипатьевской летописи», в рассматриваемой книге, разумеется, отсутствующий).

Но все эти мелкие погрешности не имеют особого значения и ни в какой мере не умаляют достоинств рассматриваемого издания, за которое наука может быть составителям книги и выпустившему ее издательству только благодарна. Восстановление действительного образа основоположника русского коммунизма и выяснение процесса формирования его воззрений чрезвычайно важны, и этим требованиям разбираемая книга удовлетворяет в полной мере.

Автобиография—или, вернее, отрывки из нее, занимающие около четверти книги—писалась Чернышевским летом и осенью 1863 г. в Петропавловской крепости и осталась незаконченной. Она рисует быт и обстановку 20-х и 30-х годов прошлого века в русской провинции, содержит немало живого материала, интересного для историка, свидетельствует о наблюдательности и огромной памяти автора, но о его собственной жизни не сообщает почти ничего, приводя лишь некоторые отдельные факты из его детства и характеризуя, главным образом, среду, в которой он воспитался.

Центральное место в книге занимает дневник Чернышевского, из которого до сих пор нам известен был только отрывок второй части, касающийся савства Н. Г. к О. С. Васильевой, и опубликованный сыном его в 1906 г. Первая и наиболее существенная часть дневника была использована Е. Ляцким в его многочисленных журнальных статьях о Чернышевском, но выдержки оттуда приводились Ляцким по своему усмотрению (отчасти по цензурным соображениям), и не всегда в точном виде. Следует заметить, что полностью дневник не разобрал и до сих пор. Дело в том, что, опасаясь жандармов, Чернышевский писал свой дневник особого рода скорописью, напоминающей stenogramму, и, действительно, жандармы не сумели целиком разобрать часть дневника, попавшую в их руки (главная его часть сохранилась в бумагах А. Н. Пыгина). Впоследствии М. Н. Чернышевский положил много труда на расшифровку дневника своего отца, и, за исключением отдельных мест, ему удалось прочесть сделанные Н. Г. записи. Теперь дневник становится доступным широкой публике почти в полном виде, и русская историческая наука получает в его лице документ первостепенного значения.

И, прежде всего, дневник важен в том отношении, что по нему мы почти шаг за шагом можем проследить за постепенным формированием философских и политических взглядов Чернышевского. Конечно, сам по себе дневник дает возможность ознакомиться не со всеми деталями того психологического процесса, который привел скромного провинциального юношу, глубоко верующего и проникнутого наивными идеями социальной и демократической монархии, к крайним материалистическим и революционно-коммунистическим воззрениям. Кое-что несомненно прибавит сюда неопубликованная пока пере-

иска молодого Чернышевского, хотя на это особенно рассчитывать не приходится, ибо в письмах к родителям он несомненно воздерживался от выражения этой стороны своих духовных переживаний. Кое-что дают воспоминания современников, имевших возможность наблюдать юного Чернышевского, о главный материал для суждения по этому вопросу доставляет, конечно, то дневник.

К сожалению, последний начал только с середины мая 1848 г., так что записей, относящихся к первым двум годам студенческой жизни Чернышевского, у нас нет. Что чувствовал пылкий юноша, к этому моменту проникнутый смутными гуманитарными симпатиями, при первых известиях о революционных событиях февраля—марта этого года, об этом мы можем только догадываться. Это обстоятельство тем более достойно сожаления, что как раз события 1848 года оказали на молодого студента решающее влияние. Повидимому, именно эти события, во время которых с такими шумом выступили на сцену различные социалистические школы и секты, и пробудили в Чернышевском интерес к социалистической литературе. Но еще до приступа к основательному ее изучению он знакомился с воззрениями разных социалистических направлений по иностранным газетам, по которым сделал общий ходом революции, и уже в записи от 2 августа он готов считать себя сторонником крайней партии, увлекающимся Леру, Луи Бланом и др. и презирающим их буржуазных противников. Характерно, что в той же записи проглядывают его первые религиозные колебания, проявляющиеся скептическое отношение к старым верованиям, стоящим в противоречие с его новыми политическими взглядами.

Глубокое демократическое чувство постепенно приводит Чернышевского к республиканским воззрениям. Уже 20 августа 1848 года он находит, что монархия, даже и проводящая реформы, «есть орудие дурное, приносящее зло к добру». 18 сентября он уже утверждает, что «республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого, правление», и поясняет он, не республика формальная, сохраняющая эксплуатацию одного класса другим, а республика социалистическая, обеспечивающая не только, а действительное равенство людей. Здесь он признает себя «по убеждению в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев». А затем, развивая логически свои взгляды, он отказывается от навязанной ему Гизо идеи социальной монархии, признает монархию венцом и вершущей ненавистной аристократии, придя к тем же выводам, что именно «царская легенда» представляет одно из главных препятствий к народному самоосвобождению. (Запись от 21 января 1850 г.)

Как ни странно, но религиозные идеи держались в нем дольше других традиционных воззрений. Даже переход на сторону материалистической философии не сразу вырвал из его души старые представления, вынесенные из отцовского дома. Только с конца 1850 года его можно считать совершенно порвавшим с религией, которая, впрочем, с 1848 года становилась у него уже чем-то формальным, непрочным, держащимся, как он сам отмечает, «по привычке». Уже ознакомление с Гегелем пошатнуло его традиционные представления, хотя влияние Гегеля на Чернышевского, возмущенного консервативными практическими выводами философа, оказалось не столь глубоким, как можно было ожидать. Зато радикальный переворот в воззрениях Чернышевского произвел Фейербах, с сочинениями которого его первоначально познакомил петрашевец Хаинков, встречавшийся с ним в университете и обративший внимание на выдающегося студента.

Как видно из записей, Чернышевский предвидел, что Фейербах суждено сыграть огромную роль в его жизни, и сначала боролся с влиянием немецкого мыслителя, пытаясь примирить его воззрения с каким-то идеализированным христианством. Но в конце концов материализм одержал победу.

и 20 января 1850 г. Чернышевский отмечает в дневнике, что если бы у него была смелость, то он «я отрицательности был бы последователь Фейербаха; в позитивности, кажется, тоже». Скоро последние колебания Чернышевского прошли, и в начале 50-х годов, как показывает вторая часть дневника, мы встречаем в его лице уже боевого агента, проповедующего безблизкие среди знакомых и издающего над ханжеством Н. И. Костомарова, своего приятеля по Саратову.

Тот же Хаников обратил внимание Чернышевского на произведения Фурье, горячим сторонником которого молодой студент скоро сделался и чьи идеи которого разделял и впоследствии. Как видно из дневника, почти влияние религиозно настроенного Фурье и помогло Чернышевскому временно отстаивать от Фейербаха свою перу. Но не столько чтение Фурье и других социалистов, сколько наблюдение над развертывающейся у него на глазах классовой борьбой, все более утверждало его в социалистических взглядах и превращало в сторонника крайней революционной партии. А пожевательный разгул буржуазной реакции приводил его в состояние ожесточения и делал партизаном красного террора. Расстрел Роберта Блома в Вене доводит его до белого каления. Он желает гибели всех столпов реакции и восклицает: «На виселицу Виндигреша и всех!». Долго еще Чернышевский, несмотря на внешние признаки каления, ждет возрождения революции и захвата власти крайними партиями. А затем внимание его обращается к России.

Внимание Чернышевского к европейским делам вызывает его горячее негодование. Уже 15 августа он с недоумением отмечает в дневнике: «Радеекому даи Георгия 1-й степени. Странно и неприятно». А когда Николай I послал свои войска в Венгрию для подавления революции, озлобление Чернышевского не знало пределов, и он от всей души желал разгрома русских войск. В записи от 11 июля 1849 г. он говорит про себя: «Друг венгров; желаю поражения там русских и для этого готов был бы самим собою пожертвовать».

Но надо помнить, что ненависть Чернышевского к царизму порождена была не столько его внешней, сколько внутренней политикой. Об этом дневник определенно не говорит, но содержит в этом отношении некоторые выходящие намеки. Революция 1848 г. еще усугубила реакционный характер николаевской политики, и без того ненавистной для всех прогрессивных элементов, особенно из начавшего тогда складываться «разночинного» слоя, к которому принадлежал и сам Чернышевский. Последний только случайно не оказался запутанным в дело петрашевцев, на периферии которых он обрелся, будучи знаком с несколькими членами этого кружка, но сам о том не подозревая. «Как легко попасть в историю! — записывает он 25 апреля 1849 г. — Я, например, никогда не усумнился бы вмешаться в их общество, и со временем, конечно, вмешался бы». А арест петрашевцев вызывает у пылкого юноши неблагоприятные мысли и пожелания такого рода: «Эти скоты в роде этих свиной Бутурлина и т. д., Орлова, Дубельта и т. д., должны были бы быть повешены». И если Чернышевский и до того задумывался над вопросом о революции в России, то разгром петрашевцев дал ему новый и решительный толчок в этом направлении. Об этом, между прочим, свидетельствует дальнейшая запись дневника, повествующая о первых попытках одного коммуниста вести пропаганду в народе.

Судя по записи от 21 января 1850 г., именно практика российского абсолютизма окончательно излечила Чернышевского от мечтаний о социальной монархии, благотворительствующей народным массам и подготовляющей их к участию в политической жизни. Но, отказавшись от этого мечтания, Чернышевский вместе с тем поставил крест на формальной демократии. В той же записи он заговаривает уже о непосредственном переходе от самодержавия не к буржуазной республике, а к такому государственному строю, при котором власть будет принадлежать самим трудящимся: «начнется народ-

ное правление, правление de jure и de facto перейдет в руки самого нищего и многочисленнейшего класса (земледельцы + поденщики + рабочие), то чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных отступлений к самодержавию (во всяком случае нашим) и управлением, которое оно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Такова эта первая, зачаточная формулировка идеи советской власти, принадлежащая молодому Чернышевскому и имеющая таким образом почтенную 80-летнюю давность.

Чернышевский все больше задумывается над мыслью о русской революции и своей роли в ней. Уже из записи 10 декабря 1848 г. видно, что он решил посвятить свою жизнь «для торжества свободы, равенства, достоинства и довольства, уничтожения нищеты и порока». А год спустя, как свидетельствует запись от 27 мая 1850 г., он задумывается уже не о конкретных способах борьбы с самодержавием, мечтает о заведении собственной типографии и о напечатании подложного манифеста, долженствующего вызвать крестьянское восстание (от последней мысли он, впрочем, тут и отказывается из опасения возбудить в народных массах недоверие к активной пропаганде). В конечном счете он приходит к тому выводу, что лучше написать прямо воззвание к восстанию, в резких красках описавшие настоящие порядки и внушающее массам, что они — сила и могут изменить существующий строй в своих интересах. Вот когда в уме его зародилась мысль о воззвании к барским крестьянам, которую он осуществил еще 11 лет и за которую погиб.

И кончается эта замечательная запись следующими словами: «Я теперь чувствую себя не просто как за несколько часов перед тем, когда я читал различные нахватанные из газет мнения, которые делают его расхождением к социализму и врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в изменении положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, и тогда я теперь я почувствовал, что я, может быть, способен на поступки отчаянные, самые смелые, самые безумные». И Чернышевский фиксирует, что «этот ток мыслей и эта перемена вся произошла в 8-м часу вечера 15-го 1850-го года».

В этот знаменательный день Чернышевский перешел из юношеского возраста в зрелый. И встречающиеся во второй части дневника записи о нем и о его невесте, что он не вправе связывать ничьей судьбы со своей и что он намерен принять активное участие в неизбежной крестьянской революции, являются лишь выраженным решением, к которой он пришел к концу университетского курса.

Дневник Чернышевского представляет немалый интерес и с другой стороны, поскольку он дает много материала для оценки его характера. Перед нами встает глубокая, нежная, любвеобильная натура, полная гордости и готовности к самопожертвованию, не имеющая ничего общего с пугалами, которые впоследствии выводили охранительные писатели под названием «нигилистов». Свою любовь юный Чернышевский распространяет на обиженных и оскорбленных современным строем и, в первую очередь, на женщин, положение которых представлялось ему особенно трагическим. Только на представителей политического и экономического угнетения не распространялась эта любовь, и к ним благородный юноша чувствовал глубокую ненависть, некоторые отголоски которой в дневнике мы позже найдем. Сам Чернышевский, склонный к самообичиванию, быть может, умножил свои слабости по сравнению с поставленной себе грандиозной задачей, изображает свой характер самыми отрицательными чертами: он излагает себя моральным ничтожеством, человеком нерешительным, дряблым и трусливым. Но это лишь показывает, какие высокие требования он предъявлял

«революционеру. Ибо тот же дневник дает достаточно материалов для критической проверки этих уничтожающих отзывов Чернышевского о своем характере, отзывов, к которым этот суровый к себе самому человек любил прибегать и позже (как, напр., в романе «Пролог»). На самом деле он не был ни нерешительным, ни трусливым человеком, что он показал всей своей жизнью.

Много еще можно было бы сказать об этом замечательном человеческом документе, но рецензия наша и без того слишком разраслась. Можно только пожалеть о том, что благодаря значительным размерам и обилию мелких деталей, для большинства современных читателей неинтересных, книга эта не получит того широкого распространения, какого она заслуживает, и в частности не будет прочтена нашей молодежью, которая в дневнике основоположника русского коммунизма нашла бы богатейший материал для собственного морального развития.

Ю. Стеклов.

Экономика и идеология.

М. Рейсиер. Идеология Востока. Очерки восточной теократии. Госиздат 1927 г. 344 стр.

Книга проф. Рейсиера не только дает в связной* и увлекательной форме изложение идеологий Востока (Египта, хеттов и Вавилона, Израиля, Китая, законов Ману, буддизма, конфуцианства), но только дает анализ — этих идеологий, она является в сущности первой широко задуманной попыткой найти корни их в классовом составе общества, в классовой борьбе, проследить соответствие этих идеологий их экономическому базису.

Богатое конкретное содержание этой книги ни в какой мере не поддается пересказу в рамках небольшой журнальной рецензии, — нам придется остановиться только на некоторых сторонах книги проф. М. Рейсиера, а именно на тех, которые, на наш взгляд, вызывают возражения.

Начнем с рейсиеровского анализа корана. Религия корана построена у Рейсиера целиком и полностью на торговле. Доказать этот тезис путем марксистского анализа — весьма благодарная задача. Но как поступает при этом проф. Рейсиер? «Перед нами, — говорит он, — (здесь) бог не только в качестве индивида, как мы его встречаем на любом рынке (?), но и прямо в образе какого-то обожествленного, на небе водворившегося всемогущего лица», «это просто обожествление крупного коммерсанта — капиталиста (!), который в наперед рассчитанной безошибочной игре ставит ловушку несчастной бедноте и забавляется тем, как его (ее?) маленькую хитрость он обиждаст своими ловкими и страшными ухищрениями». Не говорим уже о том, что здесь среди бедунов аравийской пустыни оказываются «капиталисты»; с этим термином проф. Рейсиер обращается несколько легкомысленно на всем протяжении своей книги, «капитал», «капиталисты», даже «крупный денежный капитал», «торговый капитал» встречаются у него и в древнем Китае, и в древней Индии, и у Израиля, чуть ли не во времена Каинураба в древнем Вавилоне... А между тем известно, как отчалал Маркс от коммунизма за то, что тот употребляет термин капиталист для древнего Рима. Впрочем, в конце концов, это — вопрос терминологии, и автору, конечно, отлично известно, что капитал есть определенное общественное отношение. Важнее другое: на каком основании проф. Рейсиер считает возможным столь категорически превращать бога Корана в «небесного капиталиста» (этот эпитет тоже не раз встречается у Рейсиера), говорить о «небесном собственнике и его земных арендаторах», о «райской акцио-

нерной компании», о «божественной торговле», о «миллионерах заприкрытая», о «богачах небес», об «адской долговой тюрьме», о «закладах (пленных) в божественную сокровищницу для получения воистину великодушных процентов», о «религиозной бухгалтерии» и проч., на каком конкретном основании зиждется аргументация автора, что «религия мусульманства задана торговым капиталом специально для своих нужд»?

В параграфе под заглавием: «Аллах - хозяин» Рейснер приводит цитат из Корана, но все они, на наш взгляд, того же стереотипного описания, что описания всемогущества бога в других религиях. «Он бог единый, крепкий бог», «он полновластен над своими рабами» и т. п. Для нас неведомо, что на основании этих ссылок Рейснер считает возможным утверждать: «Если мы обратимся к самому понятию божества в Коране, сразу же (!) должны будем отметить специфический характер торгового индивидуалистической идеологии». В первую голову, например, автор приводит тот аргумент, что «он (бог Корана) не рождал и не рождает, ни к кому-либо не бывало». Воля ваша, а мы никак не можем усмотреть здесь «торговую» идеологию... «Напряжение личного начала в божестве здесь есть, но при чем тут торговля? В других религиях это начало не более развито... Совершенно непосредственно Рейснер переходит отсюда к характеристике магометанского бога, как «весьма энергичного и деятельного хозяина, который ведет дела своим преимущественно без посредства приказчиков и сам определяет, кого ему желательно пустить по одной роге и кого — по другой». Нам кажется мало вразумительной «аналогия с делами богатого и мудрого коммерсанта», который «предпочитает, — так это принято в хороших коммерческих сношениях, иметь дело с отдельными людьми лично». Уже гораздо убедительнее кажется нам излагать бурных ориенталистов, объясняющих фатализм в магометанской религии характером аравийской природы, пустыни.

Проф. Рейснер приводит и другие цитаты из Корана, как «подтверждение, что мы не преувеличиваем основную точку зрения». «Радуйтесь, вышедшие в торг», — говорит пророк, — «которым вы торговались с ними» (бог «бог купил у верующих жизнь их и имущество их, платя им за них ризы»). «творящие милостыню дают взаем богу хороший заем, получают от бога отплату», они — «закладчики бога», «если вы дадите в ссуду богу хороший заем, он вдвойне отплатит вам». Эти цитаты, действительно, говорят о торговле, они, конечно, сильнее предыдущих, но и они кажутся нам не столь убедительными. Этот «торг с богом», эта «плата» раем, эти «ссуды» богом могут быть поняты так же просто, как образные выражения, как метафоры. В лучшем случае, они показывают, что Коран выражается сложным путем, что на стиле Корана отразились привычки и отчасти (только отчасти!) — психология торговцев. Это, однако, не означает еще, что весь характер Корана и магометанской религии является по существу идеологией «торгового капитала». Кстати, проф. Рейснер исходит из тезиса торгового характера мусульманской экспансии как от нетребующего дальнейшего доказательства; а между тем буржуазные ученые держатся совершенно других взглядов и приводят довольно веские доказательства своей точки зрения. Еще в последней четверти 2-го тысячелетия до нашей эры в Иеземе существовало царство минеев, которые были посредниками в торговле между Индией и Южной Аравией, с одной стороны, и Египтом, Палестиной и Сицилией, — с другой; но уже эллинистический период, когда торговля между Индией и Египтом шла по Красному морю мимо Йемена, был временем торгового и политического упадка Западной Аравии. «Аравия времени Иезема находилась в последней стадии векового упадка». Новая школа (J. H. J. Annali dell'Islam, 7 томов, 1905—1914 гг., Studi di Storia Orientale, 1905—1914 гг.)

ка, 1911—1914 гг., цит. в журнале «Новый Восток» 1923 г., № 4) строит происхождение ислама на климатических изменениях, на высыхании пустыни, видит в исламе последнее крупное эмиграционное движение семитов из Аравии. Этот взгляд разделяют такие компетентные ученые, как Г. Викилер, Л. Кинг, К. Беккер, акад. Бартольд и др. Г. Ламменс (*Le berceau de l'Islam*, 1914 г.), в согласии с Вельгаузеном, Беккером и Казтани и в противоположность Ренану и др., считает устаревшим «шаблонное положение, что ислам — религия, рожденная при полном свете истории» (Там же ¹⁾). М. Рейснер, однако, — повторяем, — не приводит конкретных доказательств своей точки зрения о том, что ислам создан торговым капиталом... Правда, он ссылается на то, что «еще характернее, нежели финиковые пальмы оазисов и стада верблюдов и овец и табуны лошадей, еще характернее их в Коране—корабли и мореходные суда среди волн бурного моря»; но это—порочный круг, «характерность» этого упоминания в Коране именно и требуется доказать. Рейснер ссылается также на «удачные опыты Магомета по организации торговой конкуренции города Ятрыба с Меккой и использование системы грабежа по отношению к караванам Мекки»; эти эпизоды толкуются буржуазными учеными в другом смысле. Конечно, нельзя провести грань между типическим набегом и притливной торговлей, оба момента отчасти участвуют также в эмиграционном движении из пустыни, которое подчеркивает новая школа, но все это не дает еще права объявлять «основной задачей» арабской экспансии «расширение торговых связей и божеского рынка на возможно большее количество людей» (Рейснер) и называть обращение неверных в ислам «присоединением их к великой торговой компании Корана». В лучшем случае, не перенесены ли сюда черты из позднейшей истории ислама? Древние финикийцы вели торговлю, евреи диаспоры, в частности в средние века—занимались денежными операциями, были не в меньшей степени, нежели арабы, представителями «капитала»; однако они были противниками прозелитизма, они не ставили себе целью «расширение божеского рынка». Нам представляется, что автор слишком увлекается своей тезой о том, что ислам возник «под непосредственным давлением капитала и в первую голову—капитала торгового». Поднимая *новое*, вскрывая зависимость идеологии ислама от экономического базиса, М. Рейснер так захвачен этой проблемой, что допускает преувеличения и натяжки. В конце концов, и сам базис (как его понимает М. Рейснер) нуждается еще в доказательстве.

Остановимся теперь на том, какую классовую подоплеку находит М. Рейснер в религии ислама. Как мы уже видели выше, Рейснер рисует бога Корана, как капиталиста — коммерсанта, который «ставит ловушку несчастной бедноте». Но почему непременно бедноте, только ей? На чем основывается подобное утверждение? Да и на земле коммерсанты имеют в общем дело с коммерсантами же, а не с беднотой. Упомянутое утверждение автора покоится только на цитатах из Корана, что «бог самый искусный из хитрецов», что если люди «ухитрились своей хитростью», то и бог «ухитрился своей хитростью», так что они и не догадались». Но ведь это относится ко всем людям, а не только к бедноте... Пусть это подчеркивание Кораном «хитрости» бога не только метафора, согласимся, что оно является действительно иллюстрацией, отражением торговой, точнее — торговашеской, психологии. Но классового момента здесь нет. «Благодаря материальной и рационалистической окраске Корана,—читаем мы у проф. Рейснера,—

¹⁾ Г. Грималье (Mohammed, I. Thl. Das Leben. 1892) доказывает, что проповедь Магомета была не чем иным, как проповедью—социализма!

сьма прозрачно (?) рисуется нам подлинная земная и вместе с тем слабая подоплека противопоставления рая и ада, которое мы не раз встретим весьма мистических учениях важнейших религий, ибо рай есть не что иное, как дальнейшее развитие тех благ, которые дает богатство, а — те учений, которые и без того присущи бедности, и в особенности нищете. агробная жизнь — копия Земной жизни, это так; но сам же М. Рейснер еодиократно подчеркивает, что «основа всей божественной торговли, льды и реки в раю», — спрашивается: разве реки являются, на земле достижимым одних богатей, а засуха — уделом бедности, «и в особенности нищеты»? Нам представляется, что в этой «божественной торговле» на первом плане — природа страны, а несколько — классовой момент.

Такова же аргументация проф. Рейснера относительно древнего Виллона. Цитируя слова Шантепи де ла Соссей о «семи злых духах, в которых олицетворены все страшные и болезненные явления природы, все разрушительные силы, все болезни и несчастья, духах, которые называются бурными божествами и наподобие бури нападают на людей и на скот», и т. д. Рейснер понимает это, как «божеский террор над трудящимися в пользу имущественных и богатей»: «земным палачам всегда помогает готовая армия палачей небесных». Эта концепция «небесного террора» — одна из самых пафосных в книге; конечно, власть имущие и жрецы пользуются страхом небес и ада для устрашения и приведения в покорность трудящихся¹⁾. Но с другой стороны, ведь страшным явлениям природы и болезням подвержены бедные одинаково с богатыми. Поэтому нельзя утверждать, что такого рода идеологии возникают исключительно на классовой подкладке; они могут возникать и как отражение зависимости человека от природы и ее губительных явлений, и лишь впоследствии, с зарождением классов, эти идеи были использованы с целью устрашения трудящихся.

Покладая отдел о Корае, мы желали бы отметить еще следующее: «В Корае», — говорит Рейснер, — мы находим совершенно новое законодательство, непосредственно отвечавшее запросам и определенной хозяйственной среды и довольно узко взятого общественного класса». Поскольку речь идет о законодательстве, о сакральном праве, то устанавливать связь их с экономикой легче, нежели доказать происхождение самой религии на почве экономики. Тезис Корае: «Бог позволил прибыль в торговле», а также признание несправных должников и т. п. относятся не столько к самой религии, сколько к области права.

Переходим теперь к буддизму. Здесь мы натываемся на следующее противоречие. На стр. 229 мы читаем: «Исходным пунктом глубокого пессимизма Будды является не созерцание социальных бедствий, а естественный факт старости, болезни и смерти», «в его основе лежало менее всего оциальное разочарование», «аскетизм от пресыщения встречался с глубоким отчаянием мелких собственников (1) от внешних условий» (и черпнуто нами; здесь, между прочим, тоже уместен вопрос: разве от катастрофических явлений природы не страдали также крупные собственники?). А на стр. 233 мы читаем противоположное: «Как бы ни рисовало космическое страдание в качестве исходного пункта буддизма, мы знаем, что не оно было его основанием... Самопротиворечия (?) старинного хозяйства были истинным основанием пессимизма». Религия общего страдания, провозглашения Буддой, выросла на «жорной и нищете (с тем) разлагающейся почве княжеского двора патриархального раба». Это противоречие проходит красной нитью через всю главу о буддизме в изложении Рейснера. При этом автор не доказывает, а лишь утверждает

¹⁾ Сюда же относится обратная черта: религия обещает бедняку в мире за его долготерпение на земле всякие блага на небе.

оказ между «разложением княжеского двора» и «религией всеобщего (космического) страдания», — точнее, исходит от нее; это такой же порочный круг, как вышеприведенное толкование Корана. В результате оказывается, что к буддизму одинаково приходят все классы: и аристократия, и народ, и городское купечество. С одной стороны, «буддизм перерабатывает старое барское великодушие», «в категорию святых-нищих прежде всего вливаются чужестные слон обеспеченных и эксплуатирующих классов», — это «мистика разлагающейся аристократии», «характерным является то обстоятельство, что как святой Франциск Ассизский, так и первые буддийские адепты принадлежали к состоятельным кругам» (Рейснер даже специально останавливается на влиянии женского общества на царевича Будду, хотя в примечании указывает на то, что ряд ученых установил мифичность личности Будды; с другой стороны, аскетизм и монашество рекрутируются из масс трудящихся, которые, «особенно в рамках несвободного общества, дают целые народы бродячих нищих, бегут этим путем от невыносимых условий труда» и т. д. Итак, с одной стороны, к буддизму приходят аристократия, эксплуататорские классы, с другой — массы трудящихся. Это противоречие существует в самой действительности. Впрочем, Рейснер удачно подводит его к одному классовому знаменателю; «вонзению можно сказать, что эти святые, вышедшие из рядов господствующих классов, — лучший авангард их классовой защиты... значение класса ослабляется, на первый план выступает вопрос о личной добродетели и спасении и (кроме того), при помощи нищенства и бродяжничества великолепие разрешался вопрос о безработице и перенаселении в эпоху экстенсивного хозяйства... не надо забывать, что борьба с нищенством и бродяжничеством, так же как борьба с церковью и секуляризация церковных имуществ, бывших одним из фондов прокормления нищих, началась лишь в то время, когда появились первые мануфактуры и безработный нищий люд был принудительно прикован к станкам промышленного капитала» (ниже мы встретим у Рейснера еще дальнейшие параллели между буддизмом и реформацией в Европе). Проф. Рейснер подчеркивает, что буддийские монахи, даже вышедшие из среды народных масс, в своем отказе от материального мира «вместе с тем являются активными участниками классовой розни и борьбы; говоря современным термином, это — профессиональные примирители и соглашатели... они одинаково принимают и палача и его жертву и рекомендуют непротивление... как очевидно, классовое значение подобной теории весьма велико».

Но М. А. Рейснер не ограничивается этим анализом классовой подоплеку буддизма. Он утверждает, что в буддизме имеются «уже крупные следы влияния нового торгового класса с его действительным демократическим рационализмом, необходимо связанным с расчетом, бухгалтерией и торговой спекуляцией». Это кажется нам некоторым *embarras de richesses*. Не только «разлагающаяся аристократия» и «трудящиеся массы», но и «городской рационализм»! «Готама (Будда) дал выражение дворянскому отчаянию разлагающегося замка старых раджей и воспользовался для этого новым языком философского рационализма, этим он уже неизбежно внес в свое учение и то, чего он никак не ожидал (итак, Будда — историческая личность?). Вместе с отрицательными суждениями по адресу прошлого незаметно вкрадилось в его проповедь положительное суждение на пользу городского класса, казалось бы, ему достаточно чуждого». Сам автор подчеркивает: «получается как-будто непримиримая противоположность: государство породило культуру и торгового капитала (! этот капитал, оказывается, чуть ли не профессиональным основателем религий...) зовет к материальному благу, а буддизм целиком его отрицает». Казалось бы, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань... М. Рейснер находит сле-

дующий выход: «Здесь,—говорит он,—пришли на помощь взвешивающие уступки... буддизм далеко не всех звал немедленно на путь отречения, аскезы и высшей мудрости; для слабых упасак была оставлена практичная жизнь и профессия, а вместе с тем, и возможность материального успеха. В этих «уступках», т.-е., в сущности, в полиом эклектизме и синкретизме автор видит даже суть буддизма: он много говорит в этой связи о «среднем пути» буддизма. «Подобно тому,—говорит он,—как «золотая середина» Аристотеля сразу же (?) дает нам указание на средине классы общества, идеологом которых был знаменитый Стагирит, срединность буддизма для бесспорный (!) показатель того, что не только за его рационализмом стояли торговые классы тогдашней Индии, но что, в частности, он обслуживал и именно те средние городские круги, которые составляли основной центр тогдашнего классового общества, именно им было присуще стремление к «срединному пути». «Эти круги были против крайностей аскетизма, но так же против пышности раджей». «И не даром, в основании царства праведности Будда говорит о своей проповеди, как о теории срединного пути, далеко от всяких крайностей, ибо он ведет к душевному миру, к возвышению мудрости, к совершенству просвещения, к нирване». Нам представляется, что под крайностями Будда разумеет здесь человеческие «страсти», это—свое игнорирование, отрицание классов, а не классовая подоплека... И во каком случае, совершенно не understandably, каким образом можно считать нирвану,—а, ведь, здесь нирвана определению отождествляется с средним путем,—соответствующей запросам торгового класса и рациональной присущей культуры? Уже гораздо правдоподобнее, что нирвана, учение о близком небытии, «обслуживает» крестьянство, «мелких земледельцев», отвавшихся в борьбе с катастрофическими явлениями природы. Макс Вебер так отмечает, что рождение буддизма связано с городским периодом в истории Индии. Но отсюда еще далеко до провозглашения адекватности самой нирваны условиям и нуждам «торгового капитала», как это делает Рейснер.

М. Рейснер идет еще дальше. Он сопоставляет рецепцию буддизма империей индийского царя-реформатора Ашоки с режимом просвещения абсолютизма в Европе, «закон санскары и кармы» с «естественным законом» и т. д. Автор проявляет здесь широкий размах и смелый полет мысли, эпохально грандиозные концепции, но в них неизбежно вкрадывается известная доля упрощения. Проф. Рейснер дает мастерское изложение философии буддизма, можно согласиться также с его взглядом на буддизм, как на ультра-рационалистическое учение: приоритет сознания, спасение через акты сознания, ведущие к подсознательной интуиции, всепонимание личности хотя и призрачной (сам Рейснер подчеркивает, что рационализм этот дичит «в нелепейшей форме»); но трудно последовать за автором в его попытке свести этот рационализм на «обслуживание» торгового класса, она представляется нам натяжкой. Повторяем: М. А. Рейснер поднимает марксистскую новую ¹⁾, он—пионер в очень трудной области и, будучи захвачен широким манианием перспективами, увлекается в своем изложении,—этим обобщением преувеличения.

«Сельское хозяйство,—говорит проф. Рейснер,—было неразрывно с истреблением массы живых существ (далее говорится о черве, перелетном насекомом, о свинье, зарезанной на сплодном дворе), без чего как и не мог просуществовать городской капитал. Торговые сделки, носимые на добровольности и равенства, были глубоко отличны от крепостничества (с

¹⁾ Рейснер подчеркивает, что «известный исследователь буддизма Ольденберг произвел небезынтересный классовый анализ первых приверженцев религии Готама». Но Ольденберг ограничивается констатированием, что это были или и юноши из знатнейших кругов общества».

барачной и жестокой кулачной расправой над обзаванными и крепостными... Неудивительно, что как раз городские круги внесли в идеологию разлагающегося барства глубокое отвращение к насилью и грубости, примитивной животности сельского быта, истреблению живых существ».

Здесь получается целый клубок противоречий: речь идет то об убийстве животных, то о расправе над людьми, учение о страдании взято из юмической сферы, а с другой стороны проф. Рейснер подчеркивает, что «чувствовать страдание в мире можно лишь тогда, когда оно слишком болит в ближайшей социальной, а следовательно, и классовой среде», — как же совместить с этим, что именно горожане взяли на себя почин разочарования примитивной жестокостью сельского быта? («запрет убийства живых существ привлекал (особенно) людей из торгового класса»). Впрочем, это можно оставить в стороне. Важнее следующее: Рейснер приводит аскетизм джайнизма, опередившего, а частью конкурировавшего с буддизмом, к секте с первоначальным накоплением. «Заповеди их (джайнов) совершенно естественно (!) совпадали с моралью ранне-капиталистического накопления... Честность купцов-джайнов приобрела всеобщую известность. Добрая половина торговцев оказалась в руках, если не монахов, то джайнистских мирян... Бережливость и воздержанность торговцев из этой секты дали им добрую славу, а взаимная поддержка — экономическую силу. Отказ от мира здесь привел в известной степени к победе над ним». Прежде всего, отметим, что мораль ранне-капиталистического накопления вовсе не совпадает (к тому же, еще «совершенно естественно») с заповедями милосердия, о котором здесь идет речь; Маркс, как известно, в совершенно других красках рисует первоначальное накопление... Рейснер заимствует аргументы относительно джайнов у Макса Вебера, но у последнего речь идет не о милосердии джайнов, не о религии страдания, а об аскетизме в связи с бережливостью и накоплением. Ту же тему Макс Вебер развивает в «Протестантизм этике и духе капитализма», но аскетическое воздержание далеко не просто связывается у него с капиталистическим накоплением; сюда привходит религиозная идея призвания-профессии (Лютер), объявление богатого множителем божьего наказания, эволюция кальвинистского учения о предопределении и постулат доказать на деле (своей хозяйственной деловитостью) факт своей избранности, наконец, «трансцендентная идея наживы», притом ради прибыли. Это не похоже на рационализм, который фиксирует у проф. Рейснера, как главная черта торгового капитала и его идеологии. У Рейснера это происходит гораздо позже: «Реформация при помощи евангелия непосредственно благословила приказок и мастерскую, возвела в ряд спасенных одной верой и личной providения каждого лавочника и мастера, и тем самым приспособила религиозную и нравственную идеологию к существованию и деятельности нового выступавшего на арену истории буржуазного класса». Заметим в скобках: здесь, где действительно мог бы фигурировать торговый капитал, проф. Рейснер вместо него говорит о лавочниках и мастерах, как о новом классе, а, между тем, «лавочники и мастера» уже скорее типичны для старого режима, для средневековья. Проф. Рейснер прибавляет еще следующее: реформации, как-никак, приходилось приспособлять для новых целей Библию, но для буддизма не было надобности в таких приспособлениях, он сразу явился, как религия городского капитала и его «рационализма»¹⁾.

Мы не будем останавливаться отдельно на других разделах книги проф. Рейснера. Остановимся еще только на его общей установке. С одной стороны, он заявляет: «истинный корень восточных религий в магии, с

¹⁾ Другим примером подобных утверждений автора является следующее: «Смещение оброка, арендной платы и налога еще больше облегчает превращение крупного собственника в носителя благодати (!) и религиозной истины» и т. д.

другой, он подчеркивает, что необходимость упорного труда по борьбе с капризной природой сделала восточного земледельца сугубо рационалистическим и отразилась на «трезвом юридическом мышлении и рациональных идеологиях Востока (этой же необходимостью объясняется автором *слабое* распространение рабства на Востоке в сравнении с Западом). Итак, *магия* и рационализм. С одной стороны, именно местная природа способствует рационализму крестьянина, с другой стороны, та же природа, засуха, наводнения и пр. способствуют магической идеологии. Помимо этого *контрастного* противоречия изложение осложняется еще тем, что *магия* в идеологии оказывается результатом социального неравенства... Проф. Рейснер все время говорит о мессианстве, как *магии*. В конце концов, *получается* впечатление, что он под *магией* понимает просто чудесное в религии, т.е. сущности, самое религию вообще¹⁾. Определение *магии* индиге в *книге* не дается, в одном месте говорится с «*дологическим мышлением*», при чем так как-будто отождествляется с мистикой, раз—два скользя говорится о *магическом* культе, как особом способе власти человека над внешними силами («жрецы непосредственно управляют небесными силами»), но, в общем, *о* *магии* применяется автором без дальнейших объяснений и для самых различных стадий, в том числе также для весьма позднего времени. Надо сказать, что это обстоятельство затруднит среднему читателю чтение *книжки*, в *общем* написанной легко и увлекательно. Среднему читателю не всегда будет *ясно* что понимает автор под «*магическим оформлением*». Относительно религии Египта, верований Вавилона, теократии брахманизма и государственных религий Китая проф. Рейснер пишет: «в этих верованиях магическое объяснение религии совершенно (!) очевидно уже благодаря тому, что в них мы видим прямое перенесение технических запросов в религиозную сферу; *магия* не может сомневаться (почему такая ультра-превосходная степень утверждения?) в наличии магической техники там, где, как в Египте, мы находим прямое обожествление несущего влагу и удобрение Нила, вызывающего *рождаемость* солнца и самого организационного аппарата по регулированию разливов в лице фараона; так же очевидна магическая сторона религиозных систем Вавилона, где прямо действуют и луна, и солнце, и звезды, и вода и вода,—все стихийные силы, в качестве то дарящих, то карающих *идеи*. Нам кажется, что эта установка, напротив, может вызвать сомнения в *ясном* случае, у неподготовленного читателя. «Обожествление» Нила, обожествление луны, солнца и стихийных сил читатель привык понимать, *как* обожествление природы, в частности, на почве ее значения в экономическом смысле, но М. А. Рейснер тщательно избегает этого последнего понятия, и заменяет культ природы термином магическая техника, *повидимому* *отрицая* даже для поздних стадий обожествление и культ природы без *магии*.

В заключение еще одно замечание методологического характера. Проф. Рейснер дает в своей книге марксистский анализ идеологий Востока. В *первую* очередь и главным образом, он делает это в том смысле, что старается вскрыть классовый характер этих идеологий. Однако экономической *структуры* идеологической надстройки (между прочим, автор избегает термина: *базис* и надстройка) не ограничивается классовым составом общества, тем *более* те времена, когда создавались столь древние идеологии и когда *классовое* расслоение и классовая борьба, надо полагать, существовали еще не *полностью*. Что касается таких, явно экономических моментов в религии, как *земля*, проса и хлеба у китайцев, поклонение мифическому «*божеству*

¹⁾ Если мы правильно понимаем нижеследующую цитату, то проф. Рейснер определенно отождествляет религию с *магией*: «Конечно,—говорит он,—религия Китая есть все же религия, поклонения предкам, духам и небу носит *определенный* характер магического действия».—другими словами, религия то, что носит *характер* магического действия?

«крестьянину», который обучил китайцев земледелию, и основательнице шелководства (есть даже особые боги пушек, боги фарфоровых печей, боги пекинского запасного магазина и т. п.), то Рейснер, повидимому, относит их не к экономике, а к технике, эта религия,—отличается «резко выраженным утилитарным и техническим (подчеркнуто нами) характером». В другом месте Рейснер говорит об обожествлении Нила, как о «прямой перенесении технических (!) запросов в религиозную сферу». Но разве можно утверждать, что разливы Нила и даже искусственное регулирование их относятся к технике, а не к экономике? Противопоставление техники и экономики тоже не мотивировано, даже не сформулировано ясно в книге, «будет лишь путать читателя. Граница между экономикой и техникой трудно провести даже в наше время (понятие производительных сил!), тем паче это трудно для древнейших времен¹⁾».

Ф. Капелюш.

К методологии современной буржуазной политической экономии.

Alfred Amonn. «Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie». Zweite, erweiterte Auflage. Leipzig und Wien. 1927.

Рассматриваемая книга, как само заглавие указывает, состоит из двух основных частей: 1-я часть посвящена предмету, 2-я часть основным понятиям теоретической экономики. Современное состояние теоретической экономики характеризуется, по Амонну, с одной стороны, богатством научно-разработанных деталей, нуждающихся в систематизации для построения общего научного целого, с другой стороны, многообразием систем внешне между собой сходных, но внутренние непоследовательных и противоречивых. Только традиционная формулировка, что «политическая экономия—наука о народном хозяйстве», создает видимость единства различных систем, так как с понятием «народное хозяйство» в обыденном словоупотреблении связано представление об однородности известного круга явлений, фактов действительности. Эта безотрадная картина ведет непосредственно к проблеме метода, отражающей хаотическое состояние теоретической экономики. Основной недостаток всех исследований как о методе в целом, так и отдельных деталей методологии—продолжает Амонн—отсутствие объективного критерия, который мог бы явиться надежной руководящей нитью исследования. Отсутствовал правильный метод для разрешения проблем методологии, вместо того, чтобы исследовать сущность этой проблемы оставались на поверх-

¹⁾ Тогда как в других своих утверждениях проф. Рейснер допускает значительную долю упрощательства, здесь, напротив, он затеняет понимание своей мысли. В самом деле, как понимать его противопоставление, с одной стороны, религий Египта, Вавилона, брахманизма и Китая, в которых он находит «прямое перенесение технических запросов в религиозную сферу», с другой стороны,—библию и корана, которые «в отличие от вышеприведенных религий переносят магическую задачу из области техники в область экономики, заинтересованы не только в отдельном успехе тех или иных хозяйственных предприятий (жатва, размножение скота, здоровье, рабочая сила), но и в общей преуспешности всего хозяйства в целом, так же как в политической победе и господстве? Все это сказано в высшей степени тавтологично. Чего доброго, это истолкуется в том смысле, что жатва это—техника, а торговля—экономика... По всем видимостям, проф. Рейснер под «техникой», под «техническими запросами» понимает «магическую технику», роль жрецов, в «отделении успеха» и т. д., их власть над небесными силами. Но все это, повторяем, говорится в книге хотя и достаточно часто, но как-то наспех, без каких-либо попыток не только доказательств, но даже объяснений, даже без более или менее ясной формулировки.

ности словесных формулировок (стр. 11). Единство же научной системы возможно лишь при наличии логически единого и однородного объекта мышления. Характер объекта обуславливает связь отдельных частей познания и место в целом систематического научного знания. Конструирование объекта теоретической экономики встречает целый ряд затруднений, ибо экономическая проблема метода должна ориентироваться, с одной стороны, на принципы логики, с другой, на фактическое состояние теоретической экономики. Амоии не задается целью построить объект несуществующей науки, — исходит из факта ее существования. Но в кругу проблем, входящих в состав этой науки, имеется целый ряд чужеродных проблем, которые относятся к технике, психологии. Однако даже поверхностный анализ может констатировать основную группу проблем, без которых немислима теоретическая экономика и которые не сходят со сцены этой науки в бурном потоке сходящихся систем и направлений. Эти основные проблемы имеют однородную логическую структуру, характеризуются одними и теми же формальными признаками. Отсюда вывод — все, что удовлетворяет этим формальным признакам, — входит в сферу теоретической экономики. Задачей своего исследования Амоии считает установление объекта теоретической экономики. Для этого необходим анализ своеобразия природы основных проблем этой науки (стр. 17). Таким образом, путь исследования объекта теоретической экономики Амоии следующий: основные проблемы — их формальные предпосылки — объект теоретической экономики. По этой схеме по существу и построено исследуемая книга. Прежде чем перейти к формальному анализу предпосылок основных проблем, Амоии в главе «Zur Problemstellung» устанавливает методологические принципы, которые должны быть положены в основу учения о предмете. Теоретическая экономика, как наука эмпирическая, оперирует — по Амоии — на факты «Объект опыта» (Erfahrungsobjekt) — отмеченный потоком непрерывного изменения, выступающий, как нечто ответственное и преходящее, дается объекту до всякого мышления. Научное мышление конструирует объект познания — целесообразно и сознательно, оно интересуется законом явлений непосредственно объекту. Таким образом объект познания и объект опыта не идентичны. «Он (объект познания) — A. P. действителен для объекта опыта, но не совпадает с ним» (Es «gilt» für den Erfahrungsobjekt, aber es ist nicht congruent mit ihm). Своеобразие объекта познания, определяет специфичность, своеобразия науки. Объект познания, как продукт изолирующей и обстрагирующей мыслительной деятельности, как совершенно различный и необходимо отличный от объекта опыта, представляет собою чисто мысленное построение, значение и своеобразие которого определяет значение и своеобразие науки» (стр. 25). Но как может ставить себе двоякого рода цели. Либо она может интересоваться особенным и индивидуальным, описанием фактов, происходящих при определенных обстоятельствах времени и места, — либо она может интересоваться особенным индивидуальным описанием фактов, происходящих при определенных обстоятельствах времени и места, — либо ее может интересовать общее, повторяемое, законы явлений. Этот двоякий характер определяется различным отношением к действительности. В то время как теоретические науки в своем поступательном прогрессном движении отдаляются от поверхности явлений, — исторические науки, наоборот, — посредством данной действительности приближаются. Отсюда и различие логической формы изложения: теоретические науки строят понятия большого объема и малого содержания (родовые понятия), исторические — в противоположность большого содержания (индивидуальные понятия). Однако и тому же объекту опыта могут соответствовать и теоретический и исторический объекты познания. «Народное хозяйство» также может быть объектом

тоя как теоретического, так исторического познания. Однако следует различать «народное хозяйство», как объект опыта, когда хозяйственные явления выступают во всей конкретности и непосредственности, от «народного хозяйства», как объекта познания. Критическое исследование постановки проблемы объекта в различных системах теоретической экономики обнаруживает непонимание коренного методологического разграничения объекта опыта и объекта познания.

Изложенные методологические принципы являются для Амониа отправным пунктом (Richtschnur) в исследовании постановки проблемы объекта в теоретической экономике. Значительная часть книги посвящена этому вопросу.

Перед читателем проходят чуть ли не все представители экономической мысли. Но в этом олимпе теоретиков, в этой гирлянде имен, где на ряду с гениальным Рикардо фигурирует пошлый Сэй, где на ряду с действительно крупными мыслителями выступают жалкие плагиаторы, нет только одного теоретика, с именем которого действительно связаны сияющие вершины науки, нет Карла Маркса. Не кроется ли это во взгляде на Маркса, как на теоретика с неиндержанной методологией? Так, например, в своем ответе на рецензию Зомбарта, где Зомбарт едко замечает, что знание Маркса извобало бы Амониа от необходимости написать столь объемистую книгу,—Амониа пишет: «Строить далее на основе Маркса, что по мнению Зомбарта было бы для меня правильнее, уже потому было невозможно, что навряд ли где царит большая методологическая путаница, чем в трудах этого в остальном, конечно, очень остроумного теоретика» (стр. 412—413). Однако читатель напрасно стал бы искать в книге критику методологических воззрений Маркса. Если же принять во внимание научное окружение Амониа—столпы австрийской школы,—то столь априорное отношение к Марксу, при полном его незнании, совершенно понятно. Критический анализ приводит Амониа к выводу, что трактовка проблемы объекта страдала основным пороком, отсутствием разграничения между объектом опыта и объектом познания. Неправильная методологическая установка привела к тому, что предмет теоретической экономики усматривали в «хозяйстве», которое конструировалось, как основное понятие этой науки. Отсюда—неопределенность, туманность объекта теоретической экономики. В центральных главах своей книги «Nationalökonomie als theoretische Sozialwissenschaft» и «Die Voraussetzungen der nationalökonomischen Erkenntnis» (стр. 162—202) Амониа излагает свои методологические воззрения, к анализу которых мы и обратимся. Теоретическое единство науки создается—по Амониа—одинаково обусловленностью проблем. Следует различить материальное познание предмета — реальную разработку проблемы и формальное познание — логическое определение объекта науки. Свою задачу Амониа формулирует следующим образом: «Дело идет здесь о том, чтобы выделить и логически связать то общее всем проблемам науки, что одновременно является характерной особенностью этих проблем, т.-е. те логические предпосылки, на основе которых все эти проблемы необходимо возникают или только могут возникнуть в их характерном для науки своеобразии, обуславливая проблему. В этом смысле мы говорим о логических условиях познания в науке и соответственно с этим нашу ближайшую задачу мы можем свести к установлению именно такого рода условий познания» (стр. 167). Каковы же эти проблемы? Если из круга проблем теоретической экономики выделить чужеродные проблемы, относящиеся к технике, психологии, все же остается основной скелет проблем, которые наложли печать своеобразия на эту науку—проблемы специфически экономические. Таковы: цена, заработная плата, рента, деньги и т. п. Своеобразие этих проблем в их социальной природе.

Эти проблемы составляют теоретическое единство, — говорит Амонн, — в следствие своего хозяйственного характера, каким бы способом его и определять, но в виду своей общей существенной для них социальной природы.

Однако, должен признать Амонн, существует эмпирическая связь между хозяйственными и социальными явлениями. Эмпирическая связь, настаивает Амонн, но не логическая (стр. 174—175). Таким образом, проблемы теоретической экономики не связаны с процессом производства! Социальные отношения отрываются от производственного процесса. Основным признаком социального Амонн считает взаимообусловленность индивидуальных и индивидуальных. Социального явления нет там, где воля и поступки людей обусловлены психологическим и естественно техническим отношениями вещей. Задача теоретической экономики — формулировка закономерностей социально обусловленных явлений. Как говорит Амонн, — «социальные отношения, или их социально-обусловленные закономерности и правильности составляют предмет теоретических социальных наук» (стр. 178). Таким образом, теоретическая экономика наука социальная. Но это определение недостаточно, ибо социальные отношения могут изучаться различными социальными науками. Амонн не хочет, как Шпани, конструировать идеальную систему социальных отношений, перед ним все время «витают» основной истинный проблем теоретической экономики, как он исторически сложился. Отсюда необходимость уточнения понятия социальных отношений — объекта теоретической экономики. Для того, чтобы охарактеризовать специфичность социальных отношений, лежащих в основе проблем теоретической экономики, — Амонн обращается к тем социальным отношениям, которые связаны с явлением цены, ибо все основные проблемы этой науки вращаются вокруг цены. Таким образом, категория «социальные отношения» уточнилась — индивидуальность отношения обмена». Отсюда необходимость расшифровать специфичность указанных социальных отношений. Предпосылкой меновых отношений является, по Амонну, определенный общественный строй. И на этой ступени своего анализа Амонн отрывает социальное отношение от производства и конструирует формальное меновое отношение, которое не находится в необходимой логической связи с процессом производства, которое имеет своей предпосылкой определенную организацию менового обмена, определенный социальный строй. Каковы же черты этого социального строя? Амонн устанавливает следующие четыре его условия: 1) признание исключительной власти распоряжаться внешними объектами (предпосылка обмена); 2) признание свободного обмена этой власти (цель обмена); 3) свобода определять пропорции обмениваемых объектов (цена); 4) признание всеобщего мерителя стоимости (как условие сравнения меновых актов) (стр. 194). Эти четыре условия являются необходимыми и достаточными признаками организации менового обмена. Проблемы, изучаемые теоретической экономикой, существуют только там, где налицо социальный строй, обладающий указанными признаками. Отсюда — окончательное определение объекта теоретической экономики. «Объектом познания теоретической экономики, говорит Амонн, являются социальные отношения, которые имеют своей необходимостью и общей предпосылкой упомянутую организацию социального обмена, и характеризуются перечисленными четырьмя признаками» (стр. 202). Таким ход рассуждений Амонна в I части его труда. Может ли марксист согласиться с характером той научной территории, которая отводится Амонном теоретической экономике? Нет, не может, что отнюдь, разумеется, не исключает правоту его (Амонна) отдельных положений. В самом деле. Амонн различает объект опыта и объект познания. Это разграничение, однако, установив давно один экономист, который у Амонна не в фаворе — Маркс. По Марксу —

если бы сущность вещей и их проявления совпадали, то всякая наука была бы изжитой. Проявление вещей, непосредственно конкретное—представляет собою «наполненный мир», совокупность случайных существований. К непосредственно данным фактам применяется абстрактный метод, чтобы познать внутренние имманентные законы непосредственного конкретного. «Мыслить мир явлений—существенно изменять его непосредственную форму и извлекать то, что в нем есть всеобщего» (Гегель), аналитическая работа мысли заключается в том, что она разлагает сложный объект, который дан ей, подобно тому, как «снимают слон с луковиды», абстрактный анализ разоблачает и упрощает определение конкретного и, таким образом, отвлекаясь от случайных несущественных определений, возвышается к всеобщему, к закону. Далее Маркс изучает это движение всеобщего, сущность явлений, и получает конкретное, как диалектическое единство сущности и явления, как действительность. «Конкретное потому конкретно, что оно является сведенным к единству множеством определений, т.е. единым в многообразии. В мышлении оно выступает, поэтому, как процесс обединения, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом созерцания и представления» (К. Маркс). Конкретное—абстрактное—конкретное. Не ясно ли, что разграничение Амонна—объект опыта и объект познания—является бледной тенью мощной марксистской методологии. Амонн ведет борьбу против «хозяйства» вообще, как «категории расплывчатой и неопределенной. Здесь Амонн бесконечно выше целого ряда буржуазных экономистов, которые объект теоретической экономии видят в хозяйственной деятельности, направленной на добывание материальных благ. Опежоривание категорий «хозяйства» приводит к смешению социальной и технической стороны производственной деятельности, а пресловутый «хозяйственный принцип»—стремление к максимуму получения при минимуме затрат—к смешению явлений индивидуального и общественного производства. Но вместе с ванной Амонн выплескивает и ребенка. Теоретическую экономию Амонн правильно определяет, как науку социальную. Значительную часть своего труда он посвящает защите этого тезиса и дает содержательную критику тех экономистов, которые в круг теоретико-экономических проблем приносят проблемы технического и психологического порядка. Однако Амонн дает неправильное определение социального. Под социальным, как мы видели, Амонн понимает отношение, которое складывается в результате взаимной зависимости и обусловленности взаимодействующих индивидуальных воле.

Мы позволим себе привести несколько формулировок из Маркса. «Общественные отношения тесно связаны с производственными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свои способы производства, способы обеспечения своей жизни,—они изменяют все свои общественные отношения» («Нищета философии»). «Производство жизни,—как собственной, путем туда, так и чужой, путем рождения, является в качестве двойного отношения, с одной стороны, в качестве естественного, а, с другой, в качестве общественного отношения, общественного в том смысле, что под этим понимается сотрудничество нескольких индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и для такой цели» («Архив», кн. I). Таким образом, если Амонн дает формальное определение социального, отрывая его от производства, то по Марксу производственные силы и социальные являются различиями в единстве. Если Маркс от социальных отношений вообще через категорию «производственные отношения» переходит к анализу различных типов производственных отношений, у Амонна эта категория совершенно отсутствует. Получается любопытная

картина: теоретическая экономия без анализа производственных отношений. Теоретическая экономия по Амонну изучает меновые отношения, которые необходимо и логически вовсе не связаны с производством, но—эмпирически преимущественно существуют на базе производственной деятельности. В эти рассуждения Амонна вкладываются в формулу—«нельзя не признавать, нельзя не сознаться». Здесь мы упираемся в ту же методологическую ошибку Амонна, какую мы наблюдали в его понимании социального—отрыв формы от содержания, социальных отношений от производства,—«рт ней все качество». На эту ошибку указывал целый ряд критиков. Амонн справедливо критикует взгляд,—пишет Зомбарт,—что хозяйственные и теоретические проблемы представляют собой два совпадающих круга; ложно также мнение Амонна, что они являются двумя пересекающимися кругами; гораздо правильнее, что они стоят друг к другу в отношении двух concentрических кругов различной величины: не все хозяйственные проблемы являются теоретико-экономическими, но все теоретико-экономические проблемы являются хозяйственными» («Archiv für Sozialwiss. und Sozialp., Bd. 38»¹⁾). Для Амонна диалектика производственных сил и производственных отношений не существует. Блестящую формулировку этой диалектики мы встречаем в «Капитале».—«Капиталистический процесс производства, подобно всем его предшественникам, протекает при определенных материальных условиях, являющихся и в то же время, носителями определенных общественных отношений, в которых выступают индивидуумы в процессе воспроизводства своей жизни. Как и условия, так и эти отношения являются, с одной стороны, предпосылкой с другой стороны, результатами и продуктами капиталистического процесса производства; они производятся и воспроизводятся последними» (К. III, гл. 2). Амонн своей грубой методологической ошибкой отрезывает себе всякую возможность научного объяснения смены социальных отношений. Амонн по существу выступает в непримиримое противоречие со своими исходными положениями. С одной стороны, он указывает, что он имеет дело с исторически сложившимся кругом проблем, с другой стороны, как мы видели, такие проблемы как заработная плата, цена и т. д., по Амонну, вовсе не связаны с процессом производства. Трудно сказать, на кого ориентируется Амонн, но если кто-то постановку этих проблем у экономистов, которых он так старательно критикует, то и у них эти проблемы связаны с процессом производства и обмена. Правда, у Амонна есть лазейка—он под хозяйством понимает исключительно производство материальных благ. Для защиты своей позиции он приводит целый ряд примеров из сферы нематериального производства. Читая первую страницу «Капитала» знает, что производство нужно понимать расширительно, что потребительная стоимость удовлетворяет как материальные, так и духовные потребности людей. Таким образом, эта аргументация Амонна опирается на белых коней. Основная методологическая ошибка, как видно из дальнейшего, жестоко мстит Амонну на всем протяжении книги. Этим мы закончим анализ первой части книги. Вторая часть—является священной кореной и туманному, как и хозяйство, Амонн противопоставляет «субъект обмена». Однако субъект обмена логически необходимо возникнуть и должен быть связан с хозяйственной деятельностью. Подобно тому, как имеются такие хозяйственные единства (семья), которые не являются субъектами обмена,—подобно этому имеются субъекты обмена, стоящие вне хозяйственной деятельности. При различных обстоятельствах времени и места выступают различные субъекты обмена. Амонн строит формальное определение

¹⁾ В последнее время критику основной методологической ошибки Амонна дал И. И. Рубин в «Современных экономистах из Запада».

этого понятия. Для иллюстрации своих положений он обращается к истории древнего Рима, когда в результате хозяйственной эволюции рабы становились субъектами обмена. По Амониу между рабом и свободным товаропроизводителем нет принципиальной разницы. Амони совершает ту ошибку, что за внешним сходством формы он не видит различного (даже противоположного) содержания,—Амониу не понятно, что формально одна и та же категория может иметь различную значимость в различных общественных формациях. Ставя под одну скобку меновое хозяйство и такие формации, которые по своей внутренней структуре имеют еще главной целью производство потребительной стоимости,—Амони по существу универсализирует категории теоретической экономики и тем самым впадает в противоречие со своими исходными методологическими принципами, ибо «раб» и «свободный товаропроизводитель»—различные «объекты опыта», а следовательно, и различные «объекты познания». Те же методологические ошибки совершает Амони и при определении объекта обмена. Понятию «блага», общепотребительной категории теоретической экономики, Амони противопоставляет «объект обмена». С большой энергией он обрушивается на тех экономистов, которые критерием объекта обмена считают момент вещественности. Рядом с материальными вещами при индивидуалистической организации общественного обмена,—говорит Амони,—имеются также нематериальные вещи (человеческая работа и служба), которые также являются объектами обмена (стр. 277). Критерием объекта в противоположность обычной трактовке Амони выдвигает цену. Цена по Амониу одинаково относится как к работе, так и к вещественным благам. Отсюда ошибочность искусственного разграничения вещественных благ и работ (стр. 259). Вся эта аргументация является для Амона трюком, чтобы оторвать объект обмена от производства. «Объект обмена может случайно, как «хозяйственное благо», быть объектом хозяйства, но не должен им быть...» (стр. 296). Оказывается, что отношения между продавцами и покупателями, даже отношения между капиталистами и рабочими—объект теоретической экономики—вовсе не находятся в необходимой связи с производством. «Отношения между производителями, продавцами и потребителями, между предпринимателями и рабочими... являются теми феноменами, с которыми связываются проблемы теоретической экономики. Но эти явления не только не связаны необходимо с «хозяйственной производственной деятельностью», но совершенно независимы и самостоятельны от нее... Может быть, хозяйственная деятельность без того, чтобы существовали эти социальные отношения, и обратно, эти социальные отношения мыслимы без того, чтобы существовало какое-либо производство, мыслимы социальные отношения, совершенно независимые от какой-либо производственной деятельности» (стр. 240). Таким образом, и на этой ступени своего анализа Амони верен себе—универсализация категорий (цена в рабском хозяйстве), отрыв социальных отношений от производства (объект обмена), явно нелепые утверждения (внепроизводственный характер агентов тов.-капит. об-ва, как объект теоретической экономики).

Далее Амони переходит к анализу стоимости и цены. Вся контрверсная стоимости иращается по Амониу вокруг субъективной и объективной стоимости. Амони различает субъективную стоимость—категория психологическая, объективную потребительную стоимость—категория техническая и объективную меновую стоимость—категория социальная. Назначение стоимости—объяснение цены. Объективная потребительная стоимость, как категория техническая, разумеется, ни в какой логической связи с социальной проблемой цены не находится. Субъективная стоимость, как категория психологическая при постановке проблемы, конечно, не может выступать, как основное понятие теоретической экономики. Однако Амони различает

тановку проблемы (Problemstellung) и объяснение проблемы (Problemlösung). При объяснении же проблемы субъективная стоимость должна быть причислена к основным понятиям теоретической экономики, как единый, элементарный разъясняющий принцип (стр. 309). После этого критического анализа Амонн переходит к цене. Цену Амонн определяет только как внешнее техническое отношение двух благ различного рода, но с внутреннее отношение (innere Relation) двух обменивающихся предметов по отношению к обмениваемому объекту (стр. 312). Амонн берет ряд меновых актов $V_1 = V_2$, $3V_2 = V_3$, $2V_3 = 3V_4$, $XV_n = 4$. Этот ряд конкретных «цен», поскольку они представляют собою приравливание различных вещей, не является проявлением чего-то однородного, общего. Между тем это равенство постольку может быть объектом научного познания, поскольку оно выражает что-то однородно-социальное. Это общее является предпосылкой объективной, от воли хозяйствующих субъектов, независимо от однородности и сравнимости меновых актов. Естественно, что при такой точке зрения нет необходимой логической связи между ценой и трудом. Между величиной цены и количеством труда не существует чисто логически никакого отношения. Оба они являются вещами различного рода: на специфически социальная, труд — чисто техническая категория, и существует пути сравнить цену с работой, единицу труда перевести в единицу цены» (стр. 318). Цена, таким образом, представляется Амонну как известное количество абстрактных, социальных, счетных единиц. Далее, — продолжает Амонн, — эти абстрактные единицы на известной стадии исторического развития воплощаются в реальных вещах. В этом случае она представляется, как сумма денежных единиц. «Средство обращения и мера стоимости» выступает здесь, как технические функции. Однако эти категории могут быть рассматриваемы, как теоретико-экономические, если при предположении их идеальности. Таким образом Амонн различает техническое средство обращения (technisches Tauschmittel) и идеальное средство обращения (ideelles Tauschmittel), — сращивание же их может быть только на известной ступени исторического развития, что вовсе не является логически необходимым. По Амонну стоимость, меновая стоимость, цена — это и то же (стр. 340). Идеальная мера стоимости конститует однородность и сравнимость конкретных цен (стр. 337). Таковы взгляды Амонна на стоимость и цену. Прежде всего нужно отметить отсутствие у Амонна исторического взгляда на цену, которую он отождествляет, с меновой стоимостью. Если с одной стороны, при постановке проблемы, он очень настойчиво настаивает на объективном социальном характере категории цены, то при решении проблемы — он считает, что цена может быть объяснена только на основании психологической категории, субъективной стоимости, которая, как конечное основание, объясняющее цену, должна быть причислена к основным понятиям теоретической экономики. Таким образом, при постановке проблемы — социальный метод, при решении проблемы — психологический метод. Амонн разрывает постановку проблемы от ее решения, как будто одно другое не предполагает, как будто известная постановка проблемы не предполагает определенного ее решения. Здесь мы имеем своеобразный симбиоз социального и психологического метода, признавая, однако, их правомерности, что противоречит основной методологической установке Амонна. Для анализа цены, как мы видели, Амонн приводит меновых актов и ищет общее в этих актах, как предпосылку их сравнимости. Этим общим не может быть труд, ибо труд — категория технического, между тем цена — явление социальное. Отсюда вывод: между величиной цены и количеством труда, нет необходимой логической связи. Здесь Амонн и делает вылазку против трудовой теории стоимости. Если бы он обратился к Марксу, то он признал, что кроме технического понятия «про-

есть еще другое понятие труда, в которое не входит ни один «атом природного вещества» — абстрактный труд, и который в своей количественной определенности выступает, как труд общественно-необходимый. Это особенно ярко формулируется Марксом в первом его издании «Капитала»: «Как потребительные стоимости или блага товары представляют собою вещественно различные вещи. Их бытие, как стоимостей, образует напротив их единство. Это единство вытекает не из природы, но из общества. Одинаковая общественная субстанция, которая в различных потребительных стоимостях различно представлена, есть труд». И далее: «Как стоимости товары представляют собою выражение одного и того же единства абстрактного человеческого труда. В форме меновой стоимости они проявляются и относятся друг к другу, как стоимости. Они сводятся, таким образом, к абстрактному человеческому труду, как к своей одинаковой общественной субстанции» (К. Маркс. «Das Kapital». 1867. S. 4, 28). Таким образом, по Марксу труд не потому является основой стоимости, что он техническая категория, а потому, что труд — общественная связь, которая из атомизированных товаропроизводителей формирует единый производственный организм. «Так как меновая стоимость, говорит Маркс, в действительности не что иное, как взаимное отношение труда отдельных лиц в качестве равного и всеобщего, и как вещественное выражение специфической формы труда, то утверждение, что труд составляет единственный источник меновой стоимости, а потому и богатства, поскольку оно состоит из меновых стоимостей, есть тавтология» (К. Маркс. «К критике»).

Основное понятие теоретической экономии то же, что и исторического материализма, так как Маркс исходит из труда, как фактора конституирующего человеческого общества, как фактора, развитием которого определяется смена социальных форм. Амонн же, отказываясь от труда, как основы стоимости — цены исходит, повидному, из другой концепции общества. В этой концепции и ключ всей методологии Амонна.

Ход мыслей Амонна далее примерно таков. Посредством аппарата цен в товарном обществе устанавливается цепь отношений. Цена — известное количество абстрактных счетных единиц. Равенство между товарами создается только в процессе обращения. Никакой общей субстанции предшествующей обмену, нет и быть не может. Это равенство устанавливается «дешевизной» цен. В качестве масштаба цен могут функционировать «идеальная единица денежной меры», «единица счета». Сопоставление рассуждений Амонна со взглядами Джемса Стюарта оправдывает пророчество Маркса: «Теория идеальной денежной меры так полно развито у Джемса Стюарта, что его бессознательные последователи... не могли изобрести ни нового способа выражения, ни даже нового примера» (К. Маркс. «К критике»). Основная ошибка Амонна, как и его предшественника Джемса Стюарта — в смешении двух различных функций — меры стоимости и масштаба цен. Как говорит Маркс, — «не понимая превращения меры стоимости в масштаб цен, он (Стюарт, а также Амонн. — А. Р.), естественно, думает, что определенное количество золота, служащее единицей меры, относится, как мера, не к другим количествам золота, но к стоимости, как к таковому. Так как товары, посредством превращения их стоимостей в цены, являются одинаковыми величинами, то он отрицает качественные свойства того мерилла, которое делает их одинаковыми, и так как при этом уравнении различных количеств золота количество золота, служащего единицей меры, условно, то он не признает, что ее вообще следовало установить» (К. Маркс. «К критике»). Тот же отрыв социальных явлений от производства — празднует на этой ступени анализа Амонн свою «победу». По существу мы здесь имеем образчик вульгарной экономии, которая на язык

ятий переводит обыденные представления агентов капиталистического изводства, захваченных рыночными отношениями.

Далее Амонн переходит к анализу т. н. псевдо-категорий: «Потребность» по Амонну — категория психологическая. «Потребности» в теоретической экономике соответствует «субъекту обмена». «Труд» по Амонну тогда является категорией теоретической экономики, когда он падает, как объект индивидуалистических отношений. С этой точки зрения никакой принципиальной разницы между стрижкой купона и другим «производительным трудом» (стр. 346). Понятие «труд» не входит в понятие «объекта обмена». Точно так же техническими категориями являются «производство» и «производительность». Социальное отношение хотя эмпирически и часто наблюдается в связи с производительностью, но между ними нет необходимой логической связи (стр. 347, 350). Нужно отметить, что изложенный анализ основных категорий проводится в тесной связи с объектом теоретической экономики, как он трактуется Амонном. В главе «Ableitung der Grundbegriffe aus dem Erkenntnisobjekte» (стр. 203—216), которая предшествует анализу основных категорий, Амонн устанавливает эту связь. Свои основные категории Амонн выводит из формального определения объекта теоретической экономики предпосылки менового социального порядка предопределения классификацию основных категорий. Таким образом формальный характер основных категорий является другой стороной формального определения объекта теоретической экономики. При всей ошибочности построений Амонна нельзя отказать во внутренней логической стройности и последовательности этого отдела своей книги Амонн посвящает капитализму и его основным предпосылкам. Капитализм является, по Амонну, своеобразной модификацией индивидуалистического менового порядка, к четырем предпосылкам, характеризующим последний, при капитализме присоединяется пятая — наличие индивидуальной власти распоряжения в социальном обмене. Не является ли это неравенство? Это социальное преобладание предполагает другие предпосылки. Техническая предпосылка — возможность скопления должных общественных благ, тесно связанная с их длительностью. Эту длительность Амонн понимает своеобразно — в смысле существования конкретного объекта в течение определенного промежутка времени, чтобы он мог превратиться в деньги, т. е. в ту форму капитала, которая возлагает на себя абстрактную власть распоряжения (стр. 368). Эта длительность — лишь частные случаи, но не всегда, связана с материальным. Социальная предпосылка — институт частной собственности. Основные категории капитализма — капитал, предприятие, товар, деньги и процент. Наиболее интересна трактовка «капитала» у Амонна. В противоположность «хозяйственной стоимости» и т. д. обыденное словоупотребление связывает с категорией «капитал» нечто социальное. Подобно тому, как лесной материал, употребленный на постройку, не является домом, столь же мало считается «капиталом» — его чувственно воспринимаемая форма — деньги или другие ценности. Однако экономическая мысль не развивалась по правильному пути общественного мышления. С именем Смита связано смещение социального и технического взгляда на эту категорию. После Смита «капитал» рассматривался исключительно, как техническая категория, что связано с широким распространением понятием «производительный капитал». Однако производительный капитал, утверждает Амонн, категория техническая. Новый шаг к правильному анализу категории «капитал» сделал Менгер. Он понимает капиталом всякое имущество приобретательского характера, которое может быть выражено в деньгах. Но это определение Менгера не удовлетворяет Амонна. Капиталом, говорит Амонн, являются не вещи, а

таковые, но их калькулируемая денежная стоимость. Что это значит? Если объект расценивается, то он является объектом обмена, следовательно, он представляет индивидуальное право распоряжения в социальном обмене. Денежная сумма — мера этого права. Таким образом, по Амонну, капитал — концентрированная и абстрактная индивидуальная власть распоряжения в социальном обмене (стр. 368). Капитал вовсе не связан с той или иной технической определенностью вещи, он представляет собой абстрактное право распоряжения. Но более чистой технической формой проявления капитала являются деньги. Амонн считает, что из новейших экономистов в своем учении о капитале наиболее близок к Кларку. Кларк указывал, что капитал — не вещь, но, с другой стороны, не пустая абстракция, а нечто реально существующее. В ответ на это возражал Бем-Баверк, что воззрения Кларка образец «обманчивой диалектики», ибо одно из двух — если капитал вещь, то он реально существует, если же он не вещь, то это пустая нереальная абстракция. В ответ на это, — возражает Амонн, — следует различать понятие реальности в естествознании и социальных науках. Капитал такая же реальность, как город, семья, собственность и т. д. (стр. 372). Далее Амонн приходит к анализу субъекта капиталистического обмена. Предприятие, по Амонну, в своей социальной сущности, как субъект обмена, вовсе не связано с производством и с определенной личностью предпринимателя. Единство предприятия обуславливается единством капитала, капитал же является безличной властью распоряжения (стр. 374, 375). Если с внешней стороны предприятие персонализируется в предпринимателя, то по своей внутренней социальной структуре оно характеризуется противоположностью между предпринимателем и рабочим. Рабочий, по Амонну, находится — в зависимости от предпринимателя, ибо он может распоряжаться рабочей силой, которая не может быть капиталом. Но рабочая сила также не является товаром, хотя она расценивается (стр. 376). Далее Амонн переходит к анализу товара, который является объектом обмена, поскольку он может быть превращен в деньги и, следовательно, в социальном обмене представлять капитал, как абстрактную власть распоряжения над вещами. Анализ денег, кредита и процента (стр. 379—383) интереса не представляют. Деньги, по Амонну, являются реальным средством обмена в отличие от идеальной меры цены. Кредит связан с переносом права распоряжения от одного субъекта к другому. Процент — цена капитала. Шестой отдел посвящается Амонном разграничению теоретической экономики, учению о народном хозяйстве и учению о народно-хозяйственной политике.

Основная ошибка Амонна и на этом этапе исследования та же, что и на предыдущей: неправильное понимание социального, отрыв социальных отношений от производства, отсутствие производственных отношений. Капитализм, по Амонну, основан на неравенстве. Но каков характер этого неравенства? Если у Маркса это неравенство базируется на распределении элементов производства, когда вещественные элементы концентрируются на одном полюсе, рабочая же сила, изолированная от них, на другом — у Амонна — формальное, имущественное неравенство, основанное на обладании деньгами. Отсюда формальное социальное отношение, отсутствие производственного отношения, отсутствие категорий, «общественного класса». Основная методологическая ошибка Амонна в непонимании того, что «капиталистическое отношение проявляется в процессе производства лишь потому, что оно уже существует само по себе в акте обращения, в различии тех экономических условий, при которых противостоит друг другу продавец и покупатель (капиталист и рабочий. — А. Р.) в их классовом отношении (К. Маркс). Отсюда и неправильность трактовки всех основных понятий. Капитал, по Амонну, является по существу социальным отноше-

нием имущественного неравенства. Отсюда вытекает взгляд и на прожиточный капитал. Производительный капитал, по Амонну, не может быть социальной категорией, ибо стоимость не связана с трудом, ибо прожиточный процесс не является тем реальным метаморфозом, где происходит создание стоимости. Внимание Амонна приковано к формальному метаморфозу Д... Д', к денежной форме капитала. Эта же денежная форма рассматривается им только как количественное отношение, он не понимает, что она является также качественным отношением, вещной формой производственного отношения агентов капиталистического общества. Отсюда естественно непонимание, что денежный капитал, товарный капитал, производительный капитал—различные функциональные формы производственного капитала. С этим тесно связан и формальный взгляд на рабочий капиталиста. Амонн говорит об их противоположности. Но это не какая-то противоположность, а имущественное неравенство. По существу в здесь имеем вульгарную теорию богатства и бедности. Эти же ошибки входят свое отражение и в трактовке денег, кредита и процента. Несмотря на то, что в исследуемой работе цитируется значительно больше, чем в аталла, методологическому рисунку Амонна нельзя отказать в стройности и логическом изложении. Книга Амонна—незаурядное явление, тем более она показательна для заката буржуазной теории, для кризиса буржуазной экономической мысли. Здесь невольно вспоминаются слова Маркса, направленные против одного крупного буржуазного экономиста: на плоской линии всякая кочка кажется холмом; плоскость современной буржуазной мысли лучше всего измеряется калибром ее «великих мыслителей».

А. Реуза

А. ГЕРЦЕНШТЕЙН. Теория капиталистического рынка. Под редакцией и с предисловием А. Мендельсона. Изд. Коммунистической Академии. Москва, 1928 г.

А. Герценштейн, автор рецензируемого труда, принадлежит к течениям воспроизводства, рынков и кризисов к ортодоксальному направлению. Его труд представляет собой попытку дать систематическое изложение как критических, так и положительных взглядов ортодоксального направления на проблему воспроизводства и рынков. Однако систематизацией уже известных взглядов не исчерпывается содержание книги: в некоторых пунктах анализа автор пытается дать дальнейшее развитие взглядов Маркса, Ланге, Бухарина и др., и в этой части он, несомненно, самостоятелен.

Автор начинает свое исследование с постановки и методологии проблемы воспроизводства. Эта первая глава труда наиболее слабая. Здесь мы имеем, правда, кое-что новое в постановке проблемы, но это новое вряд ли приемлемо. В проблеме капиталистического рынка автор разграничивает три вопроса: 1) объема, 2) емкости внутреннего рынка, 3) связи между общественным производством и общественным потреблением.

Однако нетрудно видеть, что это не три вопроса, а один и тот же вопрос, ибо ответ на вопрос об объеме внутреннего рынка (общая сумма внутреннего спроса) уже заключает в себе и решение вопросов о «разделении отдельных частей совокупного продукта» (по автору «емкости рынка»), связи между производством и потреблением. Мы не представляем себе, как таким образом можно рассматривать один вопрос независимо от другого, в сущности и сам автор строго не следует своей постановке проблемы в дальнейшем анализе.

Здесь же бросается также в глаза несколько преувеличенная оценка Кене, а, с другой стороны, преуменьшенная оценка Маркса. Неужели «с

тодах подхода к этой проблеме он (Маркс) лишь следовал Кене» (стр. 18)? Более того: автор считает, что и «качественное выражение» и «количественную характеристику» Маркс дал «подобно Кене» (там же)! И, утверждая далее, с одной стороны, что «решением проблемы Маркс совершил переворот в истории политической экономии», автор, с другой стороны, утверждает, что Маркс вовсе «не развернул» «теории капиталистического рынка» (стр. 20). Но в таком случае далеко не ясно, в чем же, собственно говоря, «историческая заслуга Маркса в этом вопросе»? Мы совершенно не имеем возможности развивать здесь глубокие отличия именно в принципиальном подходе Маркса к проблеме воспроизводства, в сравнении с Кене, но совершенно ясно, что здесь допущена, говоря мягко, большая неточность, требующая серьезного корректива. В этой же главе автор мимоходом касается проблемы воспроизводства в условиях организованного общественного производства. И, подходя к этой большой и совершенно самостоятельной проблеме именно «мимоходом», автор дает грубо-упрощенный ответ на этот вопрос. Он считает, что при социализме «политическая экономия превращается из науки в искусство, и схемы воспроизводства становятся готовыми служебными формулами, в которых легко (?) укладываются и стройно организуются (!) итоги и перспективы годовой хозяйственной работы. Подставляя на место алгебраических обозначений марксовы формулы, соответствующие статистические величины, мы получаем до предельности сжатую, лапидарную и вместе с тем исчерпывающую (?) характеристику состояния хозяйства в данный момент и его реальных возможностей в следующий» (стр. 19).

Во второй главе дается изложение теории простого воспроизводства. Автору удалось вполне правильно развить теорию простого воспроизводства и при этом избежать столь обычного в нашей литературе zagrożения изложения цифровым материалом. Эта глава поэтому могла бы служить хорошей популяризацией основ теории воспроизводства, если бы... автор не злоупотреблял своим, без сомнения, красивым и оригинальным стилем.

В третьей главе автор рассматривает аргументацию сторонников невозможности реализации (Сисмонди, Роза Люксембург). Здесь автору хорошо удалось показать различия в аргументации Розы Люксембург и ее предшественников.

Наибольший интерес представляет четвертая глава, посвященная положительному анализу проблемы реализации при расширенном воспроизводстве. Автор стоит на принципиально вполне правильной точке зрения, и как его положительное решение проблемы, так и его критические замечания против Сэя-Рикардо-Милля не вызывают возражений по существу.

Совершенно правильно, что «расширение внутреннего спроса — не исходный пункт общественного накопления, а органический результат этого процесса. Накопление в пределах данного цикла открывает рынок для сбыта прибавочной стоимости предшествующего цикла» (69). Верно также и то, что «общественный спрос является функцией процесса воспроизводства», и здесь автор целиком стоит на позиции Ленина — Бухарина.

Однако доказательство возможности накопления в «чистом» капиталистическом обществе отнюдь не является аргументом в пользу учения о невозможности всеобщих (или, как иногда говорит Маркс, «универсальных») кризисов, и на этом вопросе подробно останавливается автор.

Но чтобы оттенить глубочайшие различия марксовской теории реализации и гармонических идей Сэя-Рикардо следовало бы также дать анализ расширенного воспроизводства, и под углом зрения теории кризисов. Нужно было бы показать, что воспроизводство является «имманентной основой кризисов» и что «постоянство

ельно доказывает абсурдность положения Туган-Барановского о производстве ради производства, приводит факты из эволюции хлопчатобумажной промышленности в Англии и другие данные, которые «достаточно убедительно говорят, насколько неправыми считать, что прогрессирующий рост производительного потребления средств производства является замкнутым, самодовлеющим процессом, совершенно не отражающимся на состоянии общественного потребления (стр. 151).

Если указания тов. Герцеиштейна на эмпирическую дефектность теории Туган-Барановского вполне основательны, то его чисто логическая критика этой теории недостаточна: автор не столько доказывает внутреннюю противоречивость теории Туган-Барановского, сколько просто противопоставляет взгляды ортодоксального направления концепции Туганова.

Также и в этой главе автор следует своему «принципу» строгой изоляции теории реализации от теории кризисов. У него «границы этих проблем» (в средствах производства и в средствах потребления.—З. А.), просто «раздвигаются путем вынужденного кооперирования и стимулирования прибылью включения добавочных продуктов в следующий цикл производства», и лишь в сноске указывается, что «возможность включения зависит, конечно, от условий пропорционального распределения продуктов» (стр. 152). Между тем, обязательно следовало бы показать, как происходит «расширение потребностей»: это дало бы возможность подчеркнуть, что кризисы являются имманентной формой такого «раздвижения» (расширения).

Наконец, заключительная глава исследования посвящена «капитализму и внешнему рынку». Отвергая понятие внешнего рынка Розы Люксембург, как «некапиталистической социальной среды» вообще, автор вместе с тем не разделяет и противоположного определения, именно основывающего исключительно на политико-географических моментах. Остается, следовательно, нечто среднее. В чем же эта «золотая середина» автора заключается? В так наз. «балансовом методе», «изобретении» автором. Мы утверждаем,—говорит он,—что только анализ исторически сложившихся капиталистической системе производства каждой страны структурных несоответствий, существование которых—совместно с абсолютной внешней неспособностью собственного производства некоторых необходимых продуктов—создает объективную невозможность сдвинуть баланс национального воспроизводства капитала на основе замкнутого внутреннего рынка, может действительно пояснить все значение внешнего спроса и предложения, как факторов автоматического восстановления равновесия общественного хозяйства» (стр. 156—157).

Дело в общем сводится просто к тому, что мировое «разделение труда» делает необходимым движение товаров между капиталистическими странами, именно вывоз тех товаров, на которых страна, так сказать, специализируется, и ввоз тех, которые в силу этой «специализации» либо вообще не производятся, либо производятся в недостаточном количестве. Но ведь при таком понимании внешнего рынка как раз и следует признать то положение Розы Люксембург, против которого борется автор, а именно, что «Германия и Англия в своем взаимном требовании являются друг для друга по преимуществу внутренними капиталистическими рынками» («Накопление капитала», 1924, стр. 376), поскольку по целому ряду важнейших товаров капиталистической индустрии и Англия и Германия могут свести свои балансы. Однако это, конечно не мешало и не мешает немецким товарам конкурировать с английскими товарами на английском или на других также капиталистических рынках, где данные товары имеются в достаточном количестве.

Но, конечно, автор не может признать, что Англия для Германии—не внешний, а «внутренний рынок», как считает Роза Люксембург.

Таким образом, «балансовый метод» автора сводится... к балансированию между двумя теориями, и в конце концов к кулиштыку: «В динамической перспективе мысленного продолжения до конца тенденций капитализма и экспансии примитивные формы хозяйства ассимилируются, и границы между внутренним и внешним рынками совпадают с политическими границами отдельных государств» (стр. 156).

Постараемся распутать этот узел. Если речь идет о капитализме «вообще», следовательно, об «абстрактном капитализме» или «изолированном капиталистическом обществе», то, конечно, «внешним рынком» в этом случае может быть только некапиталистическая среда. При чисто абстрактном анализе проблемы воспроизводства и реализации методологически вполне допустимо оперирование таким понятием «внешнего рынка».

Однако, поскольку речь идет об анализе конкретных внешне-рыночных отношений в системе мирового хозяйства, постольку указанное определение внешнего рынка уже недостаточно, и только здесь совершенно правильно замечание А. Герценштейна: «Ударение необходимо поставить не на товарной связи капитализма вообще, капитализма, как мирового целого с некапиталистическими областями (а именно так и поступает Роза Люксембург.—З. А.), а на товарообмене исторически консолидировавшихся капиталистических организмов как между собой, так и с докапиталистическими элементами (стр. 156; курсив наш.—З. А.).

Второе понимание внешнего рынка более широкое, чем первое. Роза Люксембург оперирует исключительно первым понятием внешнего рынка. Возникает вопрос, приложимо ли это понятие к анализу рыночных отношений в системе мирового хозяйства? Ни в коем случае, ибо тогда невозможно правильное объяснение империализма и конкретных, быющих в глаза фактов империалистической политики.

С понятием «внешнего рынка» и его необходимости для капитализма, у Розы Люксембург неразрывно связано понятие империализма, как «политического выражения процесса накопления капитала в его конкурентной борьбе за остатки некапиталистической мировой среды, на которые никто еще не наложил руки» («Накопление», стр. 465). Бухарин приводит прекрасный пример, иллюстрирующий полнейшую несостоятельность этого определения, а именно занятие Рурской области французами. Он говорит: «С точки зрения определения, данного товарищем Люксембург, это вовсе не империализм, ибо: 1) здесь нет «остатков», 2) здесь нет некапиталистической среды, 3) здесь нет того, чтобы Рур до оккупации никому из империалистов не принадлежал» («Накопление капитала и империализм», стр. 115—116).

Вот почему и понятие внешнего рынка, данное Розой Люксембург, поскольку оно является фундаментом для теории империализма, должно быть решительно отвергнуто. И совершенно правильно, что необходимо делать ударение не на связи абстрактного капитализма «вообще» с некапиталистической средой, но «на товарообмене исторически консолидировавшихся капиталистических организмов как между собой, так и с докапиталистическими элементами». Но для этого вовсе не нужно «мудрствовать лукаво», как это делает Герценштейн, и изобретать «иновый» принцип «балансового равновесия», ибо, как мы показали выше, этот «принцип» не облегчает понимание самого по себе отнюдь не сложного вопроса, но, наоборот, еще более его запутывает. Вот почему мы предпочитаем обходиться без «балансового метода»...

зого капитала, а потом «феодалного» дворянства, то это следовало бы азать и показать этот процесс классового перерождения самодержавия.

Нет большой ясности и в вопросе о классовой природе самодержавной кануне революции 1905 и 1917 гг. (ср. стр. 139, 266, 366).

Не совсем удачно освещено и развитие хозяйства в конце XVIII в. основное положение, которое хочет обосновать автор, это—развитие торгового капитала, как предтечи промышленного капитализма. «В этот период», — говорит тов. Плинтковский, — имеется и растет как раз центр капиталистических отношений того времени, т. е. центр сосредоточения торгового капитала» (стр. 9). Что Москва была «центром сосредоточения торгового капитала» и притом много раньше XVIII в., это бесспорно. К сожалению, те данные, которые приведены для доказательства «развертывания капиталистических отношений», мало убедительны: они говорят о «дифференциации труда», о развитии «промышленности», о росте населения и т. д., т. е. таких явлениях, которые свойственны и простому товарному хозяйству, и ничего не говорят о накоплении капитала, его роли и т. п. Вряд ли можно угласиться и с общей характеристикой торгового капитализма России XVIII в.: «Российский торговый капитализм является придатком к разертывающего перехода (?! курсив мой. И. Л.) к промышленному капитализму Западной Европы» (стр. 6). Эту фразу можно, очевидно, онять только в том смысле, что Россия XVIII в. представляла собой в отношении колонии Западной Европы. Но такое утверждение корне неверно и противоречит общеизвестным фактам, в частности, отмеченному автором обстоятельству, что условия железнорудного промысла в России «давали возможность российскому железу конкурировать и обещать железнорудное производство в Англии» (стр. 10).

Неясно поставлен также вопрос о влиянии развития рыночных отношений второй половины XVIII в. на крепостное хозяйство. «Изменение внутреннего и внешнего хлебного рынка ставит вопрос о формах, в которых происходило производство хлеба» (стр. 8). Так как производство хлеба происходило в крепостном хозяйстве, то можно думать, что был поставлен вопрос о самой судьбе крепостничества. Но об этом и речи не может быть. Значение о том, что «эксплуатация крепостного труда имела различные формы», дает повод думать, что меняется соотношение и развития, в распространении этих форм. Но оказывается, что эксплуатация растет как в форме барщины, так и в форме оброка, а вопрос о том, что выгоднее—барщина или оброк—ставится лишь в начале XIX в. (стр. 29); не выяснено, в силу каких обстоятельств рост рынка в XVIII в. приводит к усилению и барщины, оброка, а в начале XIX в. порождает тенденцию к замене барщины оброком. В вопросе об оброке встречаются и явно ошибочные утверждения. Например, стр. 51 автор пишет, что «оборочное хозяйство господствовало в тех районах, где связь с рынком была чрезвычайно слаба»: в действительности и было, как раз наоборот: в Центрально-Промышленном районе, где оборочное хозяйство преобладало, был значительно развит внутренний рынок.

Есть ряд спорных и неясных положений в изложении пугачевщины. Так, на стр. 17, подводя итоги пугачевщины, автор говорит, что возмущение было вызвано попытками «интенсификации крепостного труда». Несомненно, страницами раньше дано другое, более полное и более верное объяснение причин, состоящих не только в интенсификации, но (и это прежде всего) в распространении крепостного права на районы, до сих пор не затронутые крепостничеством. Дальше, нет достаточной четкости в характеристике классового состава пугачевщины и взаимоотношения между великороссийским капиталом и туземным (стр. 11 и 12).

Наконец, не внушает большого доверия объяснение тов. Плинтковским причин разгрома пугачевщины. По Плинтковскому выходит, что в

стане было подавлено только «благодаря техническому превосходству дворянско-феодалного государства». Было бы правильное сказать, что причины коренятся глубже, во всей экономике XVIII в., и дать конкретный анализ этих причин. Вообще, надо отметить, что тов. Плинтковским, повидному, не использованы новейшие материалы о пугачевщине.

Существенные недостатки встречаются и в освещении общественного движения XIX в. Так не совсем удачно изложено движение 40-х годов. В юнге нашлось место только для петрашевцев. Другие течения этой эпохи, во многих отношениях не потерявшие интереса, совершенно не затронуты; нет, напр., ни слова о западниках и славянофилах, о Белинском и т. д. Знакомство с ними было бы полезно для понимания некоторых дальнейших течений, напр. 60-х годов. Само же движение петрашевцев характеризуется не совсем верно. Петрашцы рассматриваются сплошь, как идеологи промышленной буржуазии (стр. 59). Из группы петрашевцев выделяется только Спешнев, да и о Спешневе говорится, что он был лишь знаком с западно-европейским социалистическим движением и ставил вопрос о заговоре. Спешнев, по Плинтковскому, это—якобинец, в то время как другие исследователи смотрят на Спешнева, как на коммуниста. Очевидно, Спешнев,—да и не только один он,—был идеологом и выразителем интересов какого-то другого класса, а не промышленной буржуазии.

В существенных поправках нуждаются страницы, посвященные движению 60—70-х годов. В отличие от 40-х годов здесь подробно говорится о буржуазном либеральном движении, но здесь также нет общей характеристики эпохи. Ничего не сказано о Добролюбове, о Чернышевском, Герцене¹⁾ и т. д. и их значении в революционном движении. Во всем изложении революционного движения 60—70-х годов сквозит слишком упрощенный подход. Все революционное движение этой эпохи рассматривается как движение различных отрядов мелкой буржуазии (стр. 96) и недостаточно вскрывается постановка вопросов борьбы за социализм, социалистический (хотя и утопический) характер движения.

В движении 60-х годов автор отмечает «две струи», обе мелкобуржуазные, одна—якобинская, другая—более умеренная. Представителем «якобинской струи» являлась городская мелкая буржуазия и мелкобуржуазная интеллигенция пролетарского типа; другая—тоже мелкобуржуазная, социальный состав которой комплектовался из уничтожающегося в процессе развития капитализма привилегированного сословия и мелкой буржуазии деревни (стр. 96). Во главе якобинцев стоял, понятно, Зайцевский, позже Ткачев. В «Молодой России» Зайцевский дал «яркую формулировку революционных задач, стоящих перед якобинским крылом российской мелкой буржуазии». Какие же это задачи? Автор говорит, что «Зайцевский считал себя продолжателем традиций французских якобинцев на русской почве», т. е. буржуазным демократом, считавшим вместе со своим кружком, «что революция должна свестись к уничтожению и истреблению всей дворянско-феодалной России». И это все. По Плинтковскому выходит, что никаких других задач, кроме утверждения буржуазного строя, «Молодая Россия» перед собой и не ставила. Между тем даже беглое знакомство с прокламацией не оставляет сомнений в ее социалистическом характере. В прокламации впервые в России высказывается идея классовой борьбы. «Общество,—говорится в прокламации,—разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой». Одна партия — «императорская», к которой причисляется не только «дворянско-феодалная Россия», как выходит по Плинтковскому,

¹⁾ О Герцене, впрочем, упоминается как о представителе «буржуазных либералов-конституционалистов» (стр. 97 и 109).

в разных мест
выработал
совую про

Это по л
партия только
именно кустар
ма же партии
выходит, что
обстояло впло
ворить и о по
тезиса автор
стяще излагае
и политическо
борьбы», и ав
кали в рабочи
в свои «оптим

В описан
чения и неясн
в революции п
выражения, ка
крестьян и т.
предпосылки, и
не был. Вот эти

Есть неск
зала революции:
«Пролетариат
что уничтожит
ными силами. (

уничтожения д
пролетариатом
и крестьянство
онных форм су
Что револ
это бесспорно.
необходимость
восстание, глав
понадобилось д
бавок к этому —
большевистской

Нельзя, из
сударственной
вается лишь бе
состояла разни
та из книжки т.
бирательного за
него, а этого как
без разъяснений. Ч
только их названи
что привело к их
обо всем этом в
хотя бы ознакомле
конкретное предст

В освещени
ясного и исчерпы
и его развертывани

их «свидетельствует о том, что рабочий класс 90-х годов
определенную, одинаковую для всех чисто ку
грамму» (136) (курсив мой.—И. Л.).

меньшей мере преувеличения. Как известно, в 90-х годах
складывалась; с.-д. движение этих годов характеру
инчеством, стихийностью, а не организованностью; при
была выработана только ко второму съезду. По Плотнико
ше до создания партии дело руководства рабочим дви
не благополучно, настолько, что «рабочий класс не имее
политическом значении своей борьбы». Для доказательств
цитирует листовку, написанную Лениным. Проклято
г задачи рабочего движения, связь экономической бе
й и т. д., но ведь все это характеризует взгляды «ли
ору следовало бы показать, как широко эти взгляды ф
массы. Тогда он внес бы, вероятно, некоторые коррек
истические» выводы.

ни революции 1905 г. также встречаются некоторые неточ
сти. Это прежде всего следует сказать о взаимоотноше
олетариата и крестьянства. Автор не раз употребляет
с рабоче-крестьянский блок, соединившие удары рабоч
п. (стр. 156). Для создания такого блока были объек
о в силу определенных причин этот блок фактически
и-то причины и надо было вскрыть.

которые преувеличения и в описании того влияния, каке
на рост сознательности рабочего класса и крестья
и крестьянство ясно почувствовали и уважи
дворянско-феодалное господство можно только сам
они увидели, что без насильственного, воору
дворянско-феодалного общества неразрешимы стоящие
и крестьянством задачи... Это ставило перед пролетари
во всю ширь вопрос о необходимости создания органи
ствования пролетарско-крестьянского блока» (стр. 199
июня 1905 г. сыграла в этом отношении колоссальную
Несомненно также бесспорно, что для того, чтобы массы по
вооруженного восстания — в революции 1905 г. они на
образом, стихийно, особенно крестьянство, — для
брых 12 лет, мировая война и еще одна революция, и
— революция солидная агитационная и организационная
партии.

Нельзя, изяс
и не отметить слабости изложения, касающегося
ны и формирования буржуазных партий. Автор ограни
м упоминанием о первых двух Думах. Не указывается
между первыми Думами и третьей. «Схема выборов»
Томского, может служить хорошей иллюстрацией
идеи, но при условии, когда в тексте дано изложение по
аз и нет. Сущность третьестепенного переворота ост
то касается буржуазных партий, то в книге встреч
а: когда эти партии возникли, какая между ними раз
б'единению в годы войны («прогрессивный блок») и т.
лекциях» ничего не сказано. Между тем, самое про
ние с этими вопросами было бы полезно, так как да
вление о политической обстановке недавнего времени
Февральской революции мы не найдем у т. Плотнико
ющего объяснения причин, вызывавших массовое дви
е. На стр. 276—277, посвященных первым дням револю

только календарную запись событий. Не отнесено к революционизирующему влиянию таких явлений, как хотя и самый факт затянувшейся войны, поражение на фронте и сдвиги в аппарате и т. д. Все описание революции производит впечатление «искусственности» событий, он расширительно толкует как «революцию» в целом. В результате ему приходится говорить об осознании революции гораздо раньше, чем это произошло в жизни и опровергать собственные утверждения (см., напр., стр.

Мы считали необходимым остановиться на этих недостатках, которые приобретают особое значение для Пюитковского, который претендует на учебное пособие.

Большим недостатком книги также является ее тяжелая и скучная структура. Досадное впечатление производит то, что в ней встречаются формулировки, требующие большого напряжения даже со стороны освещенных по части затронутых вопросов. Местами книга перегружена повторением, — одна и та же фраза встречается на одной странице несколько раз. Местами книга перегружена деталями, без которых невозможно было бы обойтись. Материал книги недостаточен, все 147 параграфов изложены под ряд, один за другим, без разбивки на главы или отделы, между тем, разбивка материала на крупные части облегчила бы работу учащихся. Следует отметить, что в книге много литературы и источников для дальнейшего изучения, но она не содержит никаких диаграмм, словесно, а не проиллюстрировано.

Все эти, нами отмеченные, недостатки в значительной мере портят впечатление от книги, и чрезвычайно затрудняют ее использование в качестве учебного пособия.

ДЖИНС, Дж. Г., и ЭДИНГТОН, А. Современное развитие астрономии. Перев. с английского С. И. Вавилова. Новейшие открытия. 5. Гос. Изд. 1928 г. Стр. 68.

Маленькая книжечка содержит в себе статью-лекцию Джинса (1926), являющуюся выдержками из монографии Эдингтона, названная «Внутреннее строение звезд» (1926).

Статья Эдингтона, посвященная вопросу, чем первая статья Джинса. Эдингтон в своих выводах, и часто он ограничивается различными точками зрения.

Различные теории об источниках энергии звезд привели к различным представлениям о возрасте существования той или иной звезды, в частности о возрасте солнца и земли. Эти теории имеют весьма разный возраст, говорящую о том, насколько нужно быть осторожным при попытке «земных» законов на космологическом масштабе. В то же время в этом отношении является теория В. Т. Рэндала, сводящая всю энергетику звезды к теплопроводности и теплопроводящих свойств земных (поверхности и атмосферы) пород, исходящие из данных астрономии и к такому небольшому возрасту солнечной системы,

в достаточной истинная раз-
ж, развал пра-

игитационного»
гии, правильно
взгляды всего
инании масса
и, затем фак-
277, 280, 281).

статках книги
: в виду того,

й язык. Нерел-
ки, понимание
домленного чи-
производит на-
странице (или
деталей, без
точно «органи-
зм, без разбив-
ка на более или
вадо, бы также
собрать книгу
т вид, который
то книгой для

й мере портят
хстве учебного

Ив. Делетто.

не космической
ечения научной

Джинса (1926)
ми знаменитого

езд, посвящена
дингтон гораздо
ишь перечисле-

ят к различным
ности, дают раз-
на поучительные
жизни в распро-
странению. Класси-
омсона-Кельвина
ности по напра-
температурного
ых) пород, при-
в которой явио

роте, в котором время наивысшего развития, время органической или более жизни сознательных существ столь же скудно отмерено, как течение в жизни и в самосознании; круговороте, в котором каждая форма существования материи—безразлично, солнце или туманность, вечное животное или вид, химическое соединение или разложение—просто преходящи и в котором ничто не вечно, кроме вечно изменяющейся движущейся материи и законов ее движения и изменения. Но так и то и как бы безжалостно ни совершался во времени и в пространстве круговорот; сколько бы бесчисленных солнц не возникало и ни погасало; сколько бы долго ни приходилось ждать, пока в какой-нибудь солнечной системе, какой-нибудь планете не появятся условия, необходимые для органической жизни; сколько бы бесчисленных существ ни должно было погибнуть и погаснуть, прежде чем из их среды разовьются животные с мыслями и сознанием; сколько бы короткой срок пригодны для своей жизни условия, чтобы быть истребленными без милосердия — мы все же уверены, что ни один из всех своих превращений не остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов не может погибнуть, и что поэтому с той же самой неизбежной необходимостью, с какой некогда она истребит на земле свой народ, — мыслящий дух,—она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время».

В. Егорин



ПОПРАВКА

В № 1 журнала за 1928 г. на стр. 45 к статье В. Егорина «Духовная и народническая» пропущено следующее примечание: «Статья представляет собой обработанный доклад, сделанный автором в сессии 1927 г. И. К. Лупполом».

Ответственный редактор А. И. Добрянский

Редакционная коллегия: А. А. Манский, М. И. Попов, И. К. Тихомиров, А. И. Троицкий